

НИЖНИЙ  
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 3 ( 1 4 ) / 2 0 1 7



ФЕДОР  
СУХОВ  
Нижний Новгород

4



ЕВГЕНИЙ  
СЕМИЧЕВ  
Новокуйбышевск

82



ИРИНА  
ДЕМЕНТЬЕВА  
Нижний Новгород

88



ЛЮДИЛА  
КАЛИНИНА  
Нижний Новгород

97



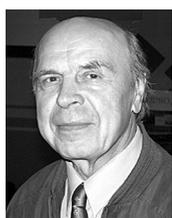
АЛЕНА  
ЖУКОВА  
Торонто

112



АРТЁМ  
РОГАНОВ  
Нижний Новгород

125



ВАЛЕРИЙ  
ШАМШУРИН  
Нижний Новгород

151



АННА  
СЕНИЧЕВА  
Нижний Новгород

155



ВЛАДИМИР  
СЕДОВ  
Нижний Новгород

159



НИКОЛАЙ  
СВЕЧИН  
Нижний Новгород

183



ДЕНИС  
ЛИПАТОВ  
Нижний Новгород

196



ЮРИЙ  
ПРЯДИЛОВ  
д. Юрьевец, Ниже-  
городская обл.

200



ВСЕВОЛОД  
ГРЕХНЁВ  
Нижний Новгород

223



ВИТАЛИЙ  
КУДИНОВ  
Бийск

226



ИВАН  
ЧУРКИН  
Саров

230

## В НОМЕРЕ

### Проза

<b>Фёдор СУХОВ</b> БУРЕПОЛОМ . . . . .	4
---	---

### Поэзия

<b>Евгений СЕМИЧЕВ</b> В ДУШЕ МОЕЙ СНЕЖНАЯ ТЬМА.... . . . .	82
<b>Ирина ДЕМЕНТЬЕВА</b> И ГРОМ БЫЛ НЕЖЕН, СЛОВНО ГОЛОС СЫНА... . . . .	88
<b>Сергей УТКИН</b> ЭТОТ ДЫМ, ЭТУ ГАРЬ ОСЕНЯЕТ КРЕСТ.... . . . .	93
<b>Людмила КАЛИНИНА</b> МЫ С ТОБОЮ ЖИЛИ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ... . . . .	97

### Проза

<b>Сергей БУРЛАЧЕНКО</b> СОРОК НА ПЯТЬДЕСЯТ . . . . .	102
ПЕЛЕНА РАЗУМА . . . . .	108
<b>Алена ЖУКОВА</b> ПАРОМЩИК . . . . .	112
<b>Артём РОГАНОВ</b> ИГРОВЕК . . . . .	125
<b>Владимир КЛИМЫЧЕВ</b> САМОУБИЙЦА . . . . .	134
<b>Сергей БЕЛОЗЕРОВ</b> ГРЕХИ НАШИ ТЯЖКИЕ . . . . .	139

### Поэзия

<b>Елизавета МАРТЫНОВА</b> ЭТО И ЕСТЬ РОССИЯ... . . . .	145
<b>Валерий ШАМШУРИН</b> ВЕТЕР С ВОЛГИ . . . . .	151
<b>Анна СЕНИЧЕВА</b> В КАЖДОМ ФАКЕЛЕ МЕЧЕТСЯ ПРАВДА И СЛЫШИТСЯ СТОН. . . . .	155

### Из будущих книг

<b>Владимир СЕДОВ</b> РАЗДЕТАЯ РОССИЯ . . . . .	159
<b>Николай СВЕЧИН</b> ПЕРВАЯ ЖЕРТВА . . . . .	183

## Стихи по кругу

<b>Игорь СИВАК</b> . . . . .	195
<b>Денис ЛИПАТОВ</b> . . . . .	196
<b>Лариса АФАНАСЬЕВА</b> . . . . .	198
<b>Валерий КРЕМЕР</b> . . . . .	198
<b>Юрий ПРЯДИЛОВ</b> . . . . .	200
<b>Настя МАХОВА</b> . . . . .	202

## Публицистика

<b>Маргарита ПАЛЬШИНА</b> НАД СЕДОЙ РАВНИНОЙ МОРЯ . . . . .	203
--	-----

## Вехи памяти

<b>Сергей КРИВОРОТОВ</b> ЗЕМНОЙ ШАР НА ЛАДОНИ . . . . .	209
<b>Всеволод ГРЕХНЁВ</b> БОЛДИНСКОЕ СИЯНИЕ . . . . .	223

## Далекое — близкое

<b>Виталий КУДИНОВ</b> ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ . . . . .	226
<b>Иван ЧУРКИН</b> СОЛЁНАЯ МОЛИТВА . . . . .	230
ФРУКТОВЫЙ КИСЕЛЬ . . . . .	233
МОНАШЕСКИЙ ПОДАРОК . . . . .	235

## Прощальное слово

<b>Ярослав КАУРОВ</b> ПОЭТ ВСЕГДА ВЕДЁТ ДУЭЛЬ. О русском писателе Игоре ГРАЧЕ . . . . .	238
--	-----

## Фёдор СУХОВ

Русский поэт и писатель Фёдор Григорьевич Сухов родился в 1922 году, в старообрядческой семье, в селе Красный Осёлок Лысковского района Нижегородской области. В 1941 году был мобилизован, прошел ускоренный курс обучения в Ташкентском пехотном училище, по окончании которого в 1942 году был отправлен на фронт.

В 1943 году был участником сражения на Курской дуге, командуя противотанковым взводом. С боями прошел всю Белоруссию, Польшу. Победу встретил в Германии в звании старшего лейтенанта. Был трижды ранен, награжден орденом Красной звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».

После демобилизации в 1946 году работал в родном колхозе в селе Красный Осёлок, затем переехал в Горький, где заведовал передвижной библиотекой. Поступил в Литературный институт имени М. Горького, окончив его в 1954 году, работал в газете «Сталинградская правда». В 1957 году был принят в Союз писателей СССР, после чего полностью посвятил себя литературному труду. В 1973 году вернулся в Горький.

Начиная с 60-х годов регулярно отправлялся в пеший поход по своим боевым местам, чтобы собрать материал для своих записок о Великой Отечественной войне, результатом которых стала книга «Хождение по своим ранам», впоследствии переработанная в «Ивницу». Публиковался в союзных литературных журналах, сборниках и антологиях. При жизни поэта было издано 25 его стихотворных книг.

Фёдор Григорьевич Сухов скончался 5 января 1992 года. Отпевали его в Нижнем Новгороде, в Высоковской церкви. Похоронен на родине, в селе Красный Осёлок, под горой у Волги на старообрядческом кладбище.

## БУРЕПОЛОМ

### Предисловие

В конце 1991 года отец, только недавно вернувшийся в Нижний Новгород из Ялты, полный творческих планов и надежд (к его семидесятилетию в нескольких московских издательствах у него должны были выйти книги, в том числе его военная проза в «Роман-газете»), неожиданно тяжело заболел. Ухаживали за ним я и моя мама, Клавдия Ермолаевна Сулова (1926–2004). Мама, по профессии медсестра, была и ночной сиделкой у отца в больнице, куда его положили на обследование. Когда мы поняли, что врачи ему уже не в силах помочь, то забрали его домой, да и он не хотел оставаться в больнице, его тянуло к работе. Трудно вспоминать, как тяжело нам было, но мамы молитвы и её любовь к отцу давали ему силы, он почти месяц мог плодотворно работать: подготовил к изданию

новую книгу стихов, до последнего часа дописывал свою повесть «Буреполом». Я разбирала, печатала. Мама же брала на себя самую сложную работу – уход за тяжелобольным, выполняла необходимые медицинские процедуры, кормила с ложки, мыла, переодевала. Отец понимал, что жить ему осталось недолго, попросил пригласить священника из Высоковской церкви Троицы Живоначальной. Священник исповедал, причастил, а когда узнал, что родители не венчаны, то и повенчал их...

Читателям журнала «Нижний Новгород» предлагается повесть «Буреполом» Фёдора Сухова, задуманная автором не просто как автобиографические воспоминания о детстве, а как попытка на примере жизни своей семьи, родного села Красный Осёлок показать страшные для России перемены, с корнем вырвавшие православную веру, патриархальный уклад семьи, любовь труженика-кормильца к земле, искалечившие судьбы всего русского крестьянства. Фёдор Сухов родился в год основания Советского Союза и умер в год его распада (1922–1992). Предполагалось, что повесть охватит период с конца 20-х до конца 30-х годов прошлого века, то страшное для села время, которое названо коллективизацией, но автор не успел её окончить.

За месяц до своей смерти он отпечатал и передал несколько глав повести волгоградскому поэту В. Макееву, рассчитывая на дальнейшую публикацию и остальных глав. Эти начальные главы были опубликованы в журнале «Отчий край» уже после смерти отца.

Мне долгое время казалось, что в рукописях остались только черновые наброски повести, из которых трудно собрать целостное повествование. Но при внимательной расшифровке не переписанной набело рукописи выяснилось, что она складывается в достаточно объёмное и очень интересное произведение, которое можно опубликовать и как незаконченное, так как это хроника, основанная на реальных событиях, в ней нет сюжета, требующего логической концовки.

Большинство персонажей повести – живые люди, выведены под их собственными именами, они легко узнаваемы для своих земляков. Ф. Сухов никогда не писал о том, чего не знал, и главной задачей писателя считал правдиво отображать жизнь, тем более, когда правда сознательно искажалась. Сухов пытается донести до читателя ту правду, какую знали его сородичи, он сам. В то время, когда Сухов писал свою повесть, правду о коллективизации писатели-деревенщики обходили стороной.

Как мечтал отец сказать всё, о чём стыдливо молчали писатели-деревенщики, но повесть его оборвалась на полуслове...

*Елена СУХОВА, дочь поэта*

## Часть первая

### I

– Его Овдотья в мокром подоле принесла, – так баяла моя мать, когда в нашу избу заходил какой-нибудь сторонний человек, когда человек этот не мог не обратить внимания на мои полные слез глаза, на лужу, в которой я сидел среди только что вымытого, сбитого из широких тесин, оголенного пола.

– Больно хил...

Мать соглашалась, был я и вправду хил, и не было даже малой надежды, что я встану на ноги, сделаю свой первый шаг.

Трудно сказать, когда, в какую пору запечатлелся в памяти этот разговор, но мне кажется, разговор этот – самое первое восприятие человеческой речи моими младенческими ушами, восприятие неосмысленное, такое, какое бывает на втором или третьем году жизни.

Осмысленное восприятие пришло ко мне на шестом, а может, на седьмом году моего пребывания под куполом, нельзя сказать, безоблачного – часто непроглядно заволоченного неба.

Мать моя – «остроушка», так звали всех баб, которые родились за Волгой, была она из бедной, многодетной семьи, сирота, отца не помнила, росла под присмотром старшего брата. И вот страшное известие – старший брат убили, попал в колодезь...

Не помню, как я попал в Великовское, в родное село своей матери, но хорошо помню длинный, выдолбленный из смолистой ели гроб, а в гробу – черная борода, она не так длинна, не прикрывает сложенных на груди, искалеченных тяжелой работой рук. Борода не страшит меня, не страшат и руки, но два положенных на глаза пятака – страшат.

– Да ты не бойся, попрощайся с дядей-то, – слова эти проплакала кривая старуха, мать моей матери, моя бабушка, которую я почти не знал, она стеснялась своей бедности и редко навещала свою дочь, к тому же дочь она выдала за вдовца, обремененного двумя малыми детьми, восьмимесячным мальчиком и полуторагодовалой девочкой.

– Мал, ничего еще не смыслит, – проговорила другая старуха, проговорила просто так, но я приподнял опущенные под ноги глаза и уставился ими в прилепленные к гробу, плачущие тихими слезами восковые свечи.

– Упокой, Господи, раба твоя, – размашисто крестясь, пропел седобородый, облитый черным лоснящимся сатином, крепко сбитый старик.

– Это наш настоятель, – прошептала мать, прошептала только для того, чтоб я тоже размашисто перекрестился, показал свою приверженность к древнему благочестию.

Я перекрестился, я даже преодолел страх, придвинулся к тихо слезящимся свечам.

И тогда-то жена убившегося дяди, та самая Овдотья, которая, как мне думалось, принесла меня в мокром подоле, привстала со своей табуретки и слепо потянулась к смиренно сложенным на груди, крепко спящим рукам.

– Отработали твои рученьки, отдержали соху-сошеньку...

Впоследствии я много слышал вопящих по своим мужикам наших русских баб, но их вопли не могли приглушить во мне впервые услышанного, потрясшего все мое существо, остолбняющего плача укутанной в шерстяной платок нежданно-негаданно овдовевшей Овдотьи.

Отдержали соху-сошеньку,  
Отпахали пашню-пашенку,  
Откосили они зелены луга,  
Отметали сена в высоки стога...  
Ах, пойду-ко я во чисто поле,  
Ах, ступлю-ко я на свой загон,  
На загон на свой, на полосыньку,  
Что не орона, что не пахана  
Во тоске лежит, во кручинушке,  
Вопрошает она своей горечью,

Что подеялось с сохой-сошенькой,  
Что-то случилось с ее пахарем?  
Ах, пойду-ко я в зелены луга,  
Опущу-ко я на траву-мураву  
Грусть-тоску свою, свое горюшко,  
Приподнимутся травы буйные,  
Подойдут ко мне с укоризною,  
Иссушило их лето знойное,  
Белей льна стоят по угоринам,  
По угоринам, по поеминам...

Глаза мои застлали слезы, и я не углядел, как был поднят гроб, как гроб этот на белых холстинах доплыл до двери, мешали мне и спины выходящих из просторной избы, понуро склоненных взрослых людей. Горизонт детского зрения узок, он расширяется с годами, я многое не углядел, многое не увидел, я даже не видел матери.

Кинулся к двери, с трудом открыл забитую инеем дверь, скрипя промерзлыми сенями, выкатился на улицу. Широкая, утыканная кургузыми ветлами улица утопала в глубоком, кое-где запятнанном вылитыми помоями, снегу. Откуда ни возьмись, появилась мать.

– Ты куда? – накинулась она на мои, прихваченные морозом, неотешные слезы.

Я долго молчал. А в это время размеренно, удар за ударом, звонил колокол, грустно ронял свои слезы.

Мать схватила меня за руку, и мои слезы покатались к этим грустно роняемым слезам.

Рано, чуть ли не с самого рождения, я был приобщен к благовесту древлего миропонимания, еще не встав на ноги, на руках матери по паутри, по павечери я вбирал в себя дух каждодневно попираемого, но не попрянного благочестия в нашей упрятанной на задворках моленной.

Думаю, не будет лишним, ежели я потревожу бороду протопопа Аввакума, что-то скажу о его последователях, что утвердили себя по всему Нижегородскому Заволжью, утвердили и по Приволжью, по правому и по левому берегу величавой, на удивление красивой реки. Гонимые, не имеющие права на какое-либо существование, они, последователи старой веры, выжили. Сила духа оказалась сильнее великодержавного Левиафана, эта же сила духа явила удивительное по своей целомудренности искусство: в краске, в слове, в дереве. Весь мир удивляется русской иконописи, русскому деревянному зодчеству, аввакумовскому Житию. К сожалению, современный читатель почти не знает творение братьев Денисовых, их «Поморские ответы», по утверждению величайшего поэта XX века, были близки создателю новой государственности, нового мироустройства.

Есть в Ленине керженский дух,  
Игуменский окрик в декретах,  
Как будто истоки разрух  
Он ищет в «Поморских ответах».\*

«Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевлению».

Автор одного из проникновеннейших повествований, великолепной лирической поэмы не посчитал нужным уведомить читателя,

\* Николай Клюев (Из цикла «Ленин»).

что начальные строки его вдохновенного создания слово в слово повторяют начало «Поморских ответов», только кавычки, только они указывают на заимствование\*.

А я вслед за матерью протиснулся в дверь осененного деревянным крестом невеликого строения и – обомлел, на меня со всех стен уставились угрюмые лики великомучеников, в свое неполное семилетие я, конечно, далек был от какого-то понимания, но память моя запечатлела увиденное, правда, оно теперь – как давнее-давнее сновидение. Запомнился всадник на белом, тонко выточенном коне и змея под копытом коня.

Не скажу, сколько времени я пробыл под приподнятым копьём низко склоненного всадника, наверное, не так уж долго, потому что еще засветло очутился возле заледенелого, как будто обросшего седой бородой, колодца.

– Гнал он, так гнал, што, может, и не заметил этого колодца, а тут вон какой раскат-то, сани-то, раскатившись, о сруб ударились. И – вышибло человека-то... Никто не ведает, где нас смертушка-то сторожит.

– Говорят, выпимши здорово был?

– Может, был, может, нет.

– Ежели б не был, не гнал так скакуна-то...

Такой разговор услышал я, когда к колодцу подошли уж больно ба-сеные молодичи, подошли с деревянными (как кадушки) ведрами.

– А ты-то откуда? – наклонясь к моему малахаю, спросила одна из молодич, та, что утверждала, что убившийся человек был выпимши.

Я упрямо молчал.

– Из Осёлка он, – ответил за меня мой двоюродный брат, сын убившегося дяди, он-то и привел меня к обледенелому колодцу.

Повалил снег, повалил так густо, что нельзя было разглядеть стоящей поблизости избы. Что в такую непогоду может держать на улице? Вроде ничто, вроде надо скорее убираться домой, к теплу жарко потре-скивающего подтопка, но белая магия падающего снега долго держала нас возле колодца, хотелось заглянуть в его ледяное нутро, но удерживал страх. У меня уже был кое-какой опыт в преодолении страха, я мог среди ночи выйти на улицу, мог по павечери пройти мимо кладбища, поэтому я первый отважился заглянуть в ледяное нутро. Омут черного-черного ужаса обдал меня своим жутким холодом. И тогда-то по моей спине заколотились чьи-то кулаки. И – крик:

– Ах, ты! Што ты делаешь?

Мать, она схватила меня за рукав ветхого, сшитого из домотканного сукна пиджачишка и, оттащив от колодезной бадьи, опять начала урезонивать меня своим плачущим криком:

– И тебе охота на тот свет уйти!

Мне не хотелось на тот свет уходить, не хотелось хотя бы потому, что на том свете вряд ли есть такой снег, такая широкая улица...

Я прогулял поминки, поминальный обед, прогулял этот обед и мой двоюродный брат Иван, Вашурка, как его звали, но голодными мы не остались, опосля поминок всегда в изобилии бывает всякой снеди, и нам перепала не только одна каша, но и по большой деревянной ложке янтарного, маслянисто-тягучего меда. Опосля поминок обычно наступает какая-то неприкаянная, удручающая тишина, даже дети, даже они смиряются, не скажут лишнего слова. Казалось бы, опосля поминок есть повод поговорить о бренности земного бытия. Но говорят, наоборот,

\* Имеется в виду роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева».

смерть близкого человека, его уход из жизни усиливает узы этой жизни. Живые хоронят мертвых не для того, чтоб пасть в уныние, хоронят мертвых для того, чтоб через боль утраты обрести упорство в преодолении выпадающих бед, напастей, в приобретении стойкости, без которой немислимо пребывание на этой земле, на этой планете.

– Не убивайся, Овдотьюшка, Бог не без милости...

А и впрямь не без милости, долго-долго не уходили из просторной избы убившегося Василия Ивановича его младшие братья: Алексей Иванович, Андрей Иванович, Михаил Иванович, Федор Иванович, ушел только Кузьма Иванович, старший брат, он все время уединялся, он не выносил даже запаха (духа) сорокоградусного зелья и не возлюбил своих младших братьев за их пристрастие к этому зелью, он был уверен, что Василий Иванович убился только потому, что не избежал пагубного соблазна, выпил, и уж конечно, сверх меры. Впрочем, меры тут не может быть, даже одна капля злосчастливого пойла таит в себе погибель.

– Не убивайся, Овдотьюшка, – эти слова так часто слышались, что можно было подумать, что внезапно овдовевшая Овдотьюшка зря убивается, зря льет неутешные слезы. А она привсталала со своей скамьи и, пошатываясь, прошла в чулан, к челу печи, открыла ее заслон, потом взяла в руки ухват (рогач), вытащила им большой котел (чугун) подогретой воды.

– Лошадь нады напоить, – убитым голосом просипела Овдотьюшка, она вылила из закопченного котла подогретую воду, хотела приподнять это ведро, но моя мать перехватила, ведро очутилось в ее руках.

– Тетка Марья, я сам...

Мой двоюродный брат, он уже почувствовал себя хозяином, ухватился за дужку ведра.

– А донесешь ли?

– Донесу.

Я не утерпел, слез с печи и тоже приблизился к еще неостывшему пару, что бело стоял над вынутой из печи подогретой водой.

– Ты фонарь понесешь, – так сказал мой двоюродный брат Иван, Вашурка.

Фонарь зажгла мать, тот самый фонарь, который звался «летучей мышью».

– А как лошадь-то зовут? – спросил я несущего тяжелое ведро Вашурку.

– Любим.

Пожевывая, хрупая зубами сладкое, сброшенное с высоких сушил сено, он чуял, может, воду, может, наше дыхание и – приветливо заржал. Темно-серый, в крупных яблоках, не такой уж редкой в наших краях масти, он приподнял точеную, с красиво поставленными ушами голову, думается, он хотел увидеть своего старого хозяина, но увидев двух парнишек, двух мальчишек, потупился.

– Любим... Любим...

Покосился глазами, показал яичную белизну белков, будто боковину ущербного месяца приподнял в тускло освещенной сутеми, влажными гуттаперчевыми ноздрями учуял поставленное на дощатый настил ведро, налитую в него еще неостывшую воду.

– Любим...

Любим приоткрыл рот, обнажил верхние и нижние зубы – как две подковы, было видно: темно-серый, в крупных яблоках, жеребец нервничал, наверно, потому, что валил снег. А когда валит снег, кони

нервничают, не могут стоять спокойно, вообще всякая непогода воздействует на любую животину, коровы и те проявляют свой норов, когда пуржит и непогодит.

Приподнятое и опущенное в хлев ведро не успокоило темно-серого жеребца, пил он неохотно, неохотно мочил свои губы в остывающей, выкачанной из оледенелого колодца воде. Есть какая-то сила, которая вызывает усмешку у людей, спознавших с наукой, постигших тайну того или иного явления, но у людей, не постигших тайны даже собственного существования, эта сила сильнее всякой силы, она управляет всеми поступками, она верховодит, она незрима, неощутима. Люди науки, мужи научного миропонимания, они неопровержимо доказали, что земля вертится, они поднялись над землей, они летают по воздуху, говорят, могут долетать до иных планет, иных миров – хвала и слава им, людям научного миропонимания, но не надо пренебрегать опытом тех людей, которые свято верят в чудеса, в те чудеса, которые почему-то называют сверхъестественными...

– Он по тятяне тоскует, – так сказал Вашурка, мой двоюродный брат, он был старше меня на целый год, а раз старше, мог в чем-то просветить меня.

Я уже много знал сказок, но не все сказки казались мне правдивыми, особенно сказки о животных, не верилось, что медведь мог поступать как человек. А ежели взять лису, она в каждой сказке выглядит такоймышленной, что куда там какой-нибудь настоящей Патрикеевне.

– А лошадь может плакать? – спросил я своего брата. Брат, не задумываясь, ответил:

– Может.

– Как человек?

– Как человек.

Ровно через неделю, накануне Рождества, в Сочельник дядя Андрей (он жил напротив) вывел темно-серого жеребца из тесовых ворот, запятил его в оглобли легких (с подрезами) саней. На этот раз я дивился не только крупными яблоками, но и увешанным медными бубенцами ошейником, начищенными до блеска, сразу запотевшими на морозе бляхами и расписной дугой, ее, нет, не колокольчиком – большим, как пригоршни моего отца, колоколом.

– Садись, Марьяшка! – крикнул дядя Андрей стоящей на приступке крыльца, собравшейся в дорогу матери.

– Не убей нас, – сказала мать, когда вместе со мной села в подрезные, набитые сеном сани.

## II

Трудно сказать, когда, в какое время, по всей вероятности, во время нижегородского князя Василия (он основал Васильсурск) обжили на правом берегу Волги, на заросшем дремучим лесом высоком-высоком угоре, какой-то зеленый пятачок, какую-то зеленую лядинку, судя поговору, выходцы с Владимиро-Суздальского ополья. Давно подмечено, что русские люди не любили ставить свои избы абы как, Днепр-Славутич, Волхов, Клязьма, Москва, Ока, Волга, эти реки, их берега стали колыбелью многих княжеских уделов, росли грады и веси, возвышались поначалу деревянные, впоследствии каменные храмы, писались на мореных дубовых досках лики святых великомучеников...

Монголо-татарское нашествие надолго приостановило естественное развитие всей Руси, всех ее уделов, и только сила духа, только она возвысила русского человека, побежденный возвысился над победителем, победитель не смог поработить побежденного, сохранился почти в неприкосновенности язык народа, его уклад, осталась в чистоте вера, любовь к родной земле.

Потеря языка ведет к потере национального самосознания...

Великий русский язык, язык «Слова о полку Игореве», язык летописца Нестора не деформировался, не потерял своего грамматического строя, он даже обогатился, восприняв несколько десятков слов из лексикона азиатских народов.

Красный Осёлок – так называли выходцы с Владимиро-Суздальского ополья свой зеленый пятачок. Не надо обладать особыми филологическими знаниями, чтобы разгадать этимологию счастливо найденного словосочетания: красный, значит, красивый, осёлок – оселять.

К началу девятнадцатого столетия Красный Осёлок удлинился, обращенные к Волге окна добротных изб, коньки на тесовых крышах радовали вольных поселян. Говорю «вольных», потому, что мое село – так уж случилось – не знало крепостника-помещика. В 1828 году на самом высоком месте был поставлен кирпичный храм, поставлен в честь повсеместно почитаемого Николая Угодника, храм этот удивителен по своей архитектуре, во всем простота и соразмерность, без всякого излишества...

– Задремал, Федяшка?

Я вздрогнул, приоткрыл опущенные инеем ресницы, увидел повернутые к задкам саней стеклянные усы дяди Андрея, его рдеющее – от мороза – открытое лицо. Не мог я не увидеть развалившийся сзади на две половины темно-серый зад придерживаемого ремнями вожжами, как бы танцующего Любима. Увидел я в мгlistой отдаленной морозе и ту высокую-высокую угорину, по которой, как по днищу перевернутой лодки, растянулся мой Красный Осёлок.

Не утерпел, вылез из-под тулупа, мороз сразу обжег мои щеки, но я не испугался, я вбирал в свои широко открытые глаза волшебную сказку русской зимы.

– Держитесь!

Дядя Андрей отпустил вожжи, зад Любима мигом двинулся вперед, полетели ошметки умятого копытами снега, наши сани быстро спустились с горы и очутились на завьюженном льду знакомого мне озера, а через каких-то пять минут сани наши прикоснулись к набитому стеклу волжского льда, стали стучаться о чакрыги этого льда, стукались о них и подковы конских копыт. Теперь не только из пригоршней подвешенного к дуге колокола, но и из-под копыт сыпался отчетливо слышимый звон. Глухо звенел колокол, тоненько-тоненько позванивал лед.

Не знаю почему, но издали даже неказистое деревце кажется каким-то чудом, особенно в зимнюю пору, когда иней стекленит каждую веточку, когда то же неказистое деревце превращается в белого-белого лебедя. Но впечатление меняется, когда видишь что-то вблизи. Усаженная яблонями красноосельская перевернутая лодка уже не была такой сказочной, какой она казалась с великовского взгорка. Наши сани подкатились к Папорти\*, как звалась корма перевернутой лодки, к моим

---

\* Слово *папорт* подтверждает моё предположение о давнем приходе на берега Волги моих односельчан, по моему разумению, слово это произошло от слова «папорты» – лопатки плеч. Удивительно образно мыслили наши предки.

глазам придвинулась высокая гора с одиноко стоящей сосной на ее округлой шишке.

Дядя мои (окромя Кузьмы Иваныча) были великими озорниками, такая уж природа, так говорила моя бабушка (по отцу), Анисья Максимовна, она ужаснулась, когда услышала под окнами своей избы, своего кержацкого полудомка, звон поддужного колокола.

– Будто свадьба какая... Люди до звезды говеют, маковой росинки в рот не кладут, а тут...

– Што тут?! – не утерпела еще не снявшая своей шали, только-только перешагнувшая через порог мать, она знала, что бабушка недовольна ее возвращением, зато довольна возвращением своего внука.

– Озяб, чай? – услышал я сразу изменившийся, обращенный ко мне хрипловатый голос.

А я и вправду озяб, руки совсем окоченели.

– В воду суй, в воду, – бабушка подвела меня к ведру студеной воды, взяла мои руки в свои руки и погрузила их в неприветливо темнеющее ведро.

Не первый раз мои руки купались в колодезной воде, но, наверное, в первый раз они так долго не отходили, наверное, в первый раз их так долго нестерпимо ломило, и я заплакал, никто, кроме бабушки, меня не утешал.

Бабушка Анисья, она, как и мать моя, до замужества жила в Великовском, но не в такой бедной, по словам деда, а в зажиточной семье. Сама бабушка не единожды говаривала, что они не из тех, у кого ни кола ни двора, а из тех, у кого и двор есть, и на дворе кое-что есть...

В избу вошел дядя Андрей, он снял голицы, по-ямщицки заткнул их за пояс и к великому удивлению Анисьи Максимовны положил три поясных поклона перед божицей, перед висевшей за ее стеклами тускло горящей лампадой.

– Говеешь ли?

– Говею, Максимовна, говею.

– Ведь нынче Сочельник, люди-то до звезды говеют, маковой росинки в рот не берут...

Руки мои отошли, и я снова очутился на улице, мне хотелось взглянуть на восходящую звезду, на ту звезду, что предвещала рождение Иисуса Христа.

Сойдя с крыльца, я не мог не глянуть на смирно стоящего под накинутым тулупом, подбирающего положенную прямо на снег охапку сена Любима. Не утерпел, подошел к правой оглобле, тронул увешанный бубенцами ошейник, послышался звон, точно такой, какой я слышал на Волге, будто льдина о льдину стучалась...

Звезда взошла над багряным сугробом закатной зари, она сразу остро засияла, это острое сияние отчетливо выделялось на еще несвечеревшей, едва притемненной холстине по-зимнему просторного, не обложенного облаками неба.

Ударил церковный колокол, я вздрогнул, вздрогнул потому, что удар колокола показался близким-близким, показался каким-то не таким, не похожим на много раз слышанный звон, уж больно гулко, больно раскатисто рокотал подвешенный на колокольной перекладине средний колокол. Возможно, мороз, возможно, он способствовал долго неутихающему гудению потревоженной чугунным билом (языком) басовитой меди. Я видел, как срывался с недвижимо опущенных ветвей нашей подоконной березы легкий, как пух, порозовевший от зари иней. Иней падал и на рукава моего пиджака, падал не с березы – со старой-старой яблони, неслышно, как паутина, прикасался к домотканному, подбитому ватой

сукну. На какое-то время я отстранился от одиноко сияющей звезды, слушал гудение колокольной меди, ее благовест, слушал не так уж долго – мороз-то не утихал, больно жег мои щеки, и если б не присевшие на застреху запележенного соломой двора – ах, какие эти прилетевшие откуда-то снегири! – если б не они, не эти снегири, я бы утопал домой, к краюхе испеченного бабушкой Анисьей подового хлеба.

Снегирей я видел и раньше (не мог не видеть), но запечатлелись они в моей памяти в ту самую зиму, в какую убился дядя Василий. Большой, как его звали.

Милые, милые птахи! Они – как крупная клубничка посреди зимы, они слетели с застрехи и рассыпались по засугробленному огороду, сходство с клубникой усилилось, только сугроб, только снег... Впрочем, и в пору лета, по паутри, когда выпадает обильная роса, огород наш матово белеет, может, вспоминает свой растаявший сугроб, свой снег.

– Федяшка! – это дядя Андрей, это он окликнул меня, окликнул тогда, когда взял в руки ременные вожжи, чтоб под сиянием радостно взошедшей звезды возвратиться в свое Великовское.

Я вспомнил о Любиме, о его яблоках, в ушах моих зазвенели бубенцы, их звякающий смех позвал меня к легким казанским саням.

– Попрощайся с дядей-то! – подталкивая меня к белым валенкам дяди Андрея, проговорила мать, проговорила так жалостно, что мне подумалось, что и дядя Андрей может убиться, упасть в колодезь.

Я упрямо молчал. А в это время взятые в руки вожжи тронули вложенные в рот Любима железные удила. Не знаю, заметила ли моя мать, но я заметил, как укатились казанские сани, только их подреза оставили на снегу две полосы, по которым скользила взошедшая над багряным сугробом зари рождественская звезда.

### III

«Пастухи пустыни, что мы знаем!»\*

А и вправду, что мы знаем? Я даже не знаю, когда родился мой дед, знаю только его имя и отчество – Петр Матвейч, знаю, что Петра Матвейча все звали батенькой, одни – почтительно, другие – подсмеиваясь. Я и сам называл своего деда, нет, не батенькой – батей.

– Батя, расскажи сказку!

И батя долго-долго рассказывал о невидимом граде Китеже, о поганом хане Батые, что черной тучей надвигался на Китеж.

Рано, пожалуй, с годовалого возраста, стал приобщать меня мой дед к Богу.

«Без Бога – ни до порога», – не один мой дед, все так говорили.

На третьем году я усердно клал поклоны, клал их со скамьи, клал перед завтраком, обедом, ужином. Соблюдал посты, соблюдаю, ждал мясоеда. Взошедшая над багряным сугробом звезда возвещала не только о появлении зачатого Святым Духом Младенца, но и о кринке поставленного на стол молока, о сдобренной скоромным маслом каше...

А пока я терплю, говею. Дед надумал испытать меня, подошел к залавку, взял хлебальную чашку, налил в нее творога и подал мне. Я замотал головой.

\* Строка из стихотворения И.А. Бунина.

Старик умиляется, похвально мной перед своим единоверцем Петром Степанычем Филиновым, что заглянул в наш полудомок по какой-то неотложной надобности.

– Вот он какой!

Петр Степаныч одобрительно кивает непокрытой, убеленной седыми волосами головой. А потом, как бы спохватившись, говорит:

– Пора собираться.

– Пора, Петр Степаныч, пора, – отзывается дед и, привстав с табуретки, подался к деревянному крюку, на котором висел старый, заляпанный заплатами полушубок.

Шубенный нос – такое прозвище пристало к моему деду. Почему-то оно вспомнилось мне, это прозвище...

– Ты пойдешь с нами? – надевая шубник, проговорил обожаемый мною мой старый-старый батя.

– Еще бы не поиду! Поиду.

В избе нашей, в нашем полудомке не было ничего примечательного: голые стены, щели в стенах, в щелях – черные тараканы. Одну из стен украшали старинные – с кукушкой – часы, те часы как-то скрашивали действительно убогий быт, тот быт, который, казалось, ничто не могло изменить. Приверженцы протопопа Аввакума крепко держались за свой уклад жизни, избегали какого-либо украшения.

Щелкнула дверца, из маленького окошечка выглянула кукушка, кукукнув, спряталась. Потом опять выглянула, опять кукукнула. А когда замолчала, дед спросил меня:

– Сколько раз выглядывала?

– Шесть раз.

Шесть раз выглядывала кукушка, шесть раз подавала свой голос.

Шесть часов вечера, обычно в это время я залазил на полати, укладывался спать. Рано? Да, рано. Рано укладывался мой брат Арсений (не родной по матери), он старше меня на пять зим, он уже ходит в училище, но ходит с неохотой, за что не достаивался какой-то приязни со стороны батеньки, приязнь эта вся отдавалась мне. Так уж случилось, так получилось.

Мороз усиливался, крепчал, слышнее взвизгивал снег, и не только под полозьями саней, но и под валенками идущего рядом с дедом тяжелого на ногу Петра Степаныча. И все-таки мороз не ожесточился, не злился. Не злился потому, что было тихо, ничто не шевелилось, даже снежинки и те притаились, пришипелись.

Дивное диво совершилось на небе, теперь не одна, не две, много-много звезд вешали о рождении Младенца. Как ни старался я углядеть ту первую, одиноко взошедшую звезду, не углядел. Решил спросить деда, куда делась увиденная мной на закатной заре, так долго ожидаемая звезда?

Дед отмолчался, ничего не сказал.

Я обратил свои глаза на жарко освещенные, железно зарешеченные окна мирской церкви, той самой церкви, что царственно возвышалась посреди села. Смотрел я и на поставленное в начале века приходское училище, оно светилось двумя окнами, светилось тускло, как через бычий пузырь, сказывался мороз, что холстинно прилип к хрупкому стеклу.

– А в училище-то учат?

– Учат, учат, – живо отозвался идущий по протоптанной, взвизгивающей тропинке дед, он не обращал никакого внимания на огни, но чуял мой интерес ко всему, что происходило на свечеревшем небе, на погруженной в колодезную суть, длинной-длинной улице.

– Учат днем, – проговорил я, проговорил тихо-тихо. Я думал, что дед не услышит, но он услышал, услышав, приостановился, назидательно сказал:

– Кто плохо учится, тех и ночью учат, без обеда, без ужина оставляют.

Может, и оставляют без обеда, без ужина, но в другие дни, в Сочельник, в канун Рождества, даже самых нерадивых учеников засветло отпускают по домам.

Так мне казалось, так думалось.

И как бы в подтверждение моих дум, моего уразумения под окнами стоявшей супротив училища, принакрытой заиндевевшими ветлами избы, послышался задорный крик тех, кто уже постиг таблицу умножения, решал немудрящие задачи:

Золотая голова,  
Шелковая борода!  
Ты подай пирожка  
Ради праздничка Христова,  
Пирожка-то хоть пресного,  
Хоть кисленького  
Да пшениченького!  
Отрежь потолще,  
Подай побольше!

Я придержал себя, приостановился. Глазам моим привиделся пшеничный пирожок. Да и как не привидеться, ежели целые сутки я томил себя воздержанием, даже после появления на закатившем небе светлой горящей звезды. Не прикоснулся ну хотя бы к тем сочным, что млели в еще неостывшей печи. Бабушка предлагала, но я отказался.

Мы по ржам, по межам,  
По широким рубежам  
Приблудили ко двору  
Генералову.  
Генералов двор,  
Он и тыном обнесен,  
И кольцом обведен.  
Посреди того двора  
Стоит горенка нова.  
Как на этой на кровати  
Перинушка пухова.  
Как на этой на кровати  
Перинушка пухова,  
Как на этой на перине  
Лизаветушка-душа.

Не знаю, когда, но можно предположить: давно-давно, в огороде одного из ярых приверженцев старой веры была поставлена, нет, не изба, скорее всего келья, точно такая, какие ставились в Заволжье по Керженцу, по Ветлуге, какие в давние времена так жестоко разорялись по повелению нижегородского митрополита Питирима.

Не так много, всего-навсего три семейства, три фамилии в нашем Красном Осёлке оставались верными древлему благочестию: Филиновы, Родионовы и мы, Суховы, поэтому стоящая в огороде небольшая келья вмещала в себя всех страждущих, всех приходящих.

«Еще бы не пойду! Пойду», – я, конечно, знал, куда пойду, я уже не раз ходил в стоящую в огороде моленную. Своим угрюмым видом эта моленная (эта келья) должна бы пугать меня, но на своей седьмой зиме я так крепко пристрастился к пригорюненной обители, что мог выстоять наравне со взрослыми двухчасовую заутреню или вечерню.

Обогнув довольно справный, крытый железом полудомок, взвизгивающая под валенками тропинка уткнулась в приступок осененного деревянным крестом крылечка. Я видел, как дед мой обнажил голову, отвесил поясной поклон, отвесил поясной поклон и Петр Степаныч. Я хотел тоже было снять шапку, но не снял, не мог развязать затянутые под подбородком лямки. Мои оголенные руки больно жгло морозом, не утерпел, заплакал.

– Ты што, зазяб? – спросил обернувшийся к моим слезам весь заиндевший дед.

– Знамо, зазяб, – утвердительно пробаил Петр Степаныч, он тоже весь заиндевел и походил на мельника.

Дед взял меня за руку и ввел в моленную. В моленной, потрескивая, жарко горели восковые свечи, горели лампы, топилась докрасна раскаленная железная печка.

– Заморозил парня-то, – обратясь к деду, укоризненно пропела накрытая пензенским платком уж больно сердобольная Матрена Степановна, жена Федора Петровича, старшего брата моего отца.

А дед, он ничего не сказал, он сам зазяб, сам потянулся к раскаленной печке, омывая ее теплом покрасневшие руки.

– Будем начинать?

– Подождать бы нады...

– А кого, чего ждать-то?

– Из Ёрзовки\* должны прийти.

– А разве не пришли?

– Не все вроде...

Такой разговор обычно происходил перед каждой вечерней, перед каждым большим праздником. Дело в том, что среди собирающихся в моленной приверженцев старой веры не было того, кто бы главенствовал, кто бы правил службу, любой мог стать к аналою и читать псалмы царя Давида, любой мог вознести хвалу и славу непорочной деве Марии...

Чаще всего к аналою подходил старший брат моего отца Федор Петрович, человек весьма примечательный, самоуком постигший тайну Священного Писания, глубоко познавший и самозабвенно воспринявший все символы древнего, дониконовского, благочестия. Дородный, с лицом, обрамленным недлинной, прихваченной легким морозцем, бородой. Он и сейчас приблизил себя к аналою, поставил на него подсвечник с зажженной свечой и, раскрыв большую, в кожаном переплете, книгу, стал читать. Читал внятно, совсем не так, как великовский настоятель, и все же многие слова не доходили до моего детского понимания, они только будоражили мое воображение.

«В месяц же шестый послан бысть ангел Гавриил от Бога во град галилейский, ему же имя Назарет, к Деве, обрученной мужеву, ему же имя Иосиф, от дому Давидова, и имя Деве Мариама.

И вшед к ней ангел рече: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах. Она же, видевши, смутися от словеси его и помышеше, каково будет целование сие. И рече ангел Ей: не бойся, Ма-

\* Деревня, примыкающая непосредственно к Красному Осёлку, к его высокой горе.

риам, обрела бо еси благодать у Бога, и се зачнеши во чреве, и родиши Сына, и наречеше имя ему Иисус»\*.

Озаренный горящими свечами чтец приостановился, глянул на свою жену, на свою Матрену Степановну, а Матрена Степановна сразу поняла, что нужно делать. Подняв к закопченному (как в бане) потолку свои большие, полынного цвета глаза, благоговейно пропела:

«Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию рождшагося от Безвестных и Пречистых Девы Марии».

Долго, больше двух часов длилось молебствие. Я не выдержал, сморился. Дед, заметив, как я сонно блукаю глазами, попросил дочь Федора Петровича, красавицу Аннушку, спроводить меня домой. Аннушка не ослушалась (не могла ослушаться, слово старшего – свято), она взяла меня за руку, подвела к двери, надела на мою голову великоватый, из зайца-русака, малахай и вывела на улицу.

Сколько было времени, наверно, время приближалось к полночи. В такую пору редко можно было увидеть свет в окошках, но в каждое окошко стучался большой праздник, а праздники издревле принято встречать трепетом священного огня, священной лампы, поэтому не было ни одного окошка без света, без его трепета. Может, потому притих мороз, не так зло хватался за щеки, зато еще ясней, еще лазурней ликовало небо. Покрупнели алмазно чистые звезды, они, как из колодца, глядели в мою душу, они все видели, все чуяли. Если б я был один посреди улицы, посреди укатанной санными полозьями, таинственно притихшей дороги, я бы устрасился, но звезды, они проявляли какую-то участь ко всему, что делалось на заваленной глубоким снегом земле.

– Отец-то не приехал? – спросила меня подошедшая вместе со мной к нашему дому, опушенная легким инеем, красавица Аннушка, моя двоюродная сестрица.

Нет, не приехал...

А я хотел, чтоб отец мой приехал, он работал за Волгой, вывозил на своем гнедом мерине поваленный где-то под Пенякшей лес.

Аннушка оставила меня возле крыльца, она знала, что я без ее сопровождения поднимусь на крутой мост, без ее помощи открою сенную дверь, но она не знала, что я соблазнусь ночующими за сенной дверью салазками, буду кататься на этих салазках с политого колодезной водой, заледенелого бугра.

Катался я недолго. За огородами, на гумнах заухал филин, я испугался. Убежал домой. А дома, в кути, увидел только что принесенного со двора теленка.

– Жданка отелилась, – заметив мое удивление, проговорила бабушка, – бог бычка дал, – добавила она, когда я разделся, когда стал оглядывать взошедшую на телячьем лбу рождественскую звездочку.

#### IV

Да, я не знаю, когда родился мой дед, но я знаю, когда строился наш людомок, на железной двери его кирпичной кладовой неизвестно кем выведена красной краской четырехзначная цифра – 1876, такой же краской выведена голова и шея скакового коня. Можно догадаться, что мои

\* Евангелие от Луки, гл. 1.

родичи (по отцу и по матери) любили гривастых скакунов, со временем я поведаю, скажу об этой любви, а сейчас я возвращусь к деду, к бабушке. Можно предположить, что Петр Матвеевич был обручен с Анисьей Максимовной в том самом году, когда строился полудомок, это предположение подтверждается тем, что год рождения старшего сына Петра Матвеевича и Анисьи Максимовны – Федора Петровича – в случайно попавшей в мои руки бумаге обозначен 1877 годом, второй сын Кузьма Петрович родился на два года опосля – в 1879-м, третий сын Иван Петрович народился в 1889-м, отец мой Григорий Петрович – в 1892-м, и последний сын Егор Петрович – в 1898-м, была еще у Петра Матвеевича и Анисьи Максимовны дочь, Мария Петровна, когда она родилась – даже предположить не могу, знаю только, что она была старше моего отца.

К моему появлению на свет все потомство деда и бабушки жило самостоятельно, все были определены, сыновья отделены, дочь выдана замуж.

Обычно люди черпают какие-то знания из книг, из учебников истории или географии, но можно многое познать, не прибегая к книгам, к учебникам. Посмотришь на дерево, по его стволу, по его кроне без особого труда определишь породу, возраст, а если ты попристальней взглядишься, узнаешь, что за бури, что за молнии искалечили его макушку. То же самое с каким-нибудь селом, с каким-нибудь городом, пройдишь по улице, взглядишь в поставленные на кирпичные кладовые избы, эти избы поведают тебе о том времени, в какое они ставились, возводились.

Я уже оповестил, что на самом видном месте в 1828 году была поставлена в Красном Осёлке удивительная по своей простоте и изяществу кирпичная церковь. Она – как лебедушка, она готова взлететь, удерживает кладбище, вернее кладбищенские кресты, они придерживают белую лебедушку, они умоляют ее, чтоб она не улетала...

Должен признаться: год возведения нашей красноосельской церкви я узнал случайно, в мои руки попал ее чертеж с четко поставленной датой.

Но вот и школа, наша приходская школа, училище, как называли мои односельчане добротное, поставленное неподалеку от церкви деревянное здание, я не видел его чертежа, его плана с той или иной датой, но не ошибусь, ежели скажу, что это здание было поставлено вскоре после 1905 года, когда сам царь убедился в необходимости народного образования. По кирпичному фундаменту, по листовому железу на покато́й крыше, по окнам, по водосточным трубам можно узнать время, время можно узнать и по частным домам. Дома, обращенные своими окнами, своим лицом к Волге, встали к ней соломенным задом. Добротные дома (полудомки) ставились в последней четверти XIX века, когда Россия уверенно ступила на путь преобразования, промышленного подъема. Что бы там ни говорили об отсталости Российской державы, но Транссибирская магистраль, Туркменская железная дорога проложены русскими людьми, проложены тогда, когда Эйфелева башня возвещала о торжестве железа и стали, железом и сталью одной Транссибирской магистрали можно было опутать всю Германию...

Цивилизованная Европа долго укоряла нас нашей русской печью, полатями, тараканами и, конечно, лаптями. Что ж, была печь, были полати, не было ни перин, ни пуховых одеял, были кирпичи, были голые доски... И все-таки я благодарно вспоминаю и не только русскую печь, и не только полати, но и того быстро обсохшего бычка, что стучал своими копытцами по устланному свежей соломой, только что вымытому полу.

– Как назвали? – глядя четвероногого белолобыша, с явно издевательской ухмылкой спросил рядом живущий и часто заглядывающий в родительский дом младший сын моего дедушки – Егор Петрович, Егорка голоштаный – так в глаза и за глаза звали навеки проклятого отступника и не только от старой – от всякой веры, басурмана, хриstopродавца.

– Ты бы шапку сперва снял, – выглянув из чулана, из-за его ситцевой, усыпанной блеклыми цветами занавески, укоризненно пропела моя бабушка Анисья Максимовна, пропела и горестно притихла.

Егор Петрович спохватился, снял шапку и опять стал спрашивать, как назвали на удивление крупного, огненно-красного телка.

– Никак не назвали...

– Назовите Иисусом.

Бабушка схватила ухват и с ухватом выкатилась из чулана.

– Нечистый дух, сгинь с моих глаз, не погань моей избы!

– Изба-то не твоя...

– А чья она, твоя, што ли?

– Моя.

– Господи! – воззрясь на освещенные светло горячей лампадой древние, дониконовского письма, образа, слезно взмолилась ошарашенная неслыханным богохульством сердобольная старуха. – Господи! – повторила она. – За какие прегрешения наказал меня? Ежели б я знала, ежели б я ведала...

– А разве ты не знала?

– Што я знала? Ничего я не знала.

Не знала Анисья Максимовна, что ее последыш, встав на ноги, пойдет не по тому пути, не по той дороге. Да и кто мог знать, неисповедимы пути Господни.

А и в самом деле, неисповедимы всякие пути, всякие дороги. Помыслить страшно: от Бога отступился? Без Бога – ни до порога. Пословица-то не зря бается, не зря говорится.

– Темнота, – так Егор Петрович отзывался обо всех, кто держался за старину, за религиозные каноны, особо потешался над старой верой, к которой он сам когда-то принадлежал, сам когда-то ходил в моленную, читал тропарь и другие священные книги.

Как же так произошло, почему человек так легко расстался с тем, что для многих людей составляло сущность всей жизни?

Без всякого домысла, следуя непомерной в моей памяти житейской правде, постараюсь запечатлеть типичный для своего времени еще один облик «борца» за новые идеалы, за новое миропонимание.

«Бедовый был, дом-то вон у вас какой высокий, а он залезет на крышу да и ходит по коньку, не то в трубу зачнет кричать, Онисью, бабушку твою, пугал. Сколько раз в колодезь залазил, спустит бадью, а опосля по цепи сам спустится. На звезды из колодезя-то глядел, рассказывал, какие звезды посреди дня видел. Крупные, как яблоки. Озорник был. Но учился хорошо. Схватывал все быстро, с похвальным листом училището закончил. Нады бы дальше учиться, а дедушка твой воспротивился, не пустил. Тогда-то он и убежал из дому, долго на барже плавал. Вскорости война зачалась. В войну-то я не знаю, где он пропадал. Знаю только, коли подошло время призыва, дома его не было. Меня-то призывали, а его дезертиром признали. Домой заявился, когда царя свергли. И опять – временные власти меня призывали, а его почему-то дома оставили. Што он делал дома, мне неизвестно, будто советскую власть устанавливал. Может,

и устанавливал, я не знаю. Я супротив Колчака воевал, домой заявился по окончании гражданской войны, в пору продразверстки. Через год оженился. Оженился и Егор Петрович, невесту он взял из Кременок\*, взял не по вере. Тогда дедушка-то твой и проклял его, анафеме предал».

Так рассказывал мне наш сосед Михаил Федорович Туманин, рассказывал незадолго до своей смерти.

«Следуя житейской правде», – эти слова мои вряд ли можно воспринять без оговорок. Кто подтвердит, что я говорю сухую правду? Вот ежели б жива была моя мать, она что-то бы сказала, что-то подсказала.

– Ты, чай, помнишь, как он иконы-то в колодезь побросал, – сказала бы мать и тяжело б вздохнула.

Как не помнить! Хорошо помню, как влетела в нашу избу жена Егора Петровича, дородная Овдотья (не она ли, не эта ли Овдотья принесла меня в мокром подоле?), как она, эта Овдотья, прямо с порога ошарашила сидящую за светло начищенным самоваром Анисью Максимовну:

– Жулик-то, жулик-то иконы утопил!

Бабушка долго не могла сообразить, что произошло, она могла воспринять конец света, но чтоб кто-то утопил сгретенные с божницы медные, дониконовского литья иконы – такого богохульства и представить невозможно.

– Ты што, што ты буровишь? Святые образа ништо не в силах осквернить. Господь не потерпит!

Я видел, как мой старший брат Арсений в одной рубашонке, без шапки выскочил на улицу. Я тоже слез с полатей, тоже в одной рубашонке хотел было выскочить за дверь, добежать до колодца, заглянуть в него, дабы узнать, что случилось с иконами, но на пороге столкнулся с дедом. Дед, отстояв заутреню, возвратился из моленной, он стащил с головы старенький малахай и, ступив на половику, стал класть поклоны. Встала из-за стола бабушка, она тоже начала креститься. А я растерялся, я встал пообочь деда, возле его усыпанных еще не растаявшими снежинками, изрядно поношенных валенок, стоял недвижимо, мне было жалко брошенных в колодезь икон. Но я верил, что иконы не утонут, они ведь святые...

– Поздравляю вас всех, тебя, Овдотьюшка, тебя, Онисьюшка, – дед глянул на печь, но никого не увидев на печи, на какое-то время прервался, потом благоговейно, с прослезившимся умилением повторил свое поздравление: – Поздравляю всех вас с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!

Бабушка приблизилась к божнице, празднично горящей лампаде и – пала на колени. А я почему-то глянул на огненно-красного бычка, мне подумалось, что есть какое-то сходство между Святым Младенцем и отмеченным той же Вифлеемской звездой, недавно народившимся телком, оба появились на свет в коровьих яслях...

Кто-то открывал дверь и никак не мог открыть. Думалось: старший брат Арсений, думалось: он напрягает свои силенки, но дверь открылась, через ее порог перешагнуло две пары лаптей и три пары валенок.

– Слава тебе, Христе Боже наш, – не в лад, но чисто-чисто, так, как могут причитать только детские голоса. Они и причитали, они и славили рожденного в коровьих яслях Младенца.

Дед не поспешил, двум мальчикам, что были в лаптях, дал по гривеннику, а трем девочкам, что были в валенках – по пятаку.

---

\* Село на правом берегу Волги, недалеко от Красного Осёлка.

– Вы чьи будете? – спросила бабушка, но ответа не дождалась. Открылась дверь, по вымытому полу, бело клубясь, пополз мороз, он прикоснулся к смиренно лежащему бычку, лип к его губам, потом дверь, скрипя, затворилась, прищемила приподнявшийся хвост нахально влезшему в избу морозу.

Анисья Максимовна уж больно любила почаевничать, посидеть за самоваром, но то, что она услышала от своей невестки, от дорогой Овдотьюшки, отбило не только от чая, но и от желания что-то сказать. Посреди белого дня свечерела Анисья Максимовна, омрачила свой светлый праздник, зато Петр Матвеич благодушно снял свой полушубок, пригладил редкие волосы, тронул тоже редкую бороду, обычно он не обращал внимания на свою старуху, на ее поведение, а тут взял да и спросил:

– Ты што, Онисья, захмурела? Грех в праздник Бога гневить.

– Я не гневлю...

– Кормила ли внука-то?

– Сейчас ватрушку подам, пуцай ест.

Бабушка метнулась к печи, взяла в одну руку сковородник, другой открыла заслон, и через какую-то минуту на столе, румянясь запёкшимся творогом, духмяно дышала та самая ватрушка, которая так радовала все моё существо, я ведь шесть недель говел, шесть недель не брал в рот скоромного, довольствовался сухарями да похлебкой.

Помыл руки и – долго-долго молился, шептал вошедшие в мою детскую память молитвы.

Дед не переставал восхищаться моим усердием, он даже прослезился – от умиления.

– Овдотьюшка, ты видишь?

– Вижу, батенька, вижу, – отвечала сидящая у подтопка, убитая неслыханным богохульством несчастная женщина.

Я быстро набил свое брюхо зарумянившейся, разрезанной на крупные куски ватрушкой и хотел вылезть из-за стола, но дед придержал меня.

– Ешь досыта.

– Я наелся.

– И впрямь наелся, – заголив подол рубахи и похлопав по моему брюху, удовлетворенно проговорил мой благодетель, он вручил мне гривенник, сказав, чтоб я шел в лавку, чтоб я купил себе конфет и пряников.

## V

Святки? Что за Святки? Откуда взялись эти Святки?

– А кто их знат, откуда они взялись, – так отвечала Марья Петровна, единственная дочь моего деда, она пришла из Великовского, пришла, как сама сказала, на Святки, но что такое Святки, сказать не могла. – Ты лучше спроси у дедушки.

Я спросил.

– Бесовское наваждение, – сердито проворчал дед.

Я покаялся, что обратился к деду, рассердил его своим любопытством.

Последователи Аввакума ревниво ограждали свое древнее благочестие не только от нововведений патриарха Никона, но и от пережитков язычества. Ежели мирская церковь уживалась с языческими атрибутами, приспособлявала их в угоду христианскому вероучению, христианской обрядности, древнее благочестие противилось всему тому, что не соответствовало догмату некогда воспринятого православия.

– Ты в лавку-то ходил? – осведомился забравшийся на свои полати, видать, немного прихворнувший дед.

Я не ходил в лавку, я не хотел тратить свой гривенник на конфеты и на пряники. Хотелось купить железные коньки, такие, какие я видел в Великовском на ногах одного сопливого пацана.

– Сходи, купи бабушке чаю.

Вот тебе и коньки!

Вышел на улицу. От обилия уже повернувшего на лето, но все еще студеного солнца заломило глаза. Я забыл сказать, что на зиму пять окон нашего полудомка (три по лицу и два по левой продольной стене) запележивались, забивались досками до верхней крестовины одинарной рамы, а за доски набивалась веяная мякина (полова), все это делалось для тепла. Тепло как-то держалось, но мало было света. В избе всегда было темно, сумрачно, потому-то и заломило мои глаза. Нужно было какое-то время, чтоб без всякой ломоты оглядеть заваленную снегом улицу. На снегу алмазно остро блистало, может быть, то самое лето, на которое повернуло солнце (солнце – на лето, зима – на мороз). Мороз, он особо давал о себе знать, зажатый в моей правой руке гривенник сразу охолодел. Тут-то я и пожалел, что забыл надеть связанные из овечьей шерсти варежки. Хотел было вернуться домой. Не вернулся, до лавки не больно далеко. Засунув обе руки в дырявые карманы ветхого пиджачишка, я выбрался на середину улицы, ступил на укатанную полозьями саней, заваленную конскими шевяками дорогу.

Лавка (кооперация) помещалась в кладовой Филимоновны, седой, согбенной прожитыми годами, совсем не деревенской, по виду приехавшей из города старухи. Продавцом (приказчиком) в лавке сидел Илья Филинов, младший сын Петра Степаныча Филинова, приятеля моего деда.

Илья Петрович сразу заметил меня, спросил: зачем я пришел?

– За чаем.

– Кому?

– Маме старой (так я звал свою бабушку).

– Спой песню.

– Какую?

– Любую.

И я спел.

Баба сеяла, трусила,  
Ногу муха укусила,  
Баба думала: клоп,  
По ноге ладонью хлоп!

Илья Петрович мотнул головой, он знал, что я пел не так, как бы ему хотелось, но в нашем доме никто не произносил непечатных слов, даже отец никогда не ругался.

– Поругай мать.

Не помню – ругал я свою мать или не ругал, допускаю: ругал. Допускаю потому, что дед, бабушка с самого раннего возраста внушали мне, что мать моя – не моя мать. Остроушка, молодка, беглянка, вот те прозвища, которые надолго прилипли к моей матери. Мать мою не любили, не любил ее и мой отец. Почему? По какой причине? Я уже говорил, что родительница моя была из бедной семьи. Росла без отца. За-муж вышла не по своей воле, ее просватали. Просватали в шестнадцать

лет. Жизнь не складывалась. Да она и не могла сложиться, в том доме, в котором предстояло жить моей родительнице, жило четырнадцать душ: дед отделил только старшего сына да выдал дочь, все остальные сыновья со своими женами, со своими детьми ютились под одной крышей, по которой когда-то по-кошачьи ловко лазил Егор Петрович, тот самый Егор Петрович, что не преминул заглянуть в кладовую Филимоновны, наверное, соскучился по своему единомышленнику, Илье Петровичу.

– Ты чего здесь топчешься? – спросил меня мой дядя, спросил просто так, от нечего делать.

– За чаем пришел.

– За чаем... А не за конфетами?

Я замотал головой, великоватый малахай прикрыл мне глаза. Какое-то время я ничего не видел и не ожидал, что кто-то стащит с меня этот малахай, положит его на прилавок.

– Клади.

– Чего?

– Конфеты.

Егор Петрович, это он надумал благодетельствовать меня, он попросил Илью Петровича «отпустить», пусть дешевеньких, но всегда желанных конфет.

От радости я забыл, что мне нужно купить чаю, с малахаем в руках вылетел из кладовой. Поначалу не ощущал того мороза, что имелся рождественским, я даже приостановился, оглядел широко раскинувшийся, осыпанный остро искрящейся кухтой, сказочно охрусталевший вяз, мне показалось, что я в каком-то сказочном царствегосударстве. А тут еще конфеты в малахае!

Повторяю: я не ощущал мороза, я был блаженно счастлив, но счастье так хрупко, что уберечь его трудно, взрослые люди, и те не в силах уберечь. Бабушка, мать моя, бабушки и матери моих сверстников всякий раз оплакивали свою долю, свое загубленное счастье.

Без всякого сомнения, я бы мог благополучно возвратиться домой, возможно, с прихваченными морозом ушами, возможно, с заочевеншими руками, но случилось так, что домой я возвратился с обильными, сосульчато застывающими на щеках слезами.

Святошники, я их увидел издалека, увидел тогда, когда распрощался с вязом, когда впритруску бежал к своей кладовой. Надо бы уторопить свой бег, но я не уторопил, захотелось – лицо в лицо – встретиться с этими святошниками, с ряжеными, как их еще у нас называют.

Лицо в лицо, не знаю, какое у меня было лицо, но, думаю, какое-то лицо было, были длинные, усыпанные неслышно упавшими снежинками, темно-русые волосы... Что касается идущей навстречу оравы, тут я ничего похожего на человеческий облик не увидел. Я видел, как, подпрыгивая, змеино извиваясь, двигался накрытый конусообразным, свитым из полосатой бумаги колпаком паяц, он вроде бы не заметил меня. Не заметил меня и тяжело движущийся на медной цепи медведь. Медведь был в овечьей шкуре, был и черт, с рыжей мочальной бородой, он кинулся ко мне, намереваясь боднуть меня своими рогами. Я не на шутку перепугался, ударился в бегство, но убежать далеко не мог, увяз в сугробе. Ко мне вплотную приблизилась мочальная борода, мои уши ощутили холод колючего снега и прикосновение лап наклоненного надо мной, теперь я уже не мог понять, настоящего или ненастоящего черта. Черт этот вытащил меня из сугроба и все тер своими лапами мои уши.

Домой я возвратился с красными (как петушиные гребешки) ушами и, конечно, со слезами. Дед спал на полатах, встретила меня мать. Забыл сказать: черт не взял мои конфеты, он их рассовал по моим карманам, а малахай нахлобучил на горящие от растертого снега пельмешки (уши).

– Где ты был? – допытывалась мать и, ударившись в слезы, начала причитать: – Господи, за што ты меня наказал, за какие прегрешения?

Я уже знал, я уже осознавал, что мать живет в поставленном на кирпичную кладовую кержацком доме только ради меня, она не раз говорила, что я связал ее по рукам и по ногам, что ежели б не я, она бы и не охнула, ушла бы на все четыре стороны. Потому-то, наверное, я и чуждался своей родительницы, уходил от нее, не подозревая, что никто меня так не любил, как мать.

– Руки-то, руки-то оконечили у тебя, – говорила она, утирая концом платка крупные, как горошины, слезы, – в холодную воду суй.

Я совал (в который раз) свои оконечившие руки в цинковое (как будто прихваченное морозом) ведро.

За плотно прикрытой, обитой (в елочку) коротко напильными досочками, тяжелой дверью послышался топот заледеневших валенок.

– Кого нелегкая несет? – обернувшись к двери, проговорила мать.

Приподняла голову прикорнувшая на печи, чуткая ко всякому топоту бабушка.

Дверь жалобно всхлипнула,пустила в избу сперва белого медведя (бело клубящийся мороз), потом того самого медведя, которого я видел на улице, медведя в овечьей шкуре. Вошла в избу и баба-яга, в ее руках – печной заслон и мутовка.

Мать грустно – сквозь слезы – улыбнулась, она, наверное, сама не прочь взять в руки заслон. А если не заслон, так самоварную трубу, мутовку и – притопнуть... Не притопнула, батенька такого своеволья не потерпит.

Проснулась Марья Петровна, она спала на застланной лоскутным одеялом кровати. Увидев приведенного на медной цепи медведя, перекрестилась, осенила себя крестным знаменьем.

– Так что вы стоите? Пляшите, – пробаяла со своей печи бабушка, она вроде бы обрадовалась приходу неожиданных гостей.

Стукнулась – не рожками – искусно выточенным лобиком о проклятое железо печного заслона сосновая мутовка, притопнула приподнятая в белом валенке нога, нога, должно быть, костяная, но она так молодо притопнула, что куда там бабе-яге, никакая баба-яга не могла так притопнуть.

– Да это... Кто это? – слезая с печи, удивленно пропела и впрямь обрадованная бабушка.

Шел по улице мороз,  
Отморозил бабе нос,  
Баба плакала, рыдала,  
Нос свой снегом оттирала,  
Снег крупы-итчай,  
Снег рассы-ыпчай.  
Этот снег – как смех,  
Смех рассы-ыпчай,  
Смех крупы-итчай...

– Да это Нюрка, – отойдя от неожиданно нашедшего страха, проговорила вставшая с кровати Марья Петровна.

– Чья Нюрка?

– Наша.

– Наша Аннушка?

– Она как будто...

Ах она, она, она  
Засиделась у окна,  
Загороженного,  
Замороженного.

Аннушка, приподняв руку, стащила с головы темный старушечий платок, потом подошла к рукомойнику, смыла с лица печную сажу, и баба-яга преобразилась, явила такую басу-красу, что мать моя потупилась, вспомнила свою басу-красу, свою так рано загубленную молодость.

## VI

– Вставай, отец приехал, – будила меня, встав на печной приступок, моя родительница.

Я приподнял голову, отца не увидел, увидел выпорхнувшую из своего окошечка кукушку. Кукушка самозабвенно начала куковать. Кукукнула девять раз, было девять часов вечера. Вспомнил святошников, потрогал натертые снегом уши, уши немножко ломило, но – к великой моей радости – они были целыми. Вспомнил гривенник, где он, куда он делся, этот гривенник, я не мог понять. Опосля догадался: гривенник я засунул в рот... Так неужели по чьей-то злой воле он попал в мое брюхо? Не на шутку перетрусил: что теперь будет с моим брюхом? Хотел приободрить его рассованными по карманам конфетами, но конфет не обнаружил, дырявые карманы не могли их сохранить, рассеяли по снегу.

Глянул на кровать, подложив под ухо туго схваченную обшлагом рукава дородную руку, спала Марья Петровна. Я обрадовался. Я всегда радовался, когда кто-то подолгу гостил в нашем доме, в нашей избе, даже теленок и тот радовал, он тоже спал неподалеку от печного приступка.

В широко открывшейся двери с хомутом в руках появился брат Арсений. Хомут нахолодал, я сразу ощутил этот холод, он легко приподнимался к печи. Надел валенки, пиджак и спустился к полу, к его вытканым из разноцветных тряпок половикам.

– Тятя приехал? – обрадованно спросил я своего брата, но брат не отозвался, он приставил к кровати хомут и опять ушел на двор. Я тоже очутился на дворе.

В тусклом свете фонаря разглядел отца, его опоясанный сыромятным ремнем пиджак и обмотанные белыми – из домотканного сукна – онучами ноги. Учужал прихваченный морозом запах сосновой коры. Посредине двора стояли сани с ровно распиленными плахами – отец привез из-за Волги дрова.

Хотелось увидеть Гнедого, Гнедка, как все звали уже пожилого, много поработавшего мерина. Я знал, что Гнедок в конюшнике, а в конюшнике темно. Поэтому лучше подождать утра, когда в маленькое окошечко конюшника постучится если не снегирь, так озябший воробушек.

Отец глянул на меня, но сказать ничего не сказал, он только кивнул на головки саней. На головках висели вожжи, я понял: вожжи надо смотать и внести в избу.

Я рад был, что отец заметил меня, дал мне какое-то дело. Я любил отца, но эта любовь была безответной, поэтому я готов был сделать что угодно, лишь бы заслужить, нет, не похвалы, какого-то одобрительного взгляда. Быстро смотал я веревочные вожжи, закинул их за спину, внес в тепло освещенной семилинейной лампой избы, вслед за мной с седелкой и ременными поперечниками в руках вошел брат, вошел, скользя заледенелыми лаптями, и отец, он сел на лавку, стал разматывать веревки, что красиво охомутили белые онучи.

А на столе, приподнимая до блеска начищенную крышку, пыхтел самовар, при свете семилинейной лампы он все так же похвалялся своими медалями.

Отец молчит, он всегда молчит, редко обронит какое-то слово и то при крайней необходимости.

– А у нас Жданка отелилась, – чтоб как-то оживить безмолвно присевшего к самовару отца, пропела моя мать.

Отец глянул на огненно-рыжего, хорошо отпоенного бычка и вроде бы повеселел, вроде бы отошел от своих, никому неизвестных, потаенных дум.

Прошло много-много зим, от моего родителя осталось две-три фотографии, и то последних лет его жизни, и то любительские. Такие люди не думали об увековечении своего пребывания на земле. Только работа, только труд, труд не ради собственного благополучия – ради врожденной, вседневной потребности трудиться, работать. Я никогда не видел, чтоб мой отец мучился от безделья, он всегда, при любых обстоятельствах находил себе какое-то дело, даже в праздники что-то делал. Я упомянул о фотографиях, упомянул потому, что мне хочется запечатлеть, воссоздать образ вечного труженика, умельца.

Все еще пыхтел, приподнимал свою крышку поставленный на стол самовар. Бабушка крутила тронутый ядовитой зеленцой кран, наполняла ровно струящимся кипятком фарфоровые чашки с изображенными на них китайцами, потом бабушка приподнимала чайник, сдабривала кипяток круто заваренным чаем, боясь, как бы не перелить. Скупилась бабушка, чай для нее был единственной отрадой, он врачевал, грел озябшую душу.

– Гриша, тебе подлить?

– Не нады.

Отец не был избалован ни чаем, ни сахаром, как и многие деревенские мужики, мог довольствоваться одним кипятком, благо рядом стоит солоница, лежит краюха черствого ржаного хлеба. Кружка горячего кипятка из самовара и щепоть соли, вот и все то, что удовлетворит отца в родном доме. Я видел – отец очень похож на деда: крупные руки, видимо, они не случайно тянулись к железной кружке, чайная фарфоровая чашка, как яйцо, раскололась бы в таких руках. Не скажу, чтоб отец был красив лицом. Вспоминаю слова матери: «Шестнадцать лет мне было, брат Василий (тот, что упал в колодезь), крестный мой, и говорит: "Маряшка, мы ведь тебя просватали..." А я не собиралась замуж-то выходить. Я и не думала ни о каком муже. Не поверила. Думаю – шутит. Но я знала: брат не любит шутить, спросила: за кого вы меня просватали? Не сказал. Только больше посерьезнел, помрачнел. И тут-то я глаза свои в слезы утопила. Хныкать начала. Покойница мать со двора при-

шла, она корове сена давала. Я всеми своими слезами закричала: меня и вправду просватали? Мать молчит, ничего не бает. А опосля-то сама зачала плакать... Сколько прошло, дней десять прошло. Зимний мясоед был, третья неделя шла. На третьей-то неделе и сам жених заявился. Я как глянула и – обмерла. "Не пойду, ни за што не пойду. Бейте, убивайте, все равно не пойду!" – кричу, реву на весь свет, а меня никто и слушать-то не хочет. Волокуют в красный угол, под божницу. Крестный снимает икону, приказывает: "Целуй!" Целую икону. А раз поцеловала – молчи, не кричи. А он, жених-то мой, глядеть на меня не хочет. Глаза воротит. А глаза-то студены-студены, никакого тепла в них ко мне нету. Лоб морщит, брови хмурит. Нос, как топорище, выгнулся. А под носом – рыжие усы. Волосы под горшок пострижены».

Да, отец не был красив лицом, но он был красив руками, умением трудиться. Выпив не с сахаром, с солью кружку кипятка, взялся за поданный матерью клубок суровых ниток. Я сразу понял, для чего потребовались нитки – для дратвы. Весь вечер отец сучил, смолил варом эти нитки. Я тоже был занят своим делом: метал стога, сеном служили вытащенные из-под кровати льняные хлопки, телегу заменял старый-старый лапоть. Был деревянный конь – единственная купленная в балагане детских игрушек реликвия моего детства, она была украшением не обремененного всевозможными сервизами деревянного комода.

– Ты забыл, Гриша...

– Што я забыл?

– Лошадь напоить нады.

– Напою.

– Я сама напою.

Я редко слышал, чтоб так ласково разговаривала со своим суженым мать, а мне всегда хотелось, чтоб в нашем доме, в нашей избе был мир, чтоб отец и мать не ругались между собой. Я боялся, вдруг кто узнает о той нелюбви, о той неприязни, которые уж больно часто омрачали мое небо.

Лошадь напоил мой брат Арсений, братка, как я его звал, он слез с печи, схватил помойное ведро, перелил в него из другого, чистого ведра колодезную, подогретую жарко натопленным подтопком воду и – на двор. Тогда-то я бросил метать стога, я тоже хотел было выбежать на двор, но придержала мать, она сунула в мои руки зажженный фонарь.

– Посветишь.

– Кому?

– Домовому...

Домовому я, конечно, светить не собирался, но я знал, что домовые боятся света, только в темноте они доводят до умопомрачения коней. Кони бьются о стены конюшника колоколами своих копыт. Бывает, домовые заплетают в тонкие косички конские гривы.

Я думал, что с фонарем в руках заявлюсь без всякого сопровождения в конюшник, но сзади шла мать, она зорко наблюдала за мной: фонарь-то я мог опрокинуть, мог поджечь разостланную по двору солому. С огнем-то не шутят, огонь-то без ног, но он шибко-шибко бегают...

Благополучно донес я свой фонарь до конюшника, а братка – когда это он умудрился? – уже вылил подогретую воду в колоду. Гнедок сладко чмокал губами, мочил их, как в речной протоке, в выдолбленной из липы, подвешенной к бревенчатой стене колоде.

В конюшнике было тепло, тепло исходило от того же Гнедка, от его дыхания, но по стенам, по пазам белел осклизший иней, повсюду

виднелась обильная изморозь, и вроде не Гнедок – изморозь надышала поднявшийся под самый потолок пар. Пар этот походил на пар речной полыньи. Посреди зимы дышало лето.

– Арсенька, слазь на сушилы, – обратилась к своему пасынку моя мать, обратилась ласково, что тоже редко бывало. Мачеха есть мачеха.

– Сена скинуть? – сразу догадался мой неродной брат, он мигом по круто поставленной лестнице влетел на сушилы, разбудил спящих на насесте куриц. Послышалось их кудахтанье, а празднично разнаряженный огненный петух ни с того ни с сего запел, закукарекал.

– Што тебя взяло? – удивилась подошедшая к сброшенному сену моя родительница.

Петух сам не знал, что его взяло, поэтому замолчал, перестал кукарекать.

Ах, как обрадовался Гнедок, когда он учуял положенное в ту же колоду сено, наверное, вспомнил наши заливные поемы, вспомнил занесенное глубоким снегом красное лето.

Возвратились в избу, я с фонарем в руках, брат с ведром, а мать с охапкой соломы, надо подостлать бычку, чтоб ему слаще спалось.

Долгие-долгие зимние ночи, я не знаю, что со мною случилось, ежели б эти долгие ночи не скрадывались сказками деда, бабушки, а иногда и сказками матери.

Козлятушки, детятушки!  
 Отопритесь, отворитесь!  
 А я коза в бору была,  
 Ела траву шелковую,  
 Пила воду студеную.  
 Бежит молочко по вымечку,  
 Из вымечка в копытчко,  
 Из копытчка в сыру землю!

Причитала мать, причитала так, что я приподнимал голову, слышал тонкий голос козы, видел ее избушку, а в избушке – малых детушек, малых козлятушек. И вдруг:

Вы, детушки, вы, батюшки,  
 Отопритесь, отворитесь!  
 Ваша мать пришла,  
 Молочка принесла,  
 Полны копытца водицы!

Нет, это не коза, это не ее голос, это волк, это он надумал обмануть малых козлятушек. А малые козлятушки разгадали обман, ответили волку:

– Не матушкин голосок! Наша матушка поет тонким голоском.

И опять тоненький голосок, похожий на голос козы. Обманул волк, поел волк малых козлятушек...

От такой сказки хотелось плакать, но сказка не была бы сказкой, если б она так печально кончалась. Прелесть и великая мудрость всякой сказки в том, что добро всегда торжествует над злом, свет над тьмой.

Упаслись козлятушки, выпорхнули из брюха волка.

Обрадовался разостланной по полу, свежо золотеющей соломе неразумный бычок, он даже взбрыкнул, мотнул ушастой головой, а когда

учуял поднесенное, только что надоенной бабушкой Анисьей молоко, прижмурил свое большие, выпукло темнеющие глаза.

Мать моя притушила и так не больно светло горящую лампу, – надо экономить керосин. Отец молча лежал на кровати, на высоко взбугрившемся, набитом соломой тюфяке. Дед лежал на полатах, тяжело вздыхал. Марья Петровна стелилась возле подтопка. Когда едва заметный язычок света совсем пропал, я примостился к разостланному теткой Марьей, воняющему овечьей шерстью тулупу.

Не могу сказать, по какой причине я все время тянулся к ночующим в нашем доме, часто совсем незнакомым мне людям. Вот и тетка Марья, она не обращала на меня почти никакого внимания, но я взял да прилип к ее постели, к ее дыханию, а она, эта тетка Марья, положила свою руку на мою голову, стала гладить густо отросшие волосы.

– Отудобел...

– Кто отудобел?

– Ты.

Я долго не мог понять, о чем тетка Марья завела речь. Отудобить – значит, оправиться от какой-то болезни, от какой-то хвори, но ведь я не болел, не хворал...

– Хочешь, сказку расскажу.

Еще бы не хочу! Но я так много слышал сказок, что опасался повторения. Мне думалось: дед, бабушка да и мать уже пересказали все сказки.

– А о чем расскажешь?

– О горицвете.

Сказок о горицвете я не слышал. Да что это за сказка о горицвете?

– Зима лютовала, морозами страшными грохала, такими морозами, что птицы на лету гибли. Воробушек поднимется, затрепещет крылышками и, как шевячок, упадет на дорогу али присядет на застреху, глаза зажмурит, вроде бы в сон упадет. Глупенький, не знал, видно, не ведал, што в такую студи нельзя в сон уходить. Человек и тот может загубить себя, замерзнуть, а воробей-то и подавно. Сядет на яблоньку и с яблоньки, как яблоко, упадет. В сугробине, в мятюжине замогилит свои крылышки. На што сороки и те страшались, не показывали своего хвоста. Не страшилось только солнышко, оно показывало свой лик, правда, ненадолго. Выглянет, привстанет над сугробами, над мятюжинами и – наутек, за сараи, за овины уколесит. И тогда-то знаменье небесное тремя столбами возвысится. Мороз-то еще большей расхрабрится.

«Отец, ты слышишь меня?» – «Слышу, слышу». То жена мужу так говорит, так бает. «Ты в лес-то поедешь?» – «Поеду, поеду...» Не хотелось мужику ехать в лес, но ничего нельзя поделать, нады ехать. Покоя никакого нет, грызёт и грызёт глупая баба, поедом ест. Надумала она избавиться от падчерицы, выжить ее из дому.

Собрался пуджик в лес, запряг лошадей, сена наложил. А коли вожжи взял в руки, к дочери, к ее красе-басе обратился, сказал, чтоб в сани садилась. Села. А ведать – не ведает, куды конские кованые копыта застучат. Спросить бы, да не привыкла спрашивать. Молчать привыкла... Взвизгнул под полозьями в муку размолотый, расхрабренный морозом глубокий снег, будто стеклорез полоснул по стеклянной выбели.

«Куды ты меня везешь?» – не утерпела, спросила своо родителя напуганная огненными столпами, тихонькая красе-баса. Отмолчался, ничего не сказал родитель, только, оборотясь, блеснул заледенелой

слезой. Блеснуло чистой-чистой слезой небо. Оно еще не стемнело, не смеркло. Видно было, как стая волков выходила из лесу. Попередь шел самый старый волк. Он разинул пасть и зачал выть. Выл так страшно, что лошадь придержалась, потом ее прошибло. Дымом взялась, дымом вся окуталась. Мужик кнутом стал хлестать. Хлестал, хлестал, а все без толку – лошадь ни на шаг не сдвинулась. «Што будем делать, Зорянушка?» – стал пытаться свою дочь до смерти напуганный отец. Зоряна словом не обмолвилась, она сама не знала, что можно сделать, чем унять волчий вой, волчью сыть. Домой бы возвратиться, да нельзя, глупая со свету сживет. «Слезай, Зоряна, – говорит отец, – лес недалече, пешком дойдешь». Слезла с саней, глянула на отца, а отец мешок сухарей из-под сена вытащил. «Возьми», – говорит.

Взвалила Зоряна мешок за спину и подалась к лесу.

«Прости меня, доченька», – сказал на прощанье отец и опять блеснул, теперича двумя слезами, из обоих глаз выкатились. Жаль нахлынула. Что ни говори, своя кровь, своя ягода. Думал, не отзовется, а она отозвалась, обернулась. «Бог простит», – сказала, сказала так, что родительское сердце запало. Знало оно: не по своей воле, по воле мачехи посреде поля свою кровь, свою ягоду оставил... Месяц народился, как петушок своим клювом проклюнулся. Кукарекнуть бы, да не может, больно мал. А она, Зоряна-то, до лесной опушины дошла. По колено в мятужинах вязла, полны валенки снега набрала. Робко-робко светился месяц-то. И тогда-то голос послышался, стал вопрошать: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» – «Тепло, – отвечает девица, – тепло», – отвечает красная.

Мороз обрел голос-то, он вопрошал. Надумал усыпить Зоряну-Зоряницу, сном околдовать надумал, на глаза кухту да иней стал сыпать. Отяжелели глаза-то. Встать бы, да ноги одеревенели. Перемогла себя, через силу приподнялась. В глубь леса поволоклась, промеж берез двигалась. Молчали березы-то, не шумели, не стучались друг о дружку. И вроде бы дорогу уступали.

Долго ли, коротко ли, но добралась до глубокой овражины. В затишь зашла. Мешок с сухарями со спины скинула. Думать зачала: в затиши-то можно и переночевать.

«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» – теперича уже не мороз, теперича вроде бы сам лес вопрошает. «Тепло, – отвечает девица, – тепло», – отвечает красная.

А и вправду теплее сделалось. А еще сквозь лесную сумеречь избушка своим окошком засветилась. Сперва подалеку от овражины, от ее затиши.

Мысль пришла: постучусь-ка в это окошечко...

Как помыслилось, так и сделала: постучалась. Сперва потиху. На тихий стук никто не отозвался. Потом погромче, посмелее стукнула. И тогда-то стариковский голос послышался. –

«Заходи», – сказал старик.

Зашла. Огляделась. Ничего подозрительного не увидела.

«Хвораю я», – признался старик, а спросить не спросил, что за человек пожаловал в его избушку. А в избушке-то шаром покати. Пусто. Один котелок у печи стоял да две-три картошенки круглились.

«Затоплю-ка печку, – думает Зоряна, – што-нибудь сварю. Старик-то не емши, наверное, лежит».

Сходила за дровами. Затопила печь. Старик обрадовался, коли тепло услышал, коли под ним кирпич стал нагреваться.

«Отколи тебя Бог послал?» – не утерпел, полюбопытствовал одинокий обитатель лесной сторожки.

Ничего не сказала Зоряна. Не хотелось омрачать уж больно дружно запылавшие дрова. Николи не ведала, чтоб они так весело горели. Дома, у мачехи все чадят, все дымят...

Печь истопила, картошки наварила. Старика накормила. И – спать улеглась. Сквозь сон стук услышала. В дверь кто-то стучался. Заяц стучался, погреться просился. Впустила. Отогрелся заяц, повеселел, ноздрями слышнее задышал. Вроде бы капусту учуял, глаза в подпол косил. В подполье-то и вправду была капуста. Слазила в подполье, достала капусту. Накормила косоглазого. Поблагодарил косоглазый свою благодетельницу, а опосля на волю попросился. На воле-то неделю пропадал. Не знал, что в избушку лиса заглядывала, волк заходил. А как-то раз по павечери медведь пожаловал. Надоело в берлоге-то, на огонек потянуло. Жаловался Михайло Иваныч: уж больно студена зима-то, уж больно долго тянется. Лежал на одном боку, перевалился на другой бок. И на другом боку не лежится...

А больше всего зима-то докучала птицам. Сороки, галки, вороны – все они в лесу укрывались. В лесу прятались синицы, голод их донимал. Прилетит синичка-сестричка к лесной избушке и, как льдинка о льдинку, звякнет, голос свой подаст. Выйдет Зоряна-Зоряница с полными пригоршнями раскрошенных сухарей. Сухари-то сгодились: сама кормилась и синичек кормила.

Дзинь-дзинь – звенит синичка, сперва робко-робко звенит. Как будто боится, кабы не навлечь на себя какой беды. Только беды-то поблизости не было. Зима смягчилась, перестала морозами-то грохать. Тогда смелее льдинка о льдинку зачала звенеть. Осмелела синичка-сестричка, осмелел ее голос.

Дзинь-дзинь-дзинь! – звенит синичка, звенит так, что хозяин лесной избушки с печи слез, к окошку придвинулся. В окошко оставил свою бороду.

Ростопель-то в лесу чуялась, каплюжить зачало. Все деревья воспряли духом, ожили, слышнее задышали. Березы розовыми сделались. А там, где земля из-под снега показалась, горицвет вспыхнул.

Сказка неожиданно прервалась, тетка Марья посчитала, что я не слушаю её. А я слушал, поэтому попросил продолжить сказку, досказать.

– Завтра доскажу.

– Почему завтра?

На вопрос мой отозвалась кукушка, она высунулась из окошечка и начала куковать. Кукукнула двенадцать раз. Сказала: спать пора...

## VII

Наш полудомок не был утеплён, не был ухичен, он быстро остужался, даже натопленный на ночь подтопок не мог отдышаться (своим теплом) залубеневших от мороза, запележенных окон, особенно холодно было к утру, когда поднимался, слезал со своих полатей дед, когда он подходил к рукомойнику, брал его за глиняное рыльце, клонил к деревянной лохани, чтоб омыть свой лик колодезной водою, но вода заледенела, не лилась, дед тяжело вздыхал, неохотно отходил от рукомойника к столу, ненадолго присаживался, потом, привстав, начинал будить угретью печными кирпичами бабушку.

– Онисья, вставай! Хватит спать-то...

– Опять встал ни свет ни заря, опять не даёт никакого покоя, – жалобилась в захолонувшую темень бабушка Анисья, но жалоба обычно не воспринималась.

– Люди-то давно встали, – пытался урезонить Анисью Максимовну рано проснувшийся Пётр Матвейч, он несколько раз подходил к печи, всё впустую, с печи никто не слазил, только я отзывался на раннюю побудку, может, потому-то и возлюбил меня мой батя-батенька.

– Кто рано встаёт, тому бог подаёт, – часто повторял он всем известную поговорку, повторял не ради назидания, а просто так, из-за любви к подтверждённой самой жизнью, неоспоримой истине.

В моей памяти навсегда запечатлелось то раннее зимнее утро, которое умильно слезилось огоньком только что зажжённой лампадки. Огонёк этот оказался горицветом из недосказанной сказки, благо что я ничего не заспал, видел Зоряну-Зоряницу, видел такой, какой виделась неродная (по матери) сестра, которая была моей няней, которую я жалел, жалел потому, что я уже заметил всю неприязнь, всю несправедливость, какую может явить жизнь. Бабушка и Марья Петровна старались заронить в мою душу сострадание, оно, это сострадание, пожалуй, больше всего печалится в наших российских сказках...

– Озяб? – оборотясь к моим очнувшимся от больно сладкого сна глазам, проговорил обрадованный тихо слезящимся огоньком лампадки неугомонный старик, петух-полуночник, как в глаза и за глаза звала его бабушка Анисья Максимовна.

– Я сейчас за дровами сбегая, – так сказал я, когда услышал голос петуха-полуночника.

Сунул свои босые ноги в дырявые в пятках валенки и без шапки, в одной рубашонке очутился на дворе, возле поленницы крупно наколотых дров. Набрал целое беремья тяжелых берёзовых поленьев, благополучно возвратился к тому самому подтопку, возле которого я прокоротал успешную обутреть длинную зимнюю ночь.

Березовые поленья так слышно грохнулись об пол, что прикрытая ветхой одеялкой Марья Петровна подняла голову, не понимая, что за оказия приключилась, а когда поняла, опять с головой упряталась под одеялку.

Я засовал в подтопок только что принесенные дрова, открыл створку (заслонку), потом взял лучинку и с разрешения деда поднёс её к тихо горящей лампадке, лучинка, потрескивая, загорелась. А вскоре загорелись и засунутые в подтопок березовые поленья.

– Может, керосином плеснёшь?

Я удивился: лишнего керосина в нашем полудомке не было, дед сам попусту не жёг его, часто сидел при едва вывернутой тесьме, при тускло горящей, семилинейной лампушке, а тут – на тебе – не поскупился, наверно, посчитал, что принесённые мною поленья сразу не воспылают пламенной любовью к его старым косточкам, не растопят лёд в глиняном рукомоинике.

А они, эти поленья, воспылали сразу, сразу занялись, сухо потрескивая воняющей дёгтем берестой.

Вспоминая дни и ночи своего давнего-давнего малолетства, я не могу не удивляться той бедности, в какой пребывали близкие мне люди, ра-таи, оратаи русской земли. И – что удивительно! – произошла великая революция, которая в корне должна была изменить весь уклад давно окондовавшей жизни, но особенно памятных изменений не произош-

ло: те же запележенные окошки, те же промёрзлые пазы, те же набитые чёрными тараканами щели, тот же поющий от дружно горящих дров подтопок. И всё-таки я не буду наводить тень на плетень. Больше того, упомянутая мною бедность обогатила меня такими впечатлениями, какие я не мог бы получить в иной обстановке. Без худа не бывает добра, ежели под добром разуметь всю мою последующую жизнь, полную всевозможных превратностей.

А как он весело поёт, сложенный чьими-то добрыми руками подтопок! Чугунная с барельефно отлитыми конями дверца уже успела раскалиться. Я хочу открыть её, но – поди открой – не откроешь, не прикоснёшься, запряженные в колесницу кони скалят зубы, больно кусаются...

Встала, слезла с печи бабушка, она тут же ухватилась за рукомойник и – ополоснулась только что оттаявшей, ещё не потеплевшей водой. Ополоснулась, утёрлась концом своего платка, потом осенила себя крестным знаменем.

– Печь затапливай, – проговорил дед, проговорил так, что бабушка развела руками, недовольно огрызнулась:

– А я не знала, что надо печь затапливать, ждала, коли скажешь, коли прикажешь.

Замычал бычок, молока захотел, но молока не было. Бабушка взяла дойник и, накиннув на себя шубейку, выкатилась во двор, присела к бело раздутому вымени припорошенной инеем коровы. Я видел (я вслед за бабушкой выбежал на нижний мост), как корова, как наша Жданка скосила свои большие с яично выпуклыми белками глаза. Глаза эти – как два омота неизбывной печали. Не знаю когда, но я уже успел заметить какое-то предназначение во всяком коровьем взгляде. Омутовато-глубок, полуночно-тёмен был взгляд нашей Жданки, как будто в её глазах отразились все невзгоды несуразной жизни крестьянской Руси. Было в глазах нашей Жданки и то непорочное святое благолепие, которое так зримо запечатлено на иконах древнего письма. Глаза святых великомучениц похожи на коровьи глаза. Сама Богоматерь взирает на мир коровьими глазами, так мне казалось, так представлялось.

– Набери дровец, – сказала мне бабушка, когда она учуяла моё дыхание на присыпанном снежинками, оледенелом мосту. Но я всем существом прилип к недвижимо стоящей Жданке, любовался небольшими, красиво загнутыми рогами. Три кольца, три – хорошо ли, плохо ли? – прожитых года выпукло круглились на рогах. Я не забыл. Я помню, когда Жданка появилась на свет. Появилась на второй неделе Великого поста, а это значит: она могла рассчитывать на более полное ведёрко только что надоенного молока. И – что главное – не разбавленного тёплой водицей. Бог Саваоф установил Великий пост только для потомков Адама и Евы – как наказание за тягчайшие грехи. Может, потому-то я так рано стал завидовать всякой безгрешной твари, всякой непорочной душе.

Увитые тремя прожитыми годами недвижимо застыли над окаменевшими шевяками, а утыканные белыми от мороза ресницами, омутковые глаза сладко прижмурились. Жданка давно ждала подставленного под её отяжелённое молоком вымя оцинкованного дойника. А когда бабушка закрыла в своей пухлой горсти один из сосков, я видел, как в разжмурившихся глазах что-то радостно вспыхнуло, их тёмный омут что-то повернуло, приподняло, а потом повернуло к присевшей на корточки бабушке, к её старенькой шубейке. Корове, наверное, показалось, что к соскам её вымени прикоснулся тёплыми губами

бычок-белолобыш, а когда глаза коровы увидели пухлые пальцы моей бабушки, послышался еле уловимый вздох. Вздох этот выражал неизбывную печаль о куда-то исчезнувшем бычке-белолобыше и примирение с уготованной судьбой...

Долго, не меньше четверти часа, поначалу звонко, как дождь о железную крышу, стучалось о чисто вымытое дно дойника, голосисто пело Жданкино молоко. На какое-то время мне показалось, сыпался снег, сыпался из-под пальцев моей бабушки, может, потому-то я забыл об уложенной под избой поленнице, забыл о дровах, которые я должен набрать, принести к остывшей за ночь, угрюмо притихшей печи. Меня потянуло на улицу, за неплотно прикрытую сенную дверь.

Сыпался снежок. Моё воображение не обмануло меня: сыплющийся снежок – как молоко. Синеватая белизна снега – как белизна парного молока. И – что примечательно – свежесть снега и свежесть парного молока вызывали одинаковые ощущения, одинаковые восприятия. Предполагаю: это восприятие, по всей вероятности, навеяно синеватой белизной зимнего утра. Утро-то уже успело выбрезжиться, наверно, уже вошло солнце, но солнце не могло пробиться сквозь обильно падающий снег.

Закукарекал петух, не зря закукарекал: погода-то переменялась, смягчился мороз. Всегда так бывает, когда начинает порошить, мороз слабеет, перестает щипать уши.

Не знаю, окликала ли меня бабушка, может, и окликала, но я не слышал, я уже вытащил салазки, взобрался на бугор, катился с бугра...

Умиляюсь, не могу без умиления повествовать о той, теперь невозвратно далёкой, до слёз, до замирания сердца памятной поре моего раннего пребывания на белом свете, оно – это моё пребывание – по своей вопиющей бедности во многом походило на те картины, которые в красках и слове явили наши русские художники.

Вот моя деревня,  
Вот мой дом родной,  
Вот качусь я в санках  
По горе крутой.

Нет, не из букваря вошли в моё сознание эти удивительные по простоте строки, услышал я их из уст Ивана Васильевича Пермякова, услышал тогда, когда катился с припорошенного свежим снежком, заледенелого бугра, а бугор, он возвышался рядом со двором Ивана Васильевича, которого всё село звало стражником. Слово «стражник» страшило, но вышедший из приземистой, крытой железом избы, старый человек с белой-белой бородой не вызывал во мне никакого страха, а пропетые им стихотворные строки как-то прибодрили меня. Я приподнял руки, готов был взлететь к небу. Не взлетел. Не взлетел потому, что увидел свою родительницу, свою мать.

– Сейчас же домой! – вскричала моя родительница, вскричала так, что я вместе с салазками кинулся под гору, туда, где коряжисто стояли, возвышали себя три ветлы. Домой идти не хотелось, уж больно вольготно было на улице: сыпался снежок, мягко ложился на уши моего малахая, услаждал мои губы. Я сам ловил этот снежок своими услаждёнными губами.

Неохотно возвратился к ступенькам крыльца, возвратился потому, что боялся прогулять завтрак. Но так случилось: завтрак я уже прогулял.

У ревнителей древнего русского благочестия приём пищи осуществлялся в строго определённое время. Совершался семейно, никто не ел в усобицу. Завтрак, обед, ужин проходили под строгим надзором старшего в семье. Строго соблюдался порядок, ритуал: помой руки, потом подойди к столу, воззришь на образа, сотвори молитву, поблагодари всевышнего за дарованный им хлеб.

– Где ты пропадал? – спросила выглянувшая из чулана бабушка Ани-сья Максимовна, она знала, что я проголодался, знала и то, что согласно заведённому порядку, мне до самого обеда придётся сосать пальцы, быть с пустым брюхом.

Я ждал, что скажет дедушка. Дедушка ничего не сказал, он сидел у запележенного окна, примостясь к углу застланного браной холстиной обеденного стола. Другого стола в нашей избе не было. Дедушка листал божественную книгу, он был в шубнике, седины его редкой бороды тускло индevelи на овчине заношенного охабня.

– Прогулял завтрак-то! – нет, это не дедушка, это отец проговорил, проговорил, не поднимая головы, не отрываясь от остро наточенной и умело разведённой пилы.

Я радовался, я редко замечал, чтоб отец обратил на меня какое-то внимание. А как я хотел, чтобы мой родитель что-то сказал мне! Я готов был что угодно сделать, подать брусок, подпилоч, рубанок, фуганок...

Отец – я заметил – был обут в те лапти, в которых он приехал из-за Волги, из неведомой мне Пенякши. Неужели он опять на целую неделю, а может быть, и две недели покинет свой родной дом?

Бабушка поставила на стол светящийся медалями самовар.

– Наливай, Гриша...

А Гриша приподнялся с продольной скамьи, широко шагнул к печи, бережно – как большую рыбину – опустил на печной приступок пилу. Послышался умиротворяющий звон, по которому можно было судить, что пила осталась довольной, зубы её остро блестели...

К самовару никто не подсел, даже дед недовольно покосился на его медали и ничего не сказал, уткнулся в книгу.

– Поехали! – не входя в избу, прокричал в приоткрытую дверь мой старший брат Арсений.

Я недоумённо встал, не зная, что остро наточенная пила скалила свои зубы на те берёзы, которые я заприметил в пору поспевания ягод, когда вместе с матерью ломал развесистые, с липкими пахучими листьями ветви на банные веники.

## VIII

Я сижу в головках саней на охалке присыпанного лениво падающим снежком духмяного сена. Я вижу мать, отца, брата Арсения не вижу, брат стоит за моей спиной, держит в руках пеньковые, свитые отцовскими руками, туго натянутые вожжи. Гнедок ускоряет шаг, он заметно прибодрился, рад, что трусит по хорошо знакомой, укатанной дороге. Дорога не переметена, не перехвачена снежными застругами, она ровно скользит по заматюженному полю, утыканному приметными вёшками. На одной из вешёк я увидел сороку. Сорока не удивила меня, вот волка бы увидеть...

– Не озяб? – Я вздрогнул, я не думал, что мать моя о чём-то может спросить меня, обернётся ко мне и обласкает налипшими на глаза снежинками.

Довольно рано, пожалуй, годам к четырём, я стал замечать красоту человеческого лица, но – почему? не знаю почему – не мог заметить той красоты, которую являло – да так зримо – лицо моей родительницы. Оно обернулось ко мне, это лицо, разогретое лёгким морозцем. Обрамлённое серым шерстяным платком, оно долго-долго ласкало меня влажными от тающих снежинок глазами.

Я часто видел на материнских глазах слёзы, чаще всего слёзы горчайшей обиды. Но вот совсем неожиданно вижу иные слёзы, слёзы умиления. Мать умильно смотрит, и не только на меня, смотрит она и на сороку, что сидит на убелённой падающими снежинками, косо воткнутой вёшке, смотрит и на волнисто замятюженное поле.

– Не озяб? – ещё раз попытала мою душу умиленно смотрящая душа.

Нет, я не озяб. Может, потому и не посчитал нужным что-то сказать, как-то отозваться на озабоченно пропетые слова.

Проехали мимо старого-старого вяза. Вяз раскинулся неподалёку от нашего загона. Я хорошо запомнил этот загон, на его борозде, на его тёплой ладони во дни изнурительной страды, которая именовалась жнитвом, спознался я с солью обильно пролитого пота. Соль эта белоиндевела на отцовской рубаше, индевела она и на материнской, усыпанной белым горошком кофточке.

– Не знаешь ты, какие я муки приняла с тобой, – назидательно говорила мать, когда взрослея, я проявлял какое-то своеволие, – бывало, заверну тебя в холстину и – в поле. В одной руке серп держу, другой тебя несущу. Ладно ежели загон близко, а ежели далеко, где-нибудь за Берёзовым врагом\*, тогда не больно сладко. Одна дорога все силушки вымотает. А отец-то, ты знаешь, как он ходит. Бегом беги и – не догонишь. А отстать-то стыдоба заест, я ведь молодая была. «Гриша, сбавь шаг-от!» – кричу. Не сбавляет. Как на пожар несётся. Уж больно жадный он, отец-ат твой, до работы. Я ни разу не слыхала от него тех слов, что многие люди говорят, дескать, работа не волк, в лес не убежит...

Мать прервалась, я понимал, как ей тяжело вспоминать те дни, которые выматывали последние силы. На жнитве, на молотье и на иной тяжелой работе.

– Дотащусь до загона, сброшу тебя с руки-то и – к постати\*\*. Поставь-то шагов пять шириной-то. Примерно третья часть загона. Пробую свой серп – слава богу – гоже берёт. Берёт-то гоже, да сердце-то не на месте. К твоей холстине всё оборачивается, разрывается на части, за тебя боязно и серп-ат не бросишь, с постати-то не уйдёшь, тянуться нады. Отец-ат твой, он как зверь, всё поле мог сграбастать в свою пятерню. «Гриша, передохни!» Куды там, до передыха ли. Горсть за горстью кладёт. Далекое ушёл от меня. А ведь поставь-то в два раза шире моей. Зверь, чистый зверь!.. Оступаюсь, на ногах не могу устоять, в поту вся. Глаза потом залило. Гляжу и – ничего не вижу. О тебе забеспокоилась, к холстине твоей бегу. А ты уткнулся в землю и – ни гу-гу. Думаю: задохнулся. «Господи, прости мою душеньку, виновата, не углядела», – взмолилась, подняла залитые потом глаза к небу. Неба не увидела, увидела солнышко. Оно во всё небо расплылось. Беру тебя на руки, беру ровно рисаное зернышко. Слышу: сердце в тебе колотится. Значит, смилостивился Господь, отвёл беду

\* Берёзовый враг – лес, заросший берёзами овраг.

\*\* Поставь – часть загона, которую, сжиная, гонит жнец.

от моей душеньки. Вынимаю грудь, даю тебе, а ты отворачиваешься. Молоко-то с потом перемешалось...

Я долго держу в своих глазах красиво развесившийся, опушённый снежинками вяз. Под его сенью – когда? я не помню, когда – моя родительница поднимала меня на ноги своим молоком. А может, своим потом? Может быть. На какое-то время я смежаю глаза, и мне кажется, выскальзывающее из-под полозьев саней поле убелено не снегом – оно убелено солью отцовского и материнского пота.

Зимой не так уж часто можно ощутить солнце. Восходя, оно не поднимается выше дерева, выше того же вяза, прячет себя за дворами, за сугробами, не желает, не хочет «мозолить» чьи-то досужие глаза. Пожалуй, только с середины зимы начинает казаться свой лик. Солнце – на лето, зима – на мороз. Так говорят об этой поре. Но бывает так, когда мороз утихает, а солнце, возвышаясь, ещё не может отдышаться заледе- нелой полыни. Сквозь лениво падающий снежок оно печально взирает на замаяженную землю. Не знаю, то ли печаль повернувшего на лето солнца, то ли близость околдованного зимней спячкой, сказочного леса оживила меня. Мне хотелось прыгнуть с саней и без дороги, по глубокому мятюгу приблизиться к вышедшим из глубокого оврага, уж больно любопытным ко всему, что происходит на белом свете, по-девичьи стройным берёзам.

А дорога пошла под уклон, вот-вот она развалит на две половины берёзовую чашу, скатится в глубь оврага, туда, где не замерзает примеченный мной невеликий ручей.

– Лиса! Смотрите, лиса! – это брат Арсений, это он первым увидел вышедшую из лесу кумушку.

Я вскочил на ноги и, держась за головки саней, припал широко раскрытыми глазами к тому полю, что именовалось Репищами\*, но лисы не мог приметить, только поле, только одно оно покато стелилось, слепило блистающей на солнце, ровно разостланной белизной.

– Мышей вынюхивает, – без удивления, как-то обыденно проговорил отец.

– Кто вынюхивает?

– Рыжий кот.

Я прикусил язык. Стало горько-горько. Горько потому, что я опростоволосился, услышал из уст обожаемого мной отца язвительно прозвучавшие слова. В горле что-то застряло, стало душить меня.

– И не бойся, – пробаяла устремлённая в выскользнувшие из-под саней всё те же Репищи недвижимо сидящая мать. И она увидела смело мышкующую лису.

Думаю, не так уж много прошло времени, когда и я узрел хитрющую зверюгу, но мне казалось, что я долго-долго пребывал в ослепляющей белой-белой темени...

Огненно-рыжая, с пышно волочащимся по свежему снегу хвостом, мышкующая лиса вкрадчиво подобралась к едва приметному бугорку. Чувала лиса, что увиденный ею бугорок таит пусть скудную, но по зиме, по её бескормице, давно желанную пищу.

Дорога спустилась в овраг, к тому невеликому ручью, что был мною примечен по пролетью, когда я вместе с отцом ходил осматривать нашу

---

\* Репищи – трудно уяснить этимологию этого слова, его происхождение. Возможно, есть какое-то родство со словом репей, со словом репица – это в лапшу изрезанная кожа на кнуте пастуха.

делянку\*. Я видел, как отец подходил к только что облистившимся берёзам, вырубал на них свою метку. А я стоял запрокинув голову, глядел на сорочью пестрядь берёзовых стволов. Стволы эти – как серебряно льющийся дождь. Да, да, берёзы, они – как дождь, они – как серебряный ливень. Детское восприятие, оно не может быть без уподобления, без образного видения. А когда я встал с охапки сена, когда очутился возле продушавшего своё окошечко, не прихваченного морозом ручья, те же самые берёзы показались мне ровно падающим снегом.

– Есть-то хочешь? – подойдя к облюбованной мною, поющей шелушащейся корою берёзе, спросила меня моя родительница.

Есть я хотел, я ведь не завтракал, но я не мог есть в усобицу, потому отказался от вынутой из-за пазухи пресной лепёхи.

Подрастая, я очень много доставлял горя моей родительнице, и это было нестерпимо больно. Но ничто не могло погасить великое полымя материнской любви. Часто, очень часто любовь эта не воспринималась мной, я хотел, чтоб моя родительница так же любила, как и меня, своего пасынка, свою падчерицу. Не могу сказать, может, дед, а может быть, бабушка пробудила во мне это бескорыстное чувство. Впрочем, нет, оно родилось со мной. Пробудить можно какую-то страсть, но нельзя пробудить какое-то чувство.

Вынутая из-за пазухи лепёха была бы съедена, если б кто-то разломил её на две равные части.

Милая моя, моя незабвенная страдальца, мать моя, через много-много лет, на закате полной разными превратностями жизни, я вспоминаю и запечатляю в сущности-то ничем не примечательные события. Да и не события, скорее всего быстротекущее время, его половодье. Запечатляю не ради удовлетворения какого-то тщеславия, не ради поучения или назидания. Иные помыслы владеют мной. Возможно, в меру сил мне посчастливилось воссоздать некую картину бытия. Пусть эта картина не будет выставлена для всеобщего обозрения, она живописуется не для вернисажа, хорошо, ежели попадёт в какой-то запасник, в какую-то кладовую. Кладовая человеческой памяти да сохранит мой холст, моё полотно...

Я долго стоял в снегу берёз, мраморно-белый, поющий своей берестой, девственно-чистый снег завораживал меня. Я забыл о смирно стоящем, накрытом старым чапаном Гнедке, забыл о матери, об отце, о брате Арсении. По всей вероятности, я так бы и пребывал в белоснежном сне, если б не жидко пролившийся треск.

– Клёстиха! – услышал я голос своего брата.

Открыл прикрытые снежинками глаза, увидел жидко пролившую свой треск, чем-то встревоженную птицу.

Птицы в зимнем лесу, они как вестники не убитой морозом, вечно торжествующей жизни. Не так много этих не избалованных заморским теплом птах: снегири, поползни, клёсты, синицы... И, конечно, совы, филины, глухари. Не упоминаю воробьёв, в отдалённом лесу их почти не бывает, не бывает сорок, ворон, воронов, галок. Все они предпочитают держаться поближе к жилью.

Не упомянул, забыл дятла. А я услышал его, нет, не над головой, в стороне, там, где коряжился старый, с усохшей макушиной дуб, услышал дробный – с перерывами – стук. Стук походил на дробь, которую

---

\* В двадцатые годы так же, как и поле, отведённый на порубку лес делился между сельскими жителями. У каждого крестьянина в поле был свой загон, в лесу – своя делянка.

рассыпал по деревянной, похожей на стул солонице мой дед, когда сидел за стол, а в солонице не было соли.

Я оборотился к дубу, поднял глаза, увидел, как по охлипшему, утончённому к макушке стволу стучал дятел, он свесил длинный сизо переливающийся хвост. Хорошо были видны под красными надбровьями круглые, в жёлтых обводах, глаза. Нельзя было не заметить воронёное долото клюва.

Я загляделся, даже не заметил, как неподалёку, накреньясь к овражине, к тому окошечку, что отдышал незамёрзший ручей, тяжело валилась ровная, без единого сучочка, береза. И только тогда, когда она окунула свою макушину в глубокую сугробину, я оторвался от дятла, увидел макушину берёзы и стоящего у обмятого, свежо круглящегося пенька отца. В его руках воронела опущенная одним концом к шерстяным, перевитым мочальными верёвками онучам остро блеснувшая своими зубами пила. Увидел я и смотрящую на поваленную берёзу мать. Я не мог не заметить выражения отцовского лица, оно победно торжествовало. Не торжествовало, скорбно-скорбно кручинилось лицо матери. Короток зимний день, короток он и тогда, когда начинает прибывать. Мать почему-то пугалась приближающейся сумеречи, она говорила отцу:

– Да мы что, ночевать здесь будем...

Отец молчал, но видно было, что он сердится потому, что моя родительница не могла без передышки тыкать пилу, не могла приноравливаться, а отцу хотелось, чтоб всякий рез был без зажима, без сучка, без задоринки.

– Арсенька! Иди сюды, – Арсенька бросал топор, подбегал к комлю ещё не поваленного дерева, выхватывал из рук матери ручку пилы. А мать начинала злиться.

– Что я, пилить не умею, – обиженно говорила она.

До темна, до сумеречи, шершаво шамкая, кромсала белые тела берёз остро наточенная и умело разведённая пила.

– Месяц взошёл, – не знаю кому, скорее всего, угрюмо притихшему лесу сказал я, глядя на небо, на его сумеречь.

– Гришенька, поедем домой. Завтра ведь праздник. Новый год.

Отец не внемлет ласково сказанным материнским словам, но он топчется, он хватает ровно распиленные плахи, складывает их меж двух заматерелых берёз.

– Ты всё ворон ловишь, – походя, не глядя на меня, говорит отец.

А я – я не ловлю ворон, я всё ещё смотрю на месяц, он – когда он народился? – на переставшем сыпать свои снежинки, чистом-чистом небе.

Неохотно выпускаю из широко открытых глаз светлое шильце месяца, хватаюсь за плаху, стараюсь приподнять, но не приподниму.

– Ты что делаешь? – набрасывается на меня не на шутку напуганная моим усердием мать. – Ты же надорвёшься!

Может, от материнской жалости, а может, от обиды я ощутил на щеке прикосновение, нет, не месяца – неожиданно набежавшей слезы.

Из лесу никто не уезжает с пустыми санями, четыре толстых-толстых комля отец без чьей-либо помощи уложил на вязки освобождённых от сена (сено дожёвывал Гнедок) розвальней. Поверх комлей была положена тонкая, с загибом на конце, плашка.

Брат Арсений ловко продел в кольцо дуги и подвязал повод, ловко подвязал поперечники, нижний и верхний, а отец взял в руки вожжи. Он предложил мне сесть на воз. Я не сел. Я, обогнав тронувшегося

Гнедка, побежал в гору на опушину околдованного ранним сном леса. Думается, я быстро достиг бы опушины, быстро взобрался в гору, но неподалёку в темени широко раскинувшейся, одиноко стоящей сосны раздался устрашающий хохот. И не хохот, какое-то хохочущее рыдание, хохочущий плач. Я опрометчиво бросился назад и чуть не попал под копыта Гнедка.

– Ты что?! – всполохась, спросила мать.

– Совы напугался, – проговорил отец.

Слова отца меня немного успокоили, в какой-то мере уняли мой страх. И всё-таки я не думал, что сова может плакать таким ужасающим хохотом. Можно было предположить: хохотал леший.

Я довольно долго все сказки, все рассказы о домовых и леших воспринимал как неопровержимую правду.

Ждал: может, снова раздастся рыдающий хохот. Не раздался.

## IX

– Полезай скорее на печь. Отогревайся, – пропела, всплеснув руками, Анисья Максимовна, моя бабушка, пропела так, что я послушался и залез на печь.

Морозно взвизгнула обитая – в ёлочку – выцветшими дощечками тяжёлая дверь. Вошла мать, она сразу стала поводить своими карирами глазами, хотела углядеть меня, а я укрылся мочальной дерюжкой и – молчок.

– Он не приходил? – спросила не на шутку обеспокоенная мать у сидящей на донце гребня бабушки, а бабушка ничего не сказала, она продолжала одной рукой тянуть вздетую на гребень кудель, другой крутила весело поющее веретено.

Не утерпел, выглянул из-под дерюги. Мать увидела меня, обрадованно проговорила:

– А я думала, ты в лесу остался...

А я и впрямь всё ещё в лесу оставался, стоял посреди берёз, глядел на вечернее небо, видел острое шильце месяца, слышал, как шумно шамкая, шушукала остро наточенная пила, слышал плашмя, со стоном падающую, безжалостно загубленную красоту берёз, незабвенных лебёдушек лесных полянок, лесных лядинок.

Хочется воздать хвалу нашей русской печи, хорошо зная, что в век автоматизации, в век интенсивного освоения космоса наша русская печь – как остов извлечённого из вечной мерзлоты мамонта. Но ещё живут люди, которые благодарно вспоминают некогда стоящую, нет, не посреди избы – чаще всего у продольной стены хранительницу всевозможных тайн многовекового русского быта. Летописцы этого быта, мастера словесного искусства запечатлели немало имён удивительных умельцев, искусников. Талантлив русский человек, он мог подковать блоху, мог сложить такую печь, которая не только грела тело, но и отогревала душу, исцеляла её от всякой лихомани. А какие хлебы, какие караваи выпекала под своим кирпичным небом на своём кирпичном поду!

Печь нам мать родная. Добрая речь, что в избе печь. Хлебом не корми, только с печи не гони. Лежи на печи да ешь калачи. На печи всегда красное лето. Полна печь перепечей, а посреди – каравай. Можно без конца приводить пословицы и поговорки, в них-то и отразилось уважительное отношение русского человека к белой лебёдушке.

Лежанка ждет кота, пузан-горшок хозяйку, –  
Объявятся они, как в солнечную старь,  
Мурлыке будет блин, а печку-многознайку  
Насытят щаный пар и гречневая гарь.

Печка-многознайка – а и впрямь все бабьи помыслы, все бабьи печали ведомы русской печи. Ведомы ей и все сказки моего деда, моей бабушки.

У печи есть чело, есть плечи... Есть у печи душа, она отдышала, отогрела мои косточки...

Острое шильце месяца больно укололо моё сердчишко, а поваленные берёзы мстили за жестоко загубленную жизнь. Прежде чем сгореть, превратиться в пепел в затопленном матерью подтопке, они стали застилать мои глаза поднимающимся к самому потолку едким дымом.

Услышал, как за дверью, на мосту заскользили чьи-то ноги, а протянутые к железной скобе руки прилагали немалое усилие, чтобы открыть дверь. А когда дверь открылась, я увидел своих сверстников, своих ровесников.

– Колядки петь пойдёшь? – спросили меня мои товарищи, мои закадычные дружки-приятели.

Неужто не пойду! Пойду непременно.

– Мы будем ждать тебя у Сабурина двора.

Считаю нужным сообщить имена и фамилии моих дружков-приятелей: Евгений Филинов, Александр Туманин, Владимир Сабурин, Александр Сабурин.

Все они жили неподалёку от нашего полудомка, все они были мирские (никониане), а я кулугур, приверженец старой веры. Так дразнили меня мои дружки-приятели, когда я расходился с ними, враждовал.

Не умолчу, скажу, какая нестерпимая обида овладевала мной, когда я слышал хором пропетые, зарифмованные слова. Я кидался – один! – на целую гурьбу повздоривших со мной, милых моих дружков-приятелей. Меня боялись, боялись потому, что я обладал немалой для своих лет силой, был ловок. А ещё у меня был старший брат, он всегда мог встать за меня.

– Ты куда? – услышал я, приподнявшийся на ступеньки крыльца, громко прозвучавший голос.

– Петь колядки.

– Обожди.

Я остановился, ожидая, что ещё скажет охомутавший себя вожжами да поперечниками брат Арсений, но он ничего не сказал. Только после, когда освободился от вожжей и поперечников, дружелюбно проговорил:

– Пойдём вместе.

Я забыл о своих дружках-приятелях, радостно предпочёл им брата, братку.

– Б'атка!

– Б'атка!

– Б'атка!

Это мои дружки-приятели, это они кричат, нарочно картавя, дразня меня тяжело переживаемой мной, прилипшей к моему языку картавостью.

Я готов был рвануться к своим обидчикам, исколотить их, но не рванулся, придержал братка, сказав:

- Опося.
- Когда опосля?
- Когда отколядуем.

А под светло горящими окнами заваленных сугробом изб уже раздавались те колядки, которые знал всякий сельский житель.

Пришла коляда  
 Накануне Рождества,  
 Дайте коровку,  
 Масляну головку!  
 А дай Бог тому,  
 Кто в этом дому!  
 Ему рожь густа,  
 Ужиниста!  
 Ему с колосу осьмина,  
 Из зерна ему коврига,  
 Из полужерна – пирог!  
 Наделил бы вас Господь  
 И житьём, и бытьём,  
 И богатством.  
 И создай вам, Господи,  
 Ещё лучше того!

Братка приостановился. Я тоже приостановился, я тоже перестал шмыгать своими подшитыми валенками. В взбодрённом невеликом морозцем, разреженном воздухе отчётливо слышалось каждое поначалу скороговоркой, без задора, бесстрастно, на свой лад пропетое слово, а потом, одушевляясь, возвращаясь, слова эти обретали магию заклинания. Под конец они переходили в выкрик, отдавались где-то на задворках, кем-то подхватывались.

Восхитительно, непостижимо, дивно волховало – да! да! – волховало не омрачённое ни единым облачком, усыпанное алмазно светящимися звёздами, зеркально чистое небо. Современная астрономия гордится своими познаниями, выдающимися открытиями в небесной сфере, но задолго до изобретения телескопа человек, пусть неосознанно, пусть стихийно чувствовал тайну мироздания. Возможно, небо поставило человека на круги своя, дабы зрил он дивное творение Бога Саваофа, Вседержителя мира сего, его создателя. Боюсь, нет, не упрёка в непонимании материалистического учения, боюсь о материализоваться, безвозвратно удалиться от самого себя. Кто знает, кто скажет, в чём истина, в чём мудрость жизни? Зрение ребёнка острее, живее зрения уходящего на покой старца, восходящее солнце несравненно животворней заходящего. И совсем не случайно при помощи магии слова я приближаю закатную зарю к рассветной, тороплю старый год к новому году.

Сею, вею, поспеваю,  
 С Новым годом поздравляю!  
 Уродися жито, пшеница  
 И всякая чечевица,  
 Лён-долгунец,  
 Лён-молодец  
 С чёсаной головушкой,  
 С длинной бородушкой...

Не скажу точно когда, накануне какого Нового года, запали в мою голову крикливо пропетые, выплеснутые в холоде звёздного вечера складно подобранные слова. Порой мне кажется, что многие сказки, песни родились вместе со мной. По крайней мере, они сами, без какого-либо усилия с моей стороны вошли в меня, вошли так, как входит свет в избу. Тут нет ничего такого, что могло бы обогатить меня, все мы без какого-либо усилия, в самую раннюю пору запоминаем слова родного языка. И вряд ли кто может сказать, когда запало в память то или иное слово.

Кто не подаст ватрушки –  
Разобьём в бане кадушки,  
Кто не подаст пирога –  
Уведём корову за рога,  
Кто не подаст колобашки –  
Оставим без рубашки!

– Какие вы бойкие! – сказал, выходя из сеней, тот самый Иван Васильевич, которого звали стражником, он одарил: меня – пятаком, Арсения – гривенником.

Ещё светлей рассиялись крупные-крупные звёзды, они радостно рукоплескали. Запрокинув голову, я озираю обрадованные приближающимся новым годом небесные светила. Озирая, думал, нет, не о тайне мироздания, – о бережно опущенном в карман ветхого пиджачишка увесистом пятаке. И – как небо, как звёзды радостно ликовали.

– Бежим в слободу! – предложил крутнувшийся на одной ноге брат Арсений.

Укатанная санями, проложенная посреди длинно протянувшейся улицы дорога подхватила нас и понесла на своём горбу, к светящемуся двумя крайними окнами училищу.

– Гляди, какая-то лампа-то...

– На цепях.

– А стекло-то какое...

– Как бычий пузырь.

– А горелка-то?

– Как кубышка.

Брат приостановился, он ещё что-то хотел показать мне в светящемся окне.

– Владимир Георгич сидит.

Владимир Георгич Радугин, первый по времени учитель в Красном Осёлке, глубоко уважаемый всеми сельчанами человек, он сидел за столом, склоняясь над раскрытой книгой.

Не могу сказать, видел ли я раньше Владимира Георгича, возможно, видел, но – так уж случилось – облик старого учителя запечатлелся в моей памяти на исходе старого (по старому календарю) года. Седые, поредевшие (как у моего батеньки) волосы. Они гладко причёсаны. Недлинная – лопаткой – борода. И поясок. Поясок такой же, какой носят многие старики, когда они, стуча подождками, идут в церковь.

Ах, как мне хотелось вобрать в свои глаза всё, что окружало сидящего за открытой книгой недоступного для моего мальчишечьего созерцания человека! Но – даже тогда, даже в самые ранние годы открытия мира – я знал, что заглядывать, пялить глаза (как говорила моя мать) в чужие окна неприлично, грех.

В слободе, на Крутуше, в справном, под железной крышей дому жил Фёдор Петрович, старший сын Петра Матвейча, моего деда.

Я уже обмолвился, сказал, что Фёдор Петрович был умственным человеком, грамотеем, сумел, как говорят, выйти в люди, был в своё время в поле зрения крупных лесопромышленников Нижнего Новгорода. Лесопромышленники присматривались к башковитым выходцам из среды малоземельного приволжского крестьянства. А ежели эти выходцы ещё придерживались старой веры, тут тебе все карты в руки.

Быстро, одним мигом мы очутились под высокими, украшенными резными наличниками окнами а и впрямь справного дома. Кирпичная – с железной дверью – кладовая. На кладовой срубленная из ровных еловых брёвен стопа. Теремок на крыше. И крыльцо высокое, резное.

Уж и ходим мы,  
Уж и бродим мы  
По проулочкам,  
По заулочкам.  
Уж и ждём мы,  
Уж и ищем мы  
Иванов двор.  
У Ивана на дворе  
Разливалось море,  
Море синее,  
Полусинее.  
Как по этому по морю  
Вырастала трава,  
Вырастала трава,  
Трава шёлковая...

– Заходите в избу! – послышался хорошо знакомый, приветливый голос, голос сестрицы Аннушки, той самой Аннушки, что так лихо пела в нашей избе, в нашем полудомке.

Брат ринулся к крылечной створчатой двери, ухватил за бронзовую – с завитушками – скобу. Дверь не открывалась. По ступенькам крыльца торопко заколотились валенки. Остановясь у двери, они скрипнули половицей. Скрип приглушил не прихваченный морозом, приветливый возглас:

– Милости просим!

Милая, не по летам рослая Аннушка, она открыла дверь,пустила нас в сени, провела в избу. Но ни брат, ни я дальше порога не могли ступить, смиренно стояли со снятыми с головы, зажатыми в руках шапками. И, размашисто крестясь, низко кланялись озарённым весело горящей лампадой иконам.

Рождённый в доме, в котором, кроме печи, полатей да ещё самодельного комода, ничего не было, я сразу же удивился обилию всевозможной утвари: табуретки, стулья, посуда в застеклённом шкафу, иконы в застеклённой божнице, всё это не могло не удивить. А ежели сравнить ну хотя бы наши чайные чашки, наши чайные блюдца с чайными чашками, с чайными блюдами, что красовались за стеклом покрытого блестящим лаком вместительного шкафа, тут такая разница, что и вообразить немислимо. Небо и земля.

– Да вы что стоите? Проходите, – встав из-за стола, ласково пропела дородная, не утратившая былой привлекательности Матрёна Степановна, что так умело правила вечерни, заутрени в укывшейся на задворках моленной.

Я глянул на свои истоптанные – готовые расползтись – валенки. Снег на них уже успел растаять, но они не могли сойти с порога, лоснящийся ослепительным блеском пол пугал.

– Мы колядуем, – поспешил сообщить причину нашего появления в освещенном десятилинейной лампой, поставленном на кирпичную кладовую доме.

– А я сейчас гадать пойду, – рдея румянцем матово-белых, со смеющимися ямочками щёк, проговорила вставшая возле печного приступка Аннушка.

– Бесов пойдёшь радовать, – не замедлила отозваться Матрёна Степановна, она выносила из чулана колесо румяно запёкшейся ватрушки. Ватрушка предназначалась для моего прилипшего к спине брюха. Что касается брата, он тоже не был обделён, получил из рук Матрёны Степановны другую ватрушку, правда, не такую румяную, но всё равно испечённую на одной сковороде.

– Бог спасёт, – кажется, я первый произнёс эти слова, которые не могли не умилить глубоко верующую хозяйку гостеприимного дома.

– Ах, какой умница! Какой молодец! – всплеснувши пухлыми, как нитками перетянутыми в заплетях руками, сразу оживилась умилённая Матрёна Степановна, она на какое-то время умолкла, и только глаза, большие, как у Богоматери, любовно ласкали мою душу.

– Раздевайтесь. И – за стол, – мне показалось, что я ослышался, но брат мой, не мешкая, сбросил с себя сшитый из домотканого сукна пиджачишко, первым приблизился к столу и, перекрестясь, сел на стул с красиво выгнутой спинкой.

Я замешкался, довольно долго не мог стащить со своих плеч тоже из домотканого сукна на вырост сшитый пиджачок, а когда стянул, пальцы мои потянулись к незастёгнутой пуговице на вороте заношенной ситцевой рубахи. Пуговицу не застегнул, пальцы ещё не отошли от холода, деревянно коченели. Увидел рукомойник, потянулся к рукомойнику, совершил омовение рук, вода в рукомойнике была тёплой, пальцы мои ожили, отошли, на правой руке они сложились в двуперстие, дабы осенить последние часы уходящего года крестным знамением.

Я не поднимал глаз, не смотрел на скорбные лики великомучеников, освещенные неугасимой лампадой, я клал земные поклоны, клал, отрешась от самого себя. Мне казалось, что я попал если не в рай, так в преддверие рая, вознесся на небо, а на небе нет ни скорби, ни печали...

Матрёна Степановна усладила последние часы уходящего года двумя блюдцами крупитчато-загустевшего мёда. Его цветущую липу я до сих пор ощущаю на своих губах.

– Пойдём на улицу! – позвала, нет, не меня – моего брата Арсения, уже выбежавшая на улицу, неугомонная Аннушка.

– Никто с тобой не пойдёт.

– Все пойдут.

– Заневестилась девка, о женихе бредит, – без укора, как бы сама с собой, проговорила сердобольная, достойно несущая свой крест женщина.

Ещё девицы гадали,  
Ещё красные гадали,  
Да не отгадали.  
Пал, пал перстень  
В калину-малину,  
В чёрную смородину.

Очутился перстень  
 Да у боярина,  
 Да у молодого,  
 Да на правой ручке  
 На малом мизинце –  
 Позаиндевело, позаплесневело,

– задорно, с притопыванием пропела, а и впрямь загадавшая о женихе, своевольная девка. Она взяла со стола две ложки, сунула их в карман своей шубейки и – на улицу.

Стучат почти у каждой избы, у каждого двора деревянные, хохломской работы, хохломской росписи ложки. В морозном воздухе, в накрытой чёрным, крупно развездившимся небом морозной тишине отчётлив стук, издалека слышен он, но так же отчётливо, так же издалека слышно эхо, оно откликается со всех четырёх сторон, со стороны Просека, Красного Яра, Кремёнок, Осташихи\*. Откликается чья-то судьба, откликнулась она и на стук Аннушкиных ложек.

Кукарекнул петух, оповестил о приходе Нового года, а может, Новый год проголосил на весь мир. Слышно. Слышно.

## Х

Домой возвращался один, брат Арсений остался под железной крышей красиво поставленного на кирпичную кладовую, приглядного дома, так захотела Аннушка, так захотел Михаил, младший сын Фёдора Петровича и Матрёны Степановны, он был ровесником, годком Арсения, за одной партой сидели в училище.

Трудно сказать, что я думал, когда торопко трусил по проложенной посреди улицы, гладко укатанной санными полозьями дороге, возможно, о засунутой за пазуху ватрушке, а может, о пятаке, что отяжелил своей красной медью карман моего пиджачишка...

Неожиданно гулко ударил пожарный колокол, ударил – и утих. Я знал, что пожарный колокол отбивает время, знал, кто отбивает, дёргает длинную (длинней любых вожжей) льняную веревку – древний-древний старик по прозвищу Горюня.

Долго-долго держался в морозном, разреженном воздухе колокольный гул. Все знали, не могли не знать, что по старому календарю наступил новый 1929 год, но не все знали, что сулил этот год, названный годом Великого перелома.

Глянул на небо, небо холодно и отчуждённо омутилось. Оно походило на большую полынью, и звёзды колко, как ерши, барахтались в полынье. Я ведал, знал, что у каждого человека есть своя звезда, своя планида. Хотелось узнать свою звезду, я узнал: моя звезда отделилась от других звёзд, она была яркой-яркой, она учащённо дышала.

Похрустывал под истоптанными валенками укатанный снег, похрустывал так, что я часто оглядывался. Мне казалось, что кто-то догоняет меня. Больше всего я боялся покойников, поэтому, когда проходил неподалёку от кладбища\*\*, мимо могил, всё во мне замирало, уходило в пятки и – какая радость! – вдруг увидел огонёк в запелешенном окне

\* Близкие к Красному Осёлку сёла.

\*\* Кладбище в Красном Осёлке возле церкви, неподалёку от здания бывшего училища, бывшей школы.

нашего полудомка, огонёк тускло желтел, как непожухлый лист в чёрной полынье новогодней ночи.

– Ты где был? – накинулась на меня обеспокоенная моим долгим отсутствием мать, накинулась без крика, без раздражения, потому-то я сразу признался, где был, а извлечённый из кармана пятак умилистомвил мою родительницу, её руки помогли развязать под моим подбородком лямки нахлобученного малахая.

Приподнял свою вифлеемскую звезду прикорнувший возле печного приступа бычок. Он гладко лоснился, три раза в день упивался молоком смирно стоящей под половицами моста заиндедевшей Жданки.

Не мог удержать себя, приласкал ещё не отошедшими от холода руками тихонько мыкнувшего телка, погладил по лоснящейся шерсти. Сладко зажмурился телок, хотел, чтоб мои руки как можно дольше прикасались к его светло круглившимся бокам.

Из кути, из-под накрытой лоскутным одеялом кровати, дробно стуча ореховыми скорлупками раздвоенных копытц, вприскок кинулся к моим валенкам чёрный – как крыло ворона – ягнёнок. Он мелко караулился курчавой шёрсткой. Я приподнял голову, обрадованно посмотрел на мать. Мать не преминула оповестить о только что объягнувшейся белой овце.

– Одного принесла?

– Одного.

– Барана?

– Барана.

В детстве у меня почти не было игрушек (об этом я уже вроде бы говорил), но никого, ни благосклонного к моему пребыванию на земле деда, ни скупого на слова отца, я не просил купить даже пугача. Я сам мастерил самострелы, гнул луки, острым, сделанным отцовскими руками складником вырезал из коры осокоря пароходы. Ну а старые, истоптанные лапти утешали мои давние-давние дни, мои давние-давние слёзы...

Отсутствие игрушек заменялось присутствием того же ягнёнка.

Милый мой, незабвенный мой агнец, как я рад дробному стуку твоих копытц. А твой чёрный каракуль, ах как он умилял меня, когда укладывался вместе со мной на разостланном возле жарко натопленного подтопка старом чапане, и ничего, ежели подол моей ситцевой рубахи солонел от каракулевой мочи. Зато какое блаженство – спать бок о бок с самым безобидным на всём белом свете четвероногим существом!

– Ты что, всю ночь будешь сидеть? – укоризненно проговорила мать, глядя на сидящего на табурете отца.

Отец отмолчался. Он подковыривал кочедыком новые лапти, сплетённые проживающим в доме Петра Степановича Филинова мордвином Гаврилой.

Гаврила тем и жил, что плёл лапти, плёл по-мордовски, наперекосяк, как говорила моя родительница.

– А где тётка Марья? – спросил я у отца, спросил с явной тревогой. Я боялся, что Марья Петровна могла уйти в своё Великовское, а мне хотелось дослушать недосказанную сказку.

Тревога моя не была напрасной, единственная дочь моего деда по павечери утопала домой, на другой берег стеклянно взбугрившейся ломаными льдинами Волги. Так ответил отец, ответил нехотя. Не любил отвлекаться от дела, от кочедыка, что был схож с молодым месяцем.

Я и вправду улёгся у подтопка, но не на чапане, улёгся на материнской шубейке вместе с свернувшимся в калачик ягнёнком, быстро забылся, заснул. Проснулся от синё нависшего дыма. Дым лез в глаза,

ел их. Я с головой укрылся своим пиджаком, но упасть не мог, дым душил меня, даже ягнёнок и тот стал мотать головой, беспрестанно чихать.

– Пойдём корову окуривать, – пробаяла выплывшая из чулана бабушка. Она увидела, что я не сплю, гляжу на висящий коромыслом дым.

Окуривать корову... Пожалуй, только старые-старые люди, те люди, что выросли в крестьянской избе, ведают, что такое окуривать корову. Действо, по всей вероятности, пришло из языческих времён, оно сродни всевозможным заклинаниям, заговорам. Телится корова, всё молоко её на протяжении шести-семи дней отдают телёнку, никто из людей не может выпить ни одной капли. После окуривания – пей, упивайся, разумеется, в скромные дни.

Я ухватился за прислоненные к подтопку валенки, сунул в них находившие ноги, потом сунул руки в свой заношенный лапсердак и – за дверь. Бабушка вынесла из кладовки (чулана) глиняный горшок.

– На, держи...

Я зажал в оголённых ладонях осторожно поданный, обожжённый до глазури, небольшой горшочек. Вскоре он был набит усохшей травой, той травой, что зовут богородской, что так слышно благовонит.

Когда я вместе с бабушкой сошёл с моста и очутился возле смирно стоящей Жданки, богородская трава духовито задымилась от шумно вспыхнувшей спички.

Не скажу точно, первый ли раз я принимал участие в священнодействии окуривания коровы, возможно, первый раз, не с того ли так старательно исполнял всё, что говорила бабушка.

Куришь, трава,  
Дымись, мурава,  
Духовитая,  
Громом-молоньей  
Не убитая.  
Оборони от хвори-хворушки  
Вымечко моей коровушки,  
Молоко услади,  
Домового уследи...

Трава в горшке сгорела, осталась только горстка пепла. Горстка была рассеяна по двору, домовому под хвост, как сказала сразу подобревшая бабушка. Она под села к белому вымени, и в её руках звонко запело окуриваемое молоко.

## XI

Белизна парного, только что надоенного молока до удивления схожа с белизной зимнего, заметно удлинившегося дня, так и кажется, не сугробы снега – молочные реки разлились по всей земле, по всей округе. Русский человек с незапамятных времён смотрел на гуляющие по небу тучи, как на стада коров, поэтому падающий снег мог восприниматься как молочные струи.

– На, разговляйся, – ах какая она добрая, какая милая, моя бабушка Анисья Максимовна, она первому мне подала полную кружку тщательно процеженного парного молока.

Глянул на деда, без его согласия я не мог прикоснуться к поданной кружке. А сидящий за толстой, закапанной воском книгой дед вроде бы не заметил моего взгляда. Был понедельник, такой день, когда дед постился, по своей особой набожности. Понедельник не был постным днём для тех, кто не утруждал себя строгим постом, строгой молитвой. И всё-таки я решил польстить деду, преподнёс полно налитую кружку облизнувшемуся бычку. Не побрезговал. Выпил.

– Ты что делаешь?! – вскочив с кровати, накинулась на меня моя мать.

Что я делаю? Вроде ничего плохого не делаю. Так мне казалось, так мне представлялось.

– Ты же кружку-то опоганил!

Я опасливо посмотрел на деда. Дед учуял мой взгляд, проговорил:

– Скотина чище человека. Она безгрешна.

Мать надолго умолкла, а я приблизил себя к столу, к раскрытой, недоступной для моего понимания, толстой-толстой книге.

«Вначале сотвори Бог небо и землю. Земля же бе невидима и неупроена, и тма верху бездны, и дух Божий ношашесе верху воды. И рече Бог: да будет свет! И бысть свет. И виде Бог свет, яко добро, и разлучи Бог между светом и между тмою. И нарече Бог свет день, а тму нарече нош, и бысть вечер, и бысть утро, день един», – по складам, часто запинаясь, читал мой батенька, читал отрешённо, без тени какого-либо сомнения в правдивости непонятно звучащих слов.

Впоследствии, через много-много лет, когда та же самая книга очутилась в моём одиноком затворничестве, в той самой хижине, в которой я попытался воссоздать облик своего единоверца – незабвенного протопопа Аввакума Петрова. Могу достоверно засвидетельствовать: без этой книги я не смог бы что-то воссоздать, что-то создать. Непонятно звучащие слова зазвучали понятно...

Всему свой час, всему своё время.

Батенька не держал меня возле себя, но он радовался, светлел всем своим существом, всей собою, когда я, встав на скамью, клал поясные поклоны.

– Онисья, виждь...

– Вижу, вижу, – отзывалась из своего чулана Анисья Максимовна и умильно расплывалась в благостной, тихой-тихой улыбке.

– Осетрина-то уварилась?

– Уварилась.

– Ставь на стол.

На стол была подана глиняная плошка, она исходила густым, духовито-вкусным паром.

Не премину сказать, Анисья Максимовна умела готовить, даже трудно представить, где она, у кого могла перенять таинство кулинарного искусства.

– От покойной матушки, – незамедлительно следовал ответ, когда кто-то пытался узнать, как можно ту же осетрину так приготовить, что она сразу вызывала волчий аппетит.

Дед мой, мой батенька, не был кревоугодником, он строго соблюдал все посты, постился по средам, по пятницам и по понедельникам. Не помню, ел ли он мясо, скорее всего не ел. Проведя много-много лет на Волге, на Керженце, он доволил себя чаще всего рыбой. Летом свежими, прямо из воды окунишками, зимой – балыками осетрины, вывезенными снизу, из Астрахани.

– Наедайся на весь год, – говорил Пётр Матвеич, а я наелся, я заголил подол рубахи и показал туго набитое брюхо.

– Тогда иди гуляй.

Солнце на лето, зима – на мороз... А и впрямь, солнце поворотило на лето, оно не пряталось за огородами, за глубоко замятюженными яблонами, оно приподнялось, стало светлее ликом, не страшилось мороза, подбадривало сиротливо приютившихся на суку нашей подоконной березы нахохленных воробушек.

Какой раз – десятый, двадцатый? – я берусь за вязки салазок, вытаскиваю эти салазки на улицу, опуская на протоптанную к колодцу тропинку.

Какой раз ... Первый раз взираю на половодье солнечного света, на его слепящую белизну.

Мороз и солнце...

Не ради украшения лишённого какого-либо вымысла, фактографического, летописно-правдивого повествования, ради обильно разлившегося солнечного половодья, его ослепительно-яркой белизны я попытаюсь воскресить пейзаж давнего-давнего, незабытого мною, зимнего дня.

Не одних воробушек увидел я на суку подоконной берёзы. Да и что воробушки, они вызывали только жалость. Но жалость тут же заглушал восторг великолепия. Великолепно убралась наша наклоненная к Сабурину двору берёза. Вся она в алмазах ослепительно блистающего инея, не берёза – боярыня Морозова, на неё воззрился мой сверстник Саня Туманин.

– Айда кататься! – кричу я своему сверстнику, своему близкому-близкому другу.

– У меня салазок нет.

– На мои сядешь.

– Не уместимся...

– Уместимся!

Уместились. Катимся с церковного взвоза, взвоз крут, до блеска высветлен санными полозьями – дух захватывает от неудержимо мчащихся салазок. Немного боязно: вдруг окажешься под копытами чьей-нибудь лошади...

Всё обошлось подобру-поздорову, выкатились на подгорицу.

А подгорица-то вся оледенела, катимся по льду к Волчьей урёме. Останавливаемся возле густо разросшего краснотала, что остекленел от кухты, что прослезился от круто завернувшего мороза. Нет, не от мороза – от приснившейся весны, от половодья света.

Тут ещё наваленное на сани-розвальни сено. Оно приближалось к взвозу, издалека дурманя мёдом явленного посреди зимы, плывущего по её сугробам лета.

В свои шесть-семь лет чаще всего по лошади я издали мог узнать, кто – летом на телеге, зимой на санях – везёт ну то же сено, узнал и на этот раз: приближался к церковному взвозу Фёдор Иванович Железнов. Его неказистая, кургузая кобылёнка упрямо тянула небольшой – пудов на пятнадцать – возок. Я часто видел Фёдора Ивановича возле нашего амбара, он приходил к моему отцу, иногда по делу, иногда просто так – покормить. Он был немного шадлив, но едва приметные шадринки не портили красоты привлекательного, чисто русского лица.

– Катаетесь? – глухо спросил нас Фёдор Иванович, когда мы очутились вблизи его возка, подплывающего к крутой, сплошь засаженной яблонами, золотой, как говорили старые люди, горе.

– Катаемся, – не помню что, по всей вероятности, так я ответил, ответил неохотно, потому что кататься мне уже расхотелось. Всем существом я прилип к селу. Оно не могло не полонить меня мёдом своего лета, своей духмяной травы.

Мороз обычно убивает все запахи, даже усохшая, не заваленная снегом полынь не дурманит своей хмельной горечью. На что осиновая кора и та не горчит. Запахи – они как вода – леденеют на холоду. Но запах сена не подвластен никакому холоду, я дышал резедой, мятой, дикорастущим клевером, вязелью, всеми теми травами, что привольно сразу же после половодья зеленели по всей подгорице, по всей приволжской поёмине.

Не знаю, пахнет сено яблоками или не пахнет, но я ощутил и запах, медовый дух лежалых яблок... Вполне допускаю, что я обманулся, запах мне только мерещился. Сено поднималось на гору посреди яблонь, я даже знал какие яблони – анисовые, наливные, боровинские, каждая яблоня мне хорошо знакома.

Удивился силе кургузой кобылёнки. Она без передыха вытянула свой возок, Фёдор Иванович даже вожжой не пошевелил. Оставался один взгорок, и не такой крутой, как другие. На темени взгорка – белое диво церкви. Неподалёку – дом пономаря, дом умершего в годы революции попа Алексея. Дом справный, на кирпичном фундаменте, под железной крышей, очень походил на дома знатных господ, на те дома, которые я видел на старых картинках.

Дед мой всю жизнь хранил устои древлего благочестия, Боже упаси не соблюсти какого-либо предписания, канона. Старая вера – превыше всего на свете. Дивное великолепие мирской церкви не трогало моего деда. Великий грех – поднять глаза ну хотя бы на высоко вознесённый крест плечистой, соразмерно сложенной колокольни. Не тот крест, нет тех восьми концов, которым заповедал поклоняться сам Вседержитель, сам Бог Саваоф.

Я шёл по стопам деда, потому-то так незабвенно, так трепетно любил меня не утративший своего древлего благочестия, набожный старик. Лет до десяти я твёрдо придерживался старой веры. Не пил воды из одной кружки не только со взрослыми мирскими людьми, но и с ихними детьми, с тем же Санькой Туманиным, пил из самоварной заглушки.

– Айда поглядим, – говорит мне мой соблазнитель, мой близкий-близкий друг.

Я мотаю головой, я не поддаюсь искушению, но гляжу на паперть, на окованные железом врата, что прикрывают нутро храма, гляжу и на Богоматерь, что парит над окованными вратами...

Пастухи пустыни, что мы знаем?

Что я мог знать в свои неполные семь лет? Знал сказки, колядки. И не знал, что земля круглая, что она крутится вокруг своей оси. Не знал я, что парящая над церковными вратами Богоматерь – удивительное создание кисти неведомого мне живописца. Одно я мог подметить, что лик мирской Богоматери разительно отличается от нашей староверской Божьей матери. Нет той неизбежной скорби, той щемящей печали, нет выкатившейся из глаз, огромной, как валун-камень, слезы.

Не соблазнил меня мой друг, мой сверстник, я возвратился к своей слезе, к своей печали.

## XII

Крепчают морозы. В избе нашей, в нашем полудомке сделалось совсем темно. Не запележенные, не забитые досками, верхние прогалины окон – залубенели. Залубенев, стали мутнеть. Так бывает только в подвале – не проглянет ни солнце, ни месяц.

– Студь-то какая! – дую на окоченевшие руки, говорит пришедшая с улицы мать.

Я сижу на печи, на печи тепло. Но кому охота сидеть на печи, хочется на улицу. Я прошу мать, чтоб она дала мне свои валенки, мои валенки расхуилились так, что пальцы вылазят, пятки светятся.

– Да куды ты пойдёшь?

– В моленную.

Мать умолкает, она долго смотрит на деда. Дед вроде бы никуда не собирается, он оправлял лампаду, неугасимую, как её зовут, завтра великий праздник – Крещение.

Я знал, что в Крещение святят воду, но я не знал, как её святят. Спросил у бабушки, а бабушка сидела у печи, облокотясь на залавок.

– Есть река Иордань, в Иордани Христа крестили. С той поры по всей земле Иордань-река растеклась, в её воду люди погружают себя, пролубь рубят и – погружают. Может, с того и морозы начинают свирепеть, чтобы люди убоялись в воду-то лезть. Коли молодой была, сама испытала, какая боязнь находит, какой страх от такой холоди бывает, слова не скажешь, зуб на зуб не попадает, вся дрожмя дрожись. Большую волю нады поиметь, чтоб в пролубь войти. Ну ежели довелось войти, холодь-то эта вроде и не слышится, утихает она. Благодать всевышняя находит. Господи, введи меня в Иордань свой, одари мя своей милостью! – Бабушка кладёт на себя крестное знаменье и – долго-долго молчит, потом обращается к деду, говорит ему:

– Ты бы святой водицы нацедил...

– Где?

– В моленной.

– Не нацезу.

– Почему?

– Потому!

Дед вбегает в чулан, тычет пальцем в ведро с только что принесённой водой.

– Вот она, святая вода!

Бабушка качает головой, невозмутимо спокойно произносит обидное для всякого человека слово:

– Рехнулся?

– Ты рехнулась. Вода-то отколи?

– Из колодца.

– Из нашего?

– Нашего.

– Так знай: колодец наш свят на веки веков.

– Кто его освятил?

– Твой сын Ёгорка.

Бабушка потянулась к концу повязанного шалашиком, застиранного платка и сникла: она вспомнила брошенные в колодец медные иконы, так, видимо, повелел Вседержитель, дабы утолить алчущие души и впрямь освященной водой.

А я никак не мог понять глаголы шумно вскипятившегося деда. Он предал анафеме своего непутёвого сына. И вдруг – освятил колодец.

Не согласуется одно с другим, не совмещается.

– Марья, ты валенки-то уступишь?

Я никогда не слышал, чтоб дед с такой учтивостью обращался к моей матери. Может, потому-то и разведрились её ненастные, угрюмоватые глаза – глаза диковатой, загнанной лошади.

– Уступлю, – незамедлительно соглашается моя родительница, она оголяет свои точёные, ходкие ноги, подбрасывает на середину пола добротные, сбережённые с девических лет валенки и грустно-грустно говорит:

– Покойный кока\* купил...

Сколько раз, чаще всего в одиночку, я выходил на улицу, если не ночью, так в павечерь, вроде всё знакомо, всё ошупано, если не руками, так глазами, но такой, знать, мир, он вечно нов, даже снег непостоянный, вдруг поднимется, взвихрит, а вдруг присмирееет, начнет лисить, поземить. Сечень – так именовала древняя Русь январь-месяц, на две половины рассёк он зиму, но есть и другое русское наименование январю-месяцу – просинец. Как бы ни свирепел мороз, как бы ни лисил, ни позёмил снег, зима переломилась, произошло великое таинство: она затяжелела, затяжелела так же, как Богоматерь, от Святого Духа. Придёт час, и она обрадует прикорнувшего под соломенной застрехой воробушка. Встрепенётся воробушек, раскроет глаза и узрит новоявленного младенца, ту девицу, что при Крещении получит имя Весна, Весна-красна. А пока свирепствует мороз, люто звереет на вечерней, охватившей полнеба заре, я иду – след в след – за шумно сморкающимся дедом, я слышу, как визжит стеклянно позванивающий снег под его суковатым подогом, дед лёгок на ногу, идёт прытко, мороз подгоняет, он и меня подгоняет, он и меня толкает в спину. Вприскок, стараясь не отстать от шумно взвизгивающего подога, устремляю себя по укатанной, круглящейся мёрзлыми лошадиными шевьяками дороге. Неожиданно – как гром посреди зимы – ударил колокол. Долго-долго не утихал, держался в воздухе медно рассыпавшийся гул, потом ещё один удар, гул усилился, слился с гулом ещё не за вечеревшей улицы. Я давно научился различать по звону все колокола царственно возвысившейся колокольни, легко узнавал тревожный (даже когда нет пожара), сполошно учащающийся, как бы в крик кричащий звон набатного (пожарного) колокола, празднично-торжественный, размеренный, басовитый, подолгу не утихающий гуд среднего колокола, и, конечно, легко узнать всё подавляющий рокот главного колокола. Звоны хвалятся по голосу, а люди по беседе, а и вправду, неожиданно ударивший колокол хвалился своим роскошным, долго не утихающим голосом.

– Колокольный звон не молитва, а крик не беседа, – проговорил повизгивающий своим подогом, дико ненавидящий всё мирское, всё никонианское, мой дед, мой батя, ярый приверженец двуперстного знаменья.

Я не отозвался на явно предубеждённое изречение, я был полонён неутихающим колокольным звоном. Бухал средний колокол, серебряно рассыпались мелкие, подвешенные рядом с пожарным колоколом звонны. Их-то не так легко различить по голосу, но тот, кто научился различать раскаты соловьиного пения, кто знает, что такое лешева дудка, может без особого труда постичь многоголосие мелких пташек.

Какое-то время я ничего не видел, ничего не слышал, только колокольный звон, только он один парил над кухтой и инеем великорусской зимы.

Стало казаться, что я не под куполом вечеряющего неба, а под медью большого колокола, вижу не зарю, а красную медь колокольной губы.

– Большая вода будет, – приподняв голову, проглаголил обернувшийся ко мне, весь замучневший от инея, радетель, мой батя-батенька.

---

\* Кока – крёстный. Мать имеет в виду убившегося в колодце старшего брата.

Я вылез из-под большого колокола и тоже приподнял голову, глянул на небо, увидел полный светлый-светлый месяц, но я не мог понять, при чём здесь большая вода\*, понял только тогда, когда подошли к моленной, мне показалось, что стоящие поблизости яблони утопи в большой воде, сугробы глубокого снега походили на волны половодья...

Милое-милое, давнее-давнее моё мальчишество, как оно щедро на всякие сравнения, уподобления; пройдут годы, десятилетия, поредеют, поседеют мои волосы, но память всё чаще и чаще будет возвращать меня к молочной белизне обильно наваленного снега, к его беспредельно разлившемуся половодью. Да и свет вышедшего на самую середину неба полного месяца – как половодье.

– Отогревай парня-то, – подбежав к ещё не осенившему себя крестным знаменем бате-батеньке, пропела дородная Матрёна Степановна.

– Господь всех нас отогреет...

– Где это, в аду или в раю?

– В аду, в геенне огненной.

Ах, как я боялся, боялся ада, его огненной геенны! Одно утешало: что ещё мал, неразумен, что Господь милостив, что он простит меня за все мои вольные и невольные прегрешения. Так говорила бабушка, Анисья Максимовна. Она не хотела, чтобы я морил себя постом в скоромные дни, но батя-батенька, я так его любил, что готов был воспринять самые тяжкие вериги во имя торжества поправленной справедливости, как он сам глаголил.

– Руки-то, руки совсем заоченели, – глядя на мои руки, всё также сердобольно пела моя благодетельница, Матрёна Степановна, – Аннушка, сходи, снежку принеси, – попросила она стоявшую у наполненной колодезною водою вместительной железной купели свою дочку-доченьку, дщерь свою, как глаголят все ревнители древлего благочестия.

Аннушка набрала целые пригоршни рассыпчатого, ничем не запятнанного, чистого-пречистого снега и начала оттирать мои лапы. Оттирала до тех пор, пока они не отудобели, не отошли.

Я бы мог прослезиться, не прослезился, ибо знал: слёзы лить – Бога гневить, так говорил батя-батенька.

Думаю, я не нарушу истины, ежели скажу, что я редко обжигал свою детскую душу, даже тихими, никому не слышными слезами.

Не могу сказать, почему в закопченной, неприглядной на вид моленной я чувствовал себя лучше, чем где бы то ни было. По прошествии многих лет я все силюсь разобраться, какая сила давала мне силы выстаивать вечерни, заутрени, обедни да еще размашисто креститься, класть земные поклоны.

Уму непостижимо! Религиозный фанатизм? Возможно. А ежели возможно, уместен сам собой напрашивающийся вопрос: что же такое вообще религия?

Человек стал человеком тогда, когда ощутил, что он смертен. Ни одно живое существо не знает, что оно умрёт, знает только человек. Страх смерти породил религию, а религия породила упование на иную запредельную (загробную) жизнь. Блажен, кто верует...

Я веровал, я и ныне не отвергаю своей веры, я возродил её в пору духовного возрождения, но я не познал небо, а не познавший небо может легко пасть, так и не освободясь от земных пороков.

\* Полный месяц на Крещение – к большой воде, к большому половодью.

Возвращаю себя под закопченный потолок, к наполненной ледяной водой купели.

– Величаем тя, живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских, – протяжно, певуче выговаривает Матрёна Степановна непонятные для моего разумения слова. Слова эти молодо подхватывает Аннушка, она, чуть не плача, просит:

– Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй ны, приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Речная устремления веселят град Божий. Глас Господен на водах. Господь на водах многих. Взяха реки, Господи, взяха реки гласы своя, от гласов вод многих. Сего ради помянух Тя от земли Иордански и Ермонийски, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять. Ты утвердил еси силою Твоею море. Ты стерл еси главы змиев в воде. Ты расторгл еси источники и потоки. Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды да убояшася. В мори путие Твои, и стези Твоя в водах многих. Яко возвеличшася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси.

– Слава и ныне: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! – эти слова пропеты были всеми молящимися, даже дед мой, мой батенька, склонив голову, проглаголил славу, «крестившемуся от Иоанна в водах Иорданских...»

Пожалуй, не будет лишним, ежели я поведаю, какое воздействие оказывало на моё детское восприятие ночное бдение, ночное молебствие. Оно окрыляло, уносило на берег неведомого, наполненного святой водой Иордана, я старался представить себе, каков он, этот Иордан, но представить не мог, не хватало воображения. Виделась почему-то прорубь, та, которую я зрил возле Великовского, зрил, как она дышала белым паром...

– И крестився, Иисус взыде абие от воды: и се отверзошася Ему небеса, и виде Дух Божия, сходяща, яко голубя, и грядуща на Него.

А и вправду почувался Дух Божий, что сходил как голубь.

– И се, глас с небесе, глаголя: Се есть Сын Мой Возлюбленный, о Нем же благоволи.

Не понимая смысла пропетых Аннушкой слов, я всё же ощутил снизошедшее благоволение, да и все кладущие земные поклоны ощутили (не могли не ощутить) это благоволение.

На какое-то время воцарилась тишина, Аннушка подняла осенённые пушистыми ресницами глаза, нет, не глаза – очеса, две проруби, в них теплились слёзы благоговейного умиления.

Не могу сказать, что больше тревожило меня: глас с небесе или глаза моей двоюродной сестрицы, в их прорубях я видел свой Иордан.

### XIII

После Крещения в Татьянин день женихи начинают засылать свах к своим невестам, в этот же день неумолчно стрекочут сороки, обещают целый короб новостей, и новости приходят, неутихший мороз их не придержит, у обросшего ледяной бородой колодца бабы с коромыслами на плечах во всеулышание оглашают, кто кого усватал.

Младший сын Петра Степановича Филинова, Пекарки, как его заглазно кликали, усватал Олёну Маланову.

– Значит, уломал?

– Уломал, Клавдеюшка, уломал.

– Коли свадьба-то?

– На той недели.

Клавдея Зыбина, наша ближайшая соседка, она часто ссорится (бталится) с моей матерью, чего-то делят, и – никак не поделают.

– Ты же по миру ходила, нищенкой была...

– А ты от законного мужа убегала.

Я не знал, что моя мать убегала от моего отца, но прозвище «беглянка» прилипло к ней на всю жизнь.

– На улице-то, на улице-то что делается! – нет, не в Татьянин день, в иной день, может, в день Афанасия Ломоноса удивлённо пропела вошедшая в нашу избу Анюша Туманина, тоже ближайшая соседка, только по левую руку, соседка слева, как говорят хлебнувшие всякого лиха фронтовики-окопники.

Анюша, Анюшенька, так все звали невеликого росточка миловидную, всегда с доброй улыбкой на припухших губах, ещё не опечаленную прожитыми годами, молодую женщину.

– Ты что какая пасмурная? – участливо спросила Анюша-Анюшенька грустящую на донце гребня мою бабушку, Анисью Максимовну.

– От мороза.

– От мороза-то вода в полынье теплеет, дым из трубы прямо в небо лезет.

А на улице мороз  
Примораживает,  
Парень девицу всерьёз  
Привораживает,  
Привораживает  
Да прихорашивает.  
Ах ты парень-паренёк,  
День-то больно синеок,  
Больно ведреный,  
Больно ветреный,

– притопывая разношенными валенками, бойко рассыпала Анюша-Анюшенька на пол сразу посветлевшей избы плясовую дробь песни-скороговорки.

Сходила с рыхлого, одутловатого лица Анисьи Максимовны накопленная долгими годами пасмурь, увлажнились глаза, они блеснули тихо набежавшей слезой, вспомнили свою молодость.

В какие веки – кто знает, кто скажет – встала на ноги, ступила на белый песочек лесного Заволжья, лесной красной рамени заря-заряница, пала на пожни да пажити, а когда солнце стало всходить, когда день наступил на хвост ночи, обернулась заря-заряница в красную девицу, когда босиком, когда в берестяных лапоточках стала ходить по грибы да по ягоды, сколько всякой ягоды по Заволжью, по его боровинам – видимо-невидимо, поначалу малина поспеет, сладкая-сладкая, такой малины по всему свету не найти, а вскорости черника прозреет, вся в инее, вся в морози, зиму посреди лета учуяла, коротко лето, коротки и девичьи утехи, девичьи радости.

– Присядь, Анюшенька, к столу присядь, – бабушка чуть не насильно усадила непоседливую бабёнку, – чай будем пить, – таинственно прошептала она и, взглянув на меня, погрозила пальцем, дескать, молчи, ничего не говори дедушке.

Я долго не мог понять, почему не говорить дедушке про чай, сам дедушка не пил чай, но он не запрещал пить его другим, понял тогда, когда на стол была поставлена старинная – тёмного стекла – бутылка. Вино. И не такое, какое в лавочке у Ильи Филинова берут, другое, с кистями рябины на потемневшей от времени бумажной наклейке.

Откуда-то возвратилась мать, сняв валенки, стала дуть на руки.

– Ну и холодина!

– Афанасий шутить не любит, – незамедлительно отозвалась подогретая крепким «чайком» Анюша-Ашюшенька.

– Присаживайся, Марья, – пододвинув к столу табуретку, благосклонно пробаила бабушка, пробаила и – умолкла.

Мать не сразу присела, можно предположить: она растерялась, не знала, как воспринять неожиданно милостивое приглашение, топталась возле своей кровати и почему-то жалостно-жалостно глядела на меня.

– Да ты что топчешься? – подала свой голос не привыкшая церемониться добродушная соседка.

– Зазябла я.

– Так садись к нам, грейся.

Не знаю, сколько времени длилось сдобренное горькой рябиной чаепитие, но причина сему – моё внезапное исчезновение. Никому не сказавшись, в старых дырявых валенках, я очутился на улице. И что удивительно, поначалу не учуял мороза, только солнце, солнце на снегу, на конских шевьяках, много-много солнца. Глянул на небо – на небе ни облачка, оно стеклянно синее, оно прозрачно – как стекло. Мои фенологические наблюдения могли бы продлиться, если б не свадебное шествие, оно приближалось к Полуниному двору, к Полунину проулку, впереди об руку с Олёной Малановой шел Николай Филинов (жених с невестой). Значит, не зря бабы-то судачили, всё вышло так, как они говорили... Впрочем, нет, немного не так. Забыли бабы посудачить о Протасе, известном на много сёл и деревень колдуне, близком родственнике невесты. Постараюсь устранить образовавшийся пробел, даю достоверное описание всего того, что я увидел, что навсегда сохранил в своей памяти.

Колдун на свадьбе, что чёрт на Масленице, может такое коленце выкинуть, что небо покажется меньше овчинки. Оно и впрямь меньше овчинки, это остекленевшее небо, не видать его, на глаза, на их ресницы мороз налип...

А и в самом деле, нестерпимый мороз стоит, при таком морозе воробы падают замертво. Но что я вижу? Вижу раздетого до натальной рубахи человека, его босые ноги шлёпают по мелко размолотому стеклу изъезженной дороги, по её в золу истёртому снегу, человек опирается, тяжело налегает на суковатую длинную палку, на посох, как бы сказал мой дед, человек иногда приостанавливается, поворачивается к то же до натальной рубахи раздетому, босому спутнику, оборачивается, что-то говорит, тычет в мою сторону суковатым посохом. Я отступаю от дороги, стою в придорожном, морозно блистающем мятюге, слышу, как в дырявые валенки набирается снег, снег холодит мои ноги, но я креплюсь, тарашу глаза на свадебное шествие и с великим изумлениемзираю на двух босиком идущих людей. Я знал, что один из них Протас, тот самый Протас, который легко летом может посадить на какую-нибудь кочку посреди озера, зимой на крышу сарая или овина.

– Ужась-то какая! – удивляются вззирающие на босые ноги празднично стоящие по мятюжинам бабы. Больше всех всплёскивала руками Грунюшка Гаранина, она жила в слободе, но напротив Туманина двора пустовала её изба, за коей надо было присматривать.

– Душу чёрту продал, – не унималась уже пожилая, овдовевшая в годы мировой войны, всё та же Грунюшка, она костит идущего рядом с колдуном исшадривленного, исклёванного оспой Степана Спиридонова. По её словам, Степан уже не может ступить на путь истинный, так и будет босиком по селу ходить...

Может, я и сам продал чёрту душу, хочу и не могу возвратиться на крыльцо своего кержацкого полудомка, прилип к исподлобья вззирающему на белый (действительно белый) свет Протасу, примечаю всякую мелочь в его угрюмом облике. Поразили зелёные, прикрытые нависшими бровями глаза и борода, длинная, почти до пояса, угольно-чёрная, без единого седого волоса, она росла прямо от зелёных глаз, росла густо, без прогалин, из неё крючкливо, как у ястреба, показывался нос, но и на носу росли волосы, росли они и в ноздрях, только большой, полуоткрытый рот молочно белел ровными, как фарфоровые чашечки, зубами. Не осталась без моего внимания и маркизетовая, перехваченная шёлковым поясом рубаха, она мешковато облегалась плотно сбитое, с годами не усохшее тело, она не была заношенной, но и не была первой свежести, на её воротах не хватало пуговиц, только две пуговицы копейчато прятались под дремучей бородой.

Не чуя околдованных ног, я приблизился к Филинову колодцу, к его оледенелому срубам.

– Жарко! – показывая молочно-белые зубы, прохрипел отпыхивающийся (как от жары) Протас.

И тогда-то я увидел, как выкаченная из колодца вода полно налитой бадьёй опрокинулась на оголённую спину сперва самого Протаса, потом на спину изъеденного оспой Степана Николаича.

Не помню кто, но кто-то пожалел мои заколдованные ноги, ввёл меня в избу, сказал, чтоб я скорее лез на печь. На печи я долго отогревал и ноги и руки, а когда отогрел, уставился в красный угол, загляделся на жениха и невесту.

Невеста мне показалась такой красивой, что я невольно вспомнил сказки о царских и княжеских дочерях...

По прошествии какого-то времени жених и невеста куда-то удалились, вроде в чулан ушли.

– Бабы, вы сейчас все утопните! – угрожающе прорычал сидящий на передней скамье Протас.

– Где мы утопнем? – отозвалось несколько насмешливо бойких голосов.

– В окиян-море.

Я лежал на печи и – не дышал, я замер, замер потому, что своими – неужто обманувшимися? – глазами видел, как из щелей пола забила вода, быстро залила половицы, обернулась и впрямь в окиян-море...

– Караул! – ревели, заголяя свои подолы, не на шутку испуганные бабы.

– Протас, пощади!

– Не пощажу.

– Мужики!

Мужиков не было, они были в другой половине избы.

Не скажу, сколько времени, может, минут держалась вода, а бабы с заголёнными подолами взбирались на стулья, табуретки, лезли на печь...

– Протрезвели? – угрюмо вопрошал невозмутимо спокойный иллюзионист еще не опомнившихся от увиденного наваждения, присмиривших кумушек.

Мне захотелось ещё раз взглянуть на длинно отпущенную, дегтярно пролитую на маркизетовую рубаху бороду. Взглянул и – опять замер. По бороде тихо-тихо скользили короткие, как обрубки, пальцы, а из-под пальцев сыпались огненные искры.

Началось битьё посуды, били горшки, глиняные плошки, пустые бутылки (под конец свадьбы всегда бьют посуду). И – опять диво: все черепки покидал себе в рот, нет, не иллюзионист – настоящий колдун. Напоследок он ухватил стакан и своими муравлиными зубами изгрыз, как яичную скорлупу.

Возвращаясь домой, я часто оглядывался, боялся, как бы короткие, как обрубки, пальцы не ухватили воротник моего пиджачишка, не уволокли меня к колодцу, к его ледяной воде.

#### XIV

Уехал – а когда уехал, я не знаю, – на свою Пенякшу отец, думалось: подошьёт валенки, не подшил, насучил только дратвы да вырезал из какого-то старого сапожишка одну стельку, зато вытесал из срубленной в Среднем враге берёзы долгожданные лыжи – да ещё какие лыжи! – таких лыж ни у кого нет. С желобками, с ременными путицами\*, с круто загнутыми носами. С горы можно кататься и по мятужицам ходить. А если бы подшить валенки! Ах, если бы подшить валенки! Но кто подошьёт? Дедушка? Нет, дедушка не подошьёт. Надо ждать отца. А когда приедет?

– Коли тятя-то приедет? – спрашиваю у матери, а мать не отвечает, а мать заливается неутешными слезами, клянёт тот день и час, когда она родила меня.

– Связал, по рукам и ногам связал, ежели бы тебя не было, я бы дня здесь не жила, знаешь ли ты, какую я муку терплю?

Я не знал, не ведал материнской муки, за что жестоко виню и не кого-нибудь – самого себя.

– Марья, не изводи себя, – неужто бабушка, неужто она сжалилась над моей матушкой, над её только что пролитой слезой?

Бабушка сжалилась, Аксиныя Максимовна подала голосок, она всегда хотела, чтоб в нашей избе, в нашем полудомке был мир.

– Ты что, так и будешь на полатах лежать? – спокойно и вроде бы виновато пробаила подобревшая мать. – Слезай, обедать будем.

Я слез с полатей, тронул рыльце глиняного умывальника, воды в нём не было. Мать схватила белое цинковое ведро и – к колодцу.

Время завтрака, время обеда, время ужина во всякий – скромный ли, постный ли – день строго соблюдалось, таков порядок, наособицу никто не ел.

Возвратилась мать с полным ведром колодезной тяжело приподнятой на чуланную лавку воды. Вслед за матерью вошла моя сестра (неродная) Нюра, вошла вместе со своей подругой Машей Салынкиной.

---

\* Путица – петля, которая продевается в ушки лыж, при катании надевается на ногу.

Приспела пора сказать что-то о моей сестрице, на её долю выпало счастье нянчить своего братика, а братик – это я, по всем российским весям старшие сёстры нянчили младших братьев.

– Я-то жать уходила, а ты с Нюронькой оставался, я ведь исполу много жала, прирабатывала, отец-то голой меня взял, пожнешь с недельку, глядишь, платье али кофточку опосля-то купишь, одежонку справишь. Правда, сердце всегда не на месте было, о тебе беспокоилась, а ты ещё от груди не отвык, сколько тебе было, полгода не было, а нянюшке-то твоей шесть годов, как раз на жнитве-то сравнялось, тоже дитё. А с дитя-то чего спросишь? Тебя в корзину посадит, а сама в куколки почнёт играть, не то под гору купаться убежит. Как-то прихожу и никого не вижу, спросить бы, некого спросить-то – все в поле, кричу, никто не откликается, только поросёнок хрюкает, из хлева пяточок свой показывает, под мост сунулась, под мостом-то клушка на яйцах сидит, крылья топырит, в огород метнулась, в огороде-то нашла тебя, промеж гряд лежал, нутром к земле прилип. Хорошо, что не задохнулся, – так повествовала моя родительница, когда была в умиротворении, когда вспоминала первые годы своего жития на чужой стороне да в чужом дому.

– Часы-то у вас что не ходят? – воззрясь на щелястую стену, спросила Маша Салынкина, спросила не меня – мать мою спросила.

– А шут их знает, что они не ходят.

– Может, в них тараканы налезли?

– Может, налезли...

Почему-то я мало интересовался часами, правда, я не оставался равнодушным к их малиновому, чистому звону.

– Часы встали, – как некую новость сообщил я хлопчущей у печи, подающей на стол всякое жарево да парево бабушке.

– Устали они. Пушай отдохнут.

И впрямь, пускай отдохнут.

За столом я не увидел деда и брата Арсения.

– Хватился прошлогоднего снега, – ответила Анисья Максимовна, когда я спросил, куда делся дед и брат Арсений.

– Арсенька с отцом уехал, – не преминула удовлетворить моё любопытство моя матушка.

– А дед в Лыскове\*, по базару гуляет, – подчёркнуто равнодушно, как бы проходя, проговорила бабушка, – гостинцев тебе накупит, – добавила она, когда я вылез из-за стола, вылезая, вспомнил о вытесанных отцом лыжах.

И какое счастье – я вдеваю носки материнских валенок в ременные путицы, я, не чуя мороза (мороз сник), иду по огороду, иду на своих лыжах.

Сердце задыхается от радости!

Задыхается от радости и сердчишко перелетающего с яблони на яблоню, ожившего воробушка

А тут ещё синичка-сестричка рассыпала свой звон, как будто льдинка о льдинку стучается.

Возле амбара останавливаюсь, гляжу на мотки тонкой-тонкой проволоки, смеаю: проволока может пойти на петли, что наматывают на воткнутые в сугроб колышки возле молодых яблонек, таким образом можно обмануть рыскающего в поисках зеленинки косоглазого зайчишку.

---

\* Лысково – до революции большое село, после революции районный центр.

Сойдя с лыж, я довольно быстро наделал проволочных петель, расставил их вместе с колышками на задах\*.

Бывает так: стихают морозы, и сразу устанавливается на удивление мягкая, не по-зимнему добрая погода, в такую погоду оттаивают запахи, скорее всего, эти запахи и притягивают, зазывают глуповатых зайчишек к молодым яблонькам. Да и сами молодые яблоньки заманивают своей сладкой горечью, на что занесенная снегом солома, и та подаёт ржаной дух, дух подобру-поздорову убранному полю. Переваливаюсь через гумённые высокие-высокие, глубокие-глубокие сугробы, прохожу мимо овина. У овина возвышается молодая, с гладким-гладким стволом рябина, летом во время молотьбы я залазил на неё, видел с её вершины большую дорогу, а на большой дороге старые-старые берёзы, телеграфные столбы видел. Снегирь! Нет, не снегирь, кисточка не поклёванных воробьями ягод, и какая-то птичка, маленькая, меньше воробья. Должно быть, поползень, он присматривается к ягодам, но не клюёт их, вроде любит ими. Во всякой горечи есть своя сладость, сладко оведало волнисто залегшие надули оттаявшей полынью, полынь чуялась в открытом всем ветрам поле, всё поле в крапинах заячьих следов,

Приближался февраль, в феврале не только волки, но и ближайшие их сородичи – собаки начинают гулять, справляют свои собачьи свадьбы. Да что собаки – коровы просятся на улицу, коровы начинают гулять.

Удаляясь от овина, хорошо памятной рябины, я хотел увидеть волчьи следы. Не увидел, хоть и приблизился к самому лесу. Лес являл картину не убитой морозами, оттаявшей жизни. На усохшей макушине старогородского вяза дробно стучал дятел. Работающая птица, она сродни моему отцу, стучит всё время, готовит для той же синички-невелички жильё. А я и синичку-невеличку увидел: орешину облюбовала, на орешине сидела да на меня глядела, соображала, по какой, дескать, надобности пожаловал я на опушину Ближнего врага...

Не скажу точно, сколько времени я пробыл в гостях очнувшегося после спячки, в любое время года приветливого леса, должно быть, долго пробыл, потому что домой возвращался на закате солнца. Необычен закат, такой закат бывает только в оттепель. Тихий-тихий, без полымя обещающей дикую стужу, зловещей зари. Возвращался я по своему следу и, конечно, не забыл посмотреть на расставленные петли. Нет, я не думал, что увижу живого, старающегося всеми силами освободить себя от проволочной удавки зайца. Пришлось помочь. Вытащил воткнутый в сугроб колышек, взял незадачливого огородника на руки. Ах, как он вырывался, сучил, бился задними лапами, этот незадачливый огородник! Каркнула ворона, а зачем она каркнула, я так и не мог понять. Не каркай, старая карга, всё равно не поживишься заячьими потрохами...

– Ты где его взял? – удивленно спросила привставшая с кровати мать, когда она увидела в моих руках освобождённого от проволочной удавки зайца.

– На задах, – так я ответил матери, а она, покачав головой, сызнава спросила:

– В петлю попал?

Мне не хотелось говорить о расставленных мною петлях, поэтому я отмолчался.

---

\* Зады – примыкающая к гумну, отдалённая часть огорода.

– В ящичек нады посадить, – посоветовала мать, умильно глядя на присмирившего огородника, она сама вытащила из-под кровати прибежённый отцом ящик.

А огородник смахивал со своих глаз навернувшиеся слёзы, он не думал, что так неудачно завершится не такой уж опасный набег на молодые яблоньки.

## XV

– Дедушка-то кобылу купил. С ума он спятил! – рано по паутри услышал я эти слова от бабушки, поначалу подумалось, что дедушка купил для меня картонную кобылу, кобылу-игрушку, но зачем говорить: спятил с ума! – Да, спятил, рехнулся на старости лет, – как бы желая рассеять моё недоумение, во всеуслышание утверждала бабушка, мама старая, как я её звал.

– Умру я скоро, – тихо, щемяще-грустно проговорил мой батя-батенька.

– Не мели...

– Не мелю. Не мельница.

– Скоко денег-то отвалил?

– За что?

– За кобылу.

– Много.

– А нищеврода-то к чему приволок?

– Буду милостыней питать себя.

И питал, питал с памятного мне дня – дня появления в нашем доме чудаковатого, с буйно вьющимися волосами человека, которого даже бабушка свет Анистья Максимовна звала ласково Яшенька.

По первости Яшенька не привлекал моего внимания – много я видел всяких нищих, говорили, даже бывшие генералы пошли побираться, по миру пошли.

Внимание моё привлекла купленная (за немалые деньги) вороная, в белых чулках поджарая кобылица.

– Полукровка, – сказал знающий толк в лошадях сосед наш Михаил Фёдорович Туманин.

Я не знал, что такое полукровка, но я не видел таких, во всём Красном Осёлке таких не было.

Даже мать моя и та была в восхищении.

– Как барыня, – сказала и потупилась. Наверно, вспомнила своего старшего брата...

Она стояла во дворе под сушилами, с которых свисало ещё осенью привезённое с Молодого Острова сено, вся она – пела, вся она как туго натянутая струна. Не утерпел, созвал всех своих дружков-товарищей. Пусть глядят, пусть удивляются.

– Рысачка?

– Конечно, рысачка.

– Отец купил?

– Дедушка.

– Где?

– В Лыскове.

– Она хлеб ест?

Я не знал, ест ли хлеб поджарая, перебирающая длинными точеными ногами, а и вправду барыня, возможно, ест, возможно, ест она и

сено. Товарищи мои побежали за хлебом, а я залез на сушилы, сбросил целое беремья сена. Не прикоснулась, не съела ни одной сенинки. Отказалась и от хлеба.

– Она тоскует, – заявил самый старший из нас – Саня Сабурин, сын Фёдора Ивановича Сабурина\*, близкого друга моего отца.

Дружки-товарищи, сверстники-ровесники, годки, погодки, многих из них уже нет в живых – не возвратились с войны, другие – извелись от ран, от болезней, но те, что живы, и доньше помнят моего деда, Петра Матвеевича, помнят купленную им рысачку, что тосковала на нашем – не очень-то просторном – дворе.

– Ты помнишь, – говорит мне, нет, не Саня, говорит Александр Фёдорович, бывший председатель сельсовета, – ты помнишь, как твой батенька нас к дверному косяку ставил?

– Как не помнить!

– Санька, вставай!

Санька прислонился стриженным затылком к косяку, на косяке появлялась зарубка, она отмечала Санькин рост.

– Володька!

Володька вставал к косяку. Появлялась Володькина зарубка.

– Делать-то тебе нечего, что ты неволишь ребятишек-то? – насыпалась на деда раздражённая то ли не удавшимся, плохо испечённым хлебом, то ли иной морокой бабушка моя, моя благодетельница.

– Идите гулять, – повелевала она моим сверстникам-ровесникам.

И сверстники-ровесники шли гулять. А я оставался дома, у меня худые валенки.

– Фёдора пойду навещу, – надевая свой овчинный охабень, проговорил умиротворённый приведённой на двор справной кобылицей мой батя-батенька.

– Иди навести, – безучастно отозвалась взирающая на поставленный самовар Анисья Максимовна.

Батя-батенька ушел, ушёл к своему старшему сыну Фёдору Петровичу, а по какой надобности – никто не знал.

– Я ведь нынче именинница, – не преминула сообщить, по-старушечьи молодо улыбаясь, всё та же Анисья Максимовна, она достала из своего сундука кашемировый, всеми цветами радуги переливающийся платок. И ещё кое-что достала...

Никто не мог знать, Анисья ли Максимовна оповестила о своих именинах али сами барыни-сударыни провели, но так уж случилось – табуретки вокруг стола не пустовали, рюмочки-сосулечки из деревянного комода на бранную столешницу перебрались, они уже два раза приподнимались, отражаясь на медалях крушиной начищенного самовара, приподнимались они во здравье Онисьи-полузимницы, той Онисьи, что усмирила своими синими-синими глазами дико лютовавшие морозы.

Есть в человеческой судьбе два таинства, таинство рождения и таинство смерти, никто из живущих людей не может поведать, как он появился на свет, никто не может рассказать, как он уходил, отходил, навсегда покидал этот свет.

Могут быть только догадки, воображение, но даже апостолы, пространно повествуя о смерти и воскресении Иисуса Христа, не решаются дать свидетельства самого Иисуса Христа, ежели бы таковые

---

\* Александр Фёдорович Сабурин (Баруздин) много лет проработал председателем Красноосельского сельсовета.

свидетельства были, достоверность апостольских повествований намного увеличилась, по крайней мере, они приоткрыли бы дверь, которая так и осталась за семью печатями. Впрочем, любая тайна есть тот Китеж-град, который могут узреть только непорочные души. Уповай на будущее, заманчива не та дорога, что пройдена, зовёт и манит непройденная дорога, манит своей тайной, своей неизвестностью.

Знание расширяет кругозор, но расширившийся кругозор во сто крат увеличивает бремя непознанного, за горой возвышается иная гора.

– Максимовна, ты что это, с чего это на свой-то ясный день тень наводишь, – в один голос заговорили барыни-сударыни, когда они углядели на глазах Анисьи Максимовны сосульчато нависшую слезу.

– От умиления плачу. По паутри-то на улицу вышла, а на улице-то благодать-то какая! Холода-то и в помине нету, чуть-чуть мятужины-то пристыли, ледком закружувели. Думаю, корову нады выпустить, пущай погуляет. Выпустила. Обрадовалась. Мычать зачала, подружек своих зывать стала. И вроде бы захмелела, головой замотала, – именинница могла бы до вечера рассказывать про захмелевшую корову, но Анюта Туманина вылезла из-за стола, притопнула ногой и – голосисто запела:

Топну ногой  
Да притопну другой,  
Держись, каблук,  
Не ходи на луг,  
Ходи во поле  
Возля тополя,  
Возля милого ходи,  
На его гармонь гляди,  
На гармонь бантики –  
Розовые франтики...

– Милая моя, Анюшенька, как же, век бы слушала и не наслушалась, – обнимая резвую плясунью, проговорила так и не познавшая за всю свою жизнь какой-либо радости ревнивица древлего благочестия.

## XVI

Дед возвратился не один, в избу он вошёл в сопровождении Фёдора Петровича. Мне представилась возможность вести длительное наблюдение за двумя совершенно разными, отличными друг от друга людьми. Дородный, в белых, должно быть, купленных, валенках Фёдор Петрович и сухонький, в стареньком охабне дед – и какое разительное несходство!

– Часы-то стоят? – взглянув на недвижимо замершие стрелки часов, спросил старший сын у своего родителя, а родитель не ответил, не тем занят был...

– Ты что такой взъерошенный? – осведомилась, оглядев своего благодетеля, вчерашняя именинница.

– Конец света надвигается!

Что за оказия! Вроде бы жизнь в свою колею вошла, война замиралась, пропавшие без вести и те возвратились, в шабрах живут: Михаил Туманин, Фёдор Сабурин, на Василия Коржиманова похоронная пришла, а он живой и невредимый домой притопал. А голод-то какой пережили! Смилостивился Господь, упас от лютой смертушки, кору

осиновую толкли, лебеду да крапиву горячей водой отваривали и – ели. Не брезговали. А сейчас-то что не жить, едим, пьём, слава богу, досыта.

– Значит, коммуна будет? – обеспокоенно спросил невозмутимо спокойного Фёдора Петровича не на шутку встревоженный дед.

– Поначалу колхоз.

– А что опосля?

– Опосля коммуна.

Я, замирая, слушал, я понимал, что надвигается какая-то беда, может, и вправду конец света. Но ведь света-то с каждым днём всё больше и больше, даже в нашей избе, в нашем полудомке стало светлее.

– А как, по добровольности или по принуждению, будут входить в этот колхоз? – не унимался, спрашивал своего умственного сына батя-батенька.

– В газете пишут, по добровольности.

– Добровольно лезть в петлю...

– В какую петлю?

– Как в какую? В ту, о которой в газетине прописано.

Не знал батя-батенька, что его старший сын тайно клонился к колхозу. Фёдор Петрович никогда не был прилежен к своему хозяйству, к своей земле, думается, он ни разу не запряг лошадь, не взял в руки вожжи, всем заправляла Матрёна Степановна, она ладила соху, пахала, взяла на себя всю мужскую работу.

– На кобылицу-то хочешь взглянуть-то?

Фёдор Петрович отмолчался, он только посмотрел – и не без жалости – на соблазнившегося скаковой кобылицей старика.

Приблизилось такое время, когда сметливые люди не во двор, а со двора сгоняют последнюю коровёнку, в бедняки норовят попасть, а тут – скаковая кобылица!

Просчитался Пётр Матвейч, здорово просчитался...

– Пойду загляну к Егору, – вставая с венского (единственного в нашей избе) красиво выгнутого стула, проговорил дородный Фёдор Петрович.

– Чево ты у Егора-то не видел?

– Чай брат.

– Брат... Какой он брат? Христопродавец, сатана, дьявол, – дед не на шутку взъярился, плюнул на пол и толстой подошвой старого валенка растёр по полу свою слюну.

Уходя, Фёдор Петрович забыл варежки, и эти варежки стали причиной моего появления в избе Егора Петровича, появился я в бабушкиных ступнях, в одной рубашонке, с неприкрытой, осыпанной снежинками головой.

– Дядя Федя, ты варежки забыл, – сказав эти слова, я сразу обратил внимание на передний (красный) угол, надеясь увидеть если не иконы, так божницу. Божницы не было, весь угол заслонил собой огромный портрет Сталина, под портретом сидел сам Егор Петрович, с бритой, брюквенно белой головой, обратился я внимание и на стопку книг, на облепленные газетами стены.

– Учиться-то ходишь? – спросил меня как всегда игриво-жизнерадостный Егор Петрович.

– Да ты что, чай, ему ещё рано учиться-то, – ответила за меня жена Егора Петровича, тихая, всегда чем-то убитая Авдотья.

– Арсенька-то бросил учење-то, – недовольно, осуждая перво-наперво религиозное мракобесие, проговорил воинствующий безбожник, ярый приверженец нового, научного мировоззрения, – и Нюрка бросила...

– Ученье – свет, – авторитетно подтвердил взявший из моих рук свои меховые варежки Фёдор Петрович.

– Свет... А сам во тьме пребываешь.

– Как это во тьме?

– В моленную ходишь?

– И ты ходил.

– Когда?

– Не так давно.

– Глуп был.

– А сейчас поумнел?

– Прозрел.

– Незаметно.

– Как это незаметно? – Егор Петрович схватил с подоконника отрёпанную книжицу и, сунув её в руки Фёдора Петровича, высокопарно изрёк:

– «Азбука коммунизма»\*!

– Постиг?

– Постигаю.

Мне думалось, что Фёдор Петрович ради какого-то спора решил навестить своего младшего брата, очень тревожное стояло время. Лозунги, призывы уничтожить кулака как класс настораживали, они вносили в устоявшуюся после провозглашения новой экономической политики (нэпа), размеренную жизнь села тревогу, сумятицу. Кто знает, кулак ты или не кулак? Своим трудом ты достиг относительного благополучия или при помощи наёмной силы, был ты эксплуататором или не был? Советское законодательство не запрещало наёмного труда, а раз так, оно не должно применять какие-то репрессии к работодателю. С начала 30-х годов в стране существовали биржи труда, были безработные. Сам Фёдор Петрович никогда никого не эксплуатировал, много-много лет он батрачил на нижегородских лесопромышленников, правда, лесопромышленники доверяли ему на своё усмотрение набирать чаще всего из того же Красного Осёлка рабочую силу (рабсилу): лесорубов, сплавщиков и иных сезонных подёнщиков. Следует сразу же сказать: Фёдор Петрович честно исполнял свои обязанности: был хорошим подрядчиком, хозяева всегда оставались довольными, не было жалоб и от рабсилы.

– Так кто же я? Кулак или не кулак? – спросил бывший подрядчик своего просвещенного брата.

– Кулак!

– Почему кулак?

– Потому что ты всю жизнь эксплуатируешь Матрёну Степановну...

Рано, очень рано познал я все перепетии классовой борьбы. Возможно, я расхожусь с общепринятым взглядом на события, которые взбудоражили наше село, наложили неизгладимый отпечаток на облик всей страны, но даже в малом я не могу разойтись с правдой. Ради правды я лишаю себя какого-либо вымысла, зная, что без вымысла любое литературное сочинение утрачивает крылья, приземленность, обыденность – удел фактографии.

– Пойду, – степенно проговорил Фёдор Петрович, он пожалел, что заглянул к своему братцу, хотел что-то уяснить, не уяснил. Да и что

---

\* «Азбука коммунизма» – брошюра Н.И. Бухарина, в своё время была весьма популярной в среде постигавших азы политграмоты городских и сельских активистов.

уяснять, когда власть на селе перешла в руки голодранцев, гольтепы, воинствующих безбожников.

Степенно принакрыл свои густые, с проседью, длинно отпущенные волосы боярской, отороченной лисьим мехом шапкой, запахнул крытую чёрным сукном, дорогую шубу, хотел было поклониться, но не поклонился, заслонивший красный угол портрет ещё не был обожествлён и не вызывал всеобщего поклонения.

Фёдор Петрович ушёл, ушёл не простившись, не сказав «до свидания», было видно, что он серьёзно озабочен своим социальным положением, конечно, он не замедлит войти в колхоз, ежели примут. А ведь могут и не принять, могут раскулачить...

– Ты буквы-то хоть знаешь? – обеспокоенный моим низким уровнем развития, спросил меня Егор Петрович.

– Божественные знаю.

– Божественные! А вот такие знаешь?

И перед моими глазами на картонном листе предстали иные буквы, иной алфавит.

– Учи.

И я выучил. И я благодарен Егору Петровичу за первые преподаваемые мне уроки.

## XVII

Зима с летом встретилась, Сретенье припело – почитаемый на всей Руси праздник и, надо полагать, языческого происхождения, на Сретенье телятся коровы, а те, что отелились раньше, радуют полными дойниками молоком.

– Жданка-то наша как гоже доить-то зачала, на две кринки прибавила, – не преминула сообщить, и не кому-нибудь – самому деду, Петру Матвейчу, умиленная парным молоком бабушка, Анисья Максимовна.

– Яшеньке налей, – приказывает дед, зная, что прихваченный им на постоялом дворе, по всем признакам сбившийся с пути человек не пользуется особым уважением со стороны Анисьи Максимовны, не получает того довольствия, какое полагается справному, здоровому мужику.

– Не приказывай!

– Кормить нады человека-то!

– Я кормлю.

– Плохо кормишь.

В «мирскую», никогда не убираемую со стола, хлебальную чашку бабушка опрокинула кринку, нет, не парного, парного пожалела, опрокинула вчерашнего, уже успешшего застояться молока и, ничего не сказав, упряталась в чулан, к печи.

– Довольсь, Яков, – проговорил дед, проговорил дружелюбно, стараясь как-то сгладить взятый на свою душу грех пожаднейшей старухи.

Кто он, что он, откуда он, этот обросший курчаво-золотыми волосами, отрёпанный человек, не знал сам дед, не было заведено, чтоб пытать человека, кто бы он ни был – накорми, напои, дай приют, дай угол.

А он, ухватив свой мешочек, неловко приблизился к краешку стола, неловко присел на скамью, присел не перекрестясь, не взглянув на божницу.

– Ложку подай! – опять приказывая, повышая голос проглаголил благодетель какого-то проходимца, может быть, хуже – тюремщика.

– Не надо мне, – простуженно прохрипел поднявший свой мешок, загадочный незнакомец.

– Как это не нады? Молоко-то горстями не хлебают.

– Мне бы стаканчик...

Дед не был дураком, он понял, для какой надобности потребовалась стеклянная посуда. Непричастный, за всю свою жизнь не прикоснувшийся к спиртному зелью, дед терпимо, а иногда – участливо воспринимал те или иные человеческие слабости, не терпел только кощунства над верой.

– Онисья! Стокан подай...

Анисья подала стакан, стакан наполнился шипающей в нос, вылитой из зеленоватой бутылки жидкостью, потом тот же стакан был торопливо опрокинут.

– А закусить-то не подала...

Закусить Анисья не подала, но Анисья соблазнилась уж больно чистой (как крещенская водица) жидкостью, пригубила преподнесённую загадочным незнакомцем сосульку, что хрустально позванивала в запертом на замочек комодe.

– Нады за огурцами сходить, – утирая подолом краплённого мелкими цветочками, кубового платья свои губы, пробаила Анисья Максимовна.

– Давно бы надо сходить.

– Молчал бы.

– Почему я должен молчать?

– Потому что ты лишенец.

Я уже знал, что такое лишенец, но я не знал, что этот человек по решению местных властей вот уже несколько месяцев ходит в лишенцах, он лишён права голоса, права присутствия на той или иной сходке.

– Старая дура, кто меня лишил, голодранцы! Какое они основание имели? Я супротив власти не выступал.

А «старая дура», она уже успела поставить на стол берестяной бурачок принесенных из погреба огурчиков.

– На улице-то благодать-то какая! Солнышко на снег легло, зиме рог шибло, – подсаживаясь к столу, пробаяла любительница крещенской водицы.

Солнышко на снег легло... Я видел из прогалины оттаявшего окна, как это солнышко лежало на подтаявших, закружевевших мятюжинах, видел, как оно восседало на заснеженных крышах, падало вниз головой – с сосулек.

Пожалуй, я никогда так не томился, не тосковал по улице, как в это Сретенье, ведь и мне хотелось встретиться с летом, с его теплом.

– Батя, дай мне свои валенки...

– Да ты в них утонешь, – урезонила меня моя бабушка, Анисья Максимовна, а батя-батенька – как он жалостив ко мне! – снял один валенок, потом другой и – сказал:

– Надевай.

Я стал надевать, надел, но не мог шагнуть ни одного шага – валенки великоваты, не по моим ногам.

Куда-то запропастилась мать, она всегда куда-то уходит, наверное, не хочет, чтобы я выклянчивал у нее её сапоги, её валенки.

Выручила бабушка, она предоставила мне свои – и не валенки – чёсанки с калошами.

– Только на лыжах не катайся.

– Ладно.

Сошёл с крыльца, заглянул в сколоченный дедом из берёзовых жёрдочек клеушок, в котором вот уже больше недели пребывал огненно-рыжий – со звёздочкой на лбу – бычок. Подрос. Посерьёзnel. Стоял степенно. Погладил по закурчавившейся шёрстке. Мыкнул бычок, должно быть, обрадовался... Хотел взглянуть на Жданку, Жданки не увидел.

Принято думать, что те же коровы, те же лошади равнодушны ко всему, что происходит в мире, скажем, какое дело той же Жданке до упавшей с крыши первой каплюжины, было бы сено, был бы кой-какой корм, а недавно купленной кобылице, что ей надо? Надо сена, овса, но ни овёс, ни сено не веселят понуро опущенных, прикрытых длинной чёлкой фиолетово заугрюмевших глаз.

– Тоскует, – так сказала мать ещё в первый день появления вороной полукровки на нашем дворе.

А вот Жданка, она не тоскует, она сама отворила воротца, она как угорелая выскочила на улицу и без дороги, по мятюгу, подбежала к смиренно стоящей у завалинки невзрачной комолой коровёнке. Обнюхались, что-то сказали друг дружке и, помотав головами, разошлись в разные стороны.

Сколько их, бурых, красных, чёрных, пёстрых, рогатых и комолых коровушек вышло на улицу, гуляют, справляют свой праздник...

– В палку-закидалку будешь играть? – спрашивает меня Володя Сабурин, мой сверстник, мой ровесник.

– Буду, – не задумываясь, своему сверстнику, своему ровеснику.

Саня Туманин, Еня Филиппов, Саня Филинов (внук Петра Степановича Филинова), все годки, все подходят к палке-закидалке, берут её в руки, перебирают – снизу вверх – руками, я тоже перебираю, я покрываю своей рукой косо обрубленный конец. А это значит: я должен «водить» – бежать за далеко закинутой палкой, потом искать спрятавшихся по задворьям товарищей.

Увлекательная игра, иной игры моё сельское мальчишество не знало, мало знало моё сельское мальчишество и каких-либо сладостей, ну хотя бы леденцов (ландрина), играя в палку-закидалку, я досыта лакомился свисающими с крыш сосульками. Сосульки – они те же леденцы, только кашель опосля одолевал... А податливый, зажатый в горсти снег, он – как мороженое. Впрочем, я в своём мальчишестве не видел мороженого, увидел в иную пору, в иные годы.

– Санька! Санька! – по голосу узнаю: кричит мать Сани Туманина, Наталья, я знаю, почему она кричит, и с великой жалостью смотрю на своего товарища.

Товарищу предстоит расставание с теми тропками, которые мы промяли по засугробленным задворкам, его родители уходят на удельную землю, это в пяти верстах от Красного Осёлка, пообочь большой дороги уже поставлены бревенчатые избы, поставил такую избу и Иван Фёдорович Туманин, отец Саньки.

– Побьёт тебя отец-то! – не унимался, приближался к нашей палке-закидалке хорошо слышный, дрожащий голос.

– Полезай в пелёду, – говорили мы своему товарищу.

Санька залезает в ещё не оттаявшую за тонкими ореховыми пелединами солому, укрывает себя этой соломой, а мы пристально наблюдаем за Санькиной матерью, за её чёрными, в глубоких калошах чёсанками.

Помнится, нам удалось на целую неделю оттянуть отъезд своего дружка-товарища...

Возвратился домой и – не увидел на правом чёсанке калошины.  
Боже мой, что я скажу бабушке?

Мигом, не говоря ни слова, вылетаю на улицу, ищу свои следы, иду по своим следам, нахожу теперь уже никому не нужную палку-закидалку и не нахожу – калошины.

Опускалось, пряталось за дворы большое, как бы глядящее во все глаза солнце, начало примораживать, плачущая своими сосульками зима почала настеть, не проваливаясь, я ходил по сугробинам, я заглядывал, как в колодец, в каждую ямину оставленного моими (и не моими) ногами следа. Мычали коровы – расходились по своим дворам. Я закружился, умаял себя напрасными поисками, а тут ещё яблони, ах, как рано они учуяли весну, набух пучок\*, ожили, зарозовели, но больше всего зарозовела верба, она уже кажет серебряные коготки... Пьянящ, одуряющ тронутый первыми оттепелями февраль, он дурманит своей брагой. Чирикают, неумолчно галдят воробьи – нахлебались, может, из моего следа, а может, из бабушкиной утерянной калошины.

Иду не к своему приступку, не к своему крыльцу – иду к приступку пятистенного дома, в правой половине этого дома живёт Еня Филиппов, самый тихий из всех моих товарищей.

– Что топчешься на пороге-то? Проходи вперёд, – гостеприимно говорит мне Дмитрий Фёдорыч, отец моего тихого товарища.

Я робко-робко ступаю по разостланному – от стола до порога – половику.

– А Евгений где? – спрашиваю Дмитрия Фёдорыча, маленького, с рыжеватой бородкой мужичка.

– Он на печи.

Лезу и я на печь.

– Полезай. Полезай, – подбадривает меня Дмитрий Фёдорыч.

– Давай загадывать загадки, – это Евгений, это он предлагает и скороговоркой начинает загадывать.

Еду-еду,  
Следу нету,  
Рублю-рублю,  
Щепок нету.

Я быстро отгадываю – плывущая на вёслах лодка.

Лежит брус  
На всю Русь,  
В этом бресе  
Двенадцать гнёзд,  
В каждом гнезде  
По двенадцать яиц,  
В каждом яйце  
По двенадцать цыплят.

Задумываюсь, смотрю на полати, на их брус, но не нахожу подобия ни в бресе, ни в досках полатей. Отец Евгения, Дмитрий Фёдорыч показывает на матицу, я быстро соображаю, скоропалительно говорю – матица.

– Тебе тятя подсказал, – урезонивает меня мой друг, мой товарищ.

\* Пучок – почки, предвещающие урожай яблок, не срезанная пилочкой-ножовкой молодь.

Два стоят,  
Два лежат,  
Пятый ходит,  
Шестой водит,  
Седьмой песенки поёт.

Дмитрий Фёдорыч показывает на дверь, я нарочно медлю с ответом, я соображаю, и на удивление своего товарища сообразил – дверь. Приспела моя очередь загадывать.

Не подойдешь – не поклонится,  
Руки не подашь – рыло отворотит,  
Подашь руку,  
Омолодит старуху,  
Одарит старика  
Ранним утречком.

– Рукомойник! – радостно восклицает мой товарищ, восклицает как раз тогда, когда в дверях возле рукомойника совсем неслышно появился сторонний человек, перекрестясь, он проговорил:

– Добрые люди, пустите Христа ради, перекоротать ночь.

– Милости просим, – отозвался Дмитрий Фёдорыч, отозвался так, что опущенные под ноги глаза приподнялись, показали своё обрадованное февральской оттепелью небо.

Выглянула из запечья Марья Степановна – мать моего товарища, друга, отирая о холст застиранного запона свои руки, она ласково запела:

– Котому-то на крючок повесь.

– Повешу, мамаша, повешу.

– Ноги-то не замочил?

– Замочил.

– Как не замочить! Ботиночки-то больно хлюпки.

– Ещё дореволюционного производства.

– Енюшка, скинь валенки, – попросила Марья Степановна своего сына.

– Вот эти?

– Эти, эти!

Об пол тупо стукнулись старые, давно подшитые валенки.

– Надевай.

– Премного благодарствую, – проговорил попросившийся скоротать ночь, неведомо откуда явившийся человек. Он снял свои разбухшие от мокрого снега ботинки и, надев валенки, устало припал на скамью.

День сравнялся с ночью, во многих избах не зажигали огня, ужинали засветло, поужинав, ложились спать. Берегли керосин. У Марии Степановны свет еженочно горел до первых, а иногда и до вторых петухов, я частенько глядел на этот свет из окна своего полудомка и – завидовал. Ах, как было бы здорово, если бы и наши семилинейные лампы бодрствовали до петухов, до двенадцатого, гулко падающего с плечистой, высоко вознесённой колокольни часа! Впрочем, я не собирался домой, потеряв бабушкину калошину, я как бы навсегда лишился родного очага, сию на чужих кирпичках, на чужой печи.

– Садитесь ужинать, – проговорила Марья Степановна и стала накрывать на стол.

Марья Степановна знала, что я за мирской стол не сяду, поэтому подала мне на печь огромный кусище дроблёны, подала на листе бумаги,

дескать, не бойся, не обмирчишься. Такого уважения к иной вере я не встречал, отцы и матери многих моих мирских товарищей всячески старались «обмирчить» меня, спасала самоварная заглушка.

Дмитрий Фёдорыч очень желал покалякать со сторонним человеком, но во время принятия пищи – калякать грешно, покалякал за самоваром. И – удивился, как мало знают обитатели того же Красного Осёлка о том, что творится на белом свете.

А творится небывалое, творится такое, что не может не будоражить всей страны, всей России.

– Вы что-нибудь о съезде партии большевиков слышали? – спросил Дмитрия Фёдорыча сторонний человек.

– Мы слыхали, что колхозы надвигаются.

– Колхозы само собой, колхозов бояться не следует.

– Как это не бояться колхозов, под одним одеялом мы спать не собираемся, – вмешалась в разговор Марья Степановна, она посмотрела на старенькое лоскутное одеяло, что прикрывало деревянную, с круглыми шишечками кровать.

– Иосиф Виссарионович Сталин много говорит о классовой борьбе, что классовая борьба при построении социализма будет всё больше обостряться.

– А как понимать этот социализм? – осведомился Дмитрий Фёдорыч, не на шутку заинтересованный неожиданно завязавшимся разговором.

– Социализм – товарищество, объединение.

– Так мы не супротив объединений, я сам стою за объединения. А за большевиков я ещё при Керенском, когда под Иван-городом на позициях стоял, голос свой отдал.

– А вы что делаете? – этот вопрос был задан мне и Евгению, задал его допивающий свою чашку чая, совсем не похожий на нищего, любопытный товарищ.

– Буквы учимся писать.

Товарищ вынул из кармана ручку-самописку (такой ручки я не видел) и на листе бумаги написал: Karl Marx...

– Можете прочитать?

Мы замотали головами.

– Карл Маркс.

Кто такой Карл Маркс мы ещё не знали.

– Скоро узнаете, – так сказал непохожий на нищего, уклавшийся на полу, любопытный, по обличью не такой уж старый человек.

## XVIII

Больше недели не выходил я на улицу, сидел дома, быстро освоился с русской азбукой, дед радовался. Ещё бы! Внук сумел постичь буквицы гражданского письма, того письма, которое самому Петру Матвейчу так и не далось.

Странное дело: приверженец древлего благочестия, старовер, дед мой благоговел перед теми, кто самоуком выходил в люди, кто постигал премудрость печатного слова, тут есть какое-то сходство с весьма заметными в российском государстве выходцами из неимущего сословия людьми, с Морозовыми, Бугровыми, Рябушинскими, кстати, все они были приверженцами древлего благочестия, староверами.

– Онисья, послушай-ка.

– Что мне слушать-то! Он калошину мою потерял...

– Забудь ты свою калошину.

– Забудь! Гоже тебе баить-то, а мне на улицу не в чем выйти, распутица скоро.

– Куплю я тебе калоши.

– Купишь. Дождидайся.

Дед привстал из-за стола, потянулся к божнице, вынул из божницы и положил передо мною залистанную тетрадь, писанную уставом.

– «О трёх исповедниках слово плачевное», – прочитал я первые, крупно выведенные чёрными чернилами слова.

– Онисься, слушай.

– «В лето быша три исповедницы, жёны-болярони: Глебовская жена Ивановича Морозова Федосья Прокопьевна, во инокинях Феодорасхимница, и сестра ей бе, нарицаемая княгиня Урусова, Евдокея Прокопьевна, с ними же дворянская жена Акинфея Ивановича Данилова Мария Герасимовна. Беша бо Феодосья и Евдокея дщери мне духовные, иместа бо от юности житие воздержное и на всяк день пение церковное и келейное правило. Прилежаще бо Феодосья и книжному чтению и черплюще глубину разума от источника словес евангельских и апостольских. Бысть же жена веселообразная и любовная».

– Отдохни.

Я оторвался от тетради, глянул на деда, дед был в умилении.

– Читать дальше?

– Чти.

– «Звезда утренняя, зело рано воссиявающая! Увы, други моя сердечная! Кто подобен вам на сем свете, разве в будущем святые ангели! Увы, светы мои, кому уподоблю вас? Подобни есте магниту камению, влекущу к естеству своему всяко железное. Тако же и вы своим страданием влекуще всяку душу железную в древнее православие. Исуше трава, и цвет ея отпаде, глагол же Господен пребывает во веки. Увы мне, увы мне, печаль и радость моя всажденная три камня в небо церковное и на поднебесной блещашеся! Аще телеса ваша и обесчещена, но душа ваша в лоне Авраама, и Исаака, и Иякова.

Увы мне, осиротевшему! Оставиша мя чада зверям на снадение! Молите милостивого Бога, да и меня не лишит части избранных своих! Увы, детоньки, скончавшиися в преисподнях земли! Яко Давид вопию о Сауле царе: горы Гельвульския, пролиявшия кровь любимых моих, да не снидет на вас дождь, ниже изльется роса небесная, ниже воспоеет на вас птица воздушная, яко пожерли телеса моих возлюбленных! Увы, светы мои, зерна пшеничная, зашедшия под землю. Яко в весну прозябшия, на воскресение светло усящу вас! Кто даст главе моей воду и источник слез, да плачу друзьям моих?»

– Что-нибудь уразумела? – подобрев и просветлев лицом, спросил Пётр Матвейч свою Анисью Максимовну, когда я кончил чтение, когда к моей голове благодарно прикоснулась увядшая, как прошлогодний лист, сморщенная ладонь.

– А ты-то уразумел?

– Как мне не уразуметь! Я ведь всё сочинение протопопы Аввакума прочёл, житие его с молодых лет знал, гонения перетерпел.

– Какие это гонения?

– Как какие! Никониане нас не жаловали, в Сибирь гнали, в острог сажали.

– Тебя-то не сажали.

– Меня-то не сажали, а родителя моего в узилище сгноили. А что раньше-то было, и сказать немислимо. Сам Никон патриарх языки резал, в землю живым зарывал. Люди самосожжению предавались, дабы уйти от сатанинского поругания.

Я устранился и от только что прочитанной тетради, и от разговора деда с бабушкой, я встал на скамью, всем существом своим прилип к незапележенной прогалине оттаявшего окна, я видел, как валил снег, снег этот большими хлопьями опускался на развесистые ветви наклонённой к Сабуриному двору берёзы, белой попоной накрыл впряжённую в сани-розвальни лошадёнку. Потянуло на улицу, потянуло так, что я чуть не заплакал, но на ногах моих одни носки, да и те с протёртыми пятками...

Хочу, чтоб скорей возвратился отец, скорей подшил мои валенки.

– Снег идёт? – спрашивает дед, спрашивает так, как будто я только что возвратился с улицы.

– Валом валит, – отвечает за меня приседающая на донце острозубого гребня пасмурневшая бабушка.

Вряд ли кто может сказать, когда, в какие веки вытесали человеческие руки из берёзового кругляка то, что по-русски принято именовать гребнем, прядильный гребень, не больно-то мудрящ сей предмет, но без него нельзя обойтись. Можно предположить, без него не обходилась княгиня Ольга, было время, и княгини тянули шерстяную или льняную нить из расчёсанной на острозубом гребне кудели, мочки, как баяла моя мать, что опять где-то запропастилась, знать, по шабрам блондит...

А она легка на помине, мать моя, не успев закрыть за собой дверь, сразу ошарашила ужасающей новостью:

– Василия Коржиманова убили...

– Кто убил? – не веря словам матери, осведомился не утративший привычного спокойствия дед.

– Говорят, Пест.

Пест – это прозвище длинного, всегда исподлобья посматривающего мужика, жил он в конце, плотничал, вязал рамы, вырезал оконные наличники.

– За что убил-то?

– Ни за что, пьяный был.

– Пьяные песни поют, людей зазря не убивают. Значит, чем-то досадил.

– Да ты что, ты бы постыдился так говорить, – напустилась из своего запечья на дедово умозаключение ошарашенная нелепой смертью Ани-сья Максимовна, – ты же знаешь, – продолжала она, – какой человек Василий-то был, он мухи за всю свою жизнь не обидел, а уж с людьми-то какой ласковый был! Сколько лет прошло, а я не забыла, гоже помню, как он на войну-то уходил, вместе с Григорием в воинское присутствие заявился, Григорию-то отсрочку дали, а его забрали. «Прощай, Онисья!» – сказал и отворотился, слёз своих не хотел казать...

Дед молчит. Всякая смерть омрачает самый светлый день, и кажется, не снегопад – белый саван кроет притихшую улицу, застилает избитую конскими подковами дорогу.

– Заяц-то твой жив? – глянув под кровать, спросила меня примирённая со всеми превратностями жизни, подобревшая мать.

Три раза на дню кормил я своего зайца прибережённой на зиму морковкой, капусткой, а иногда – брюквой. Заяц не брезговал – уплетал за обе щеки...

– Жив! – радостно воскликнул я, когда слазил под кровать и убедился, что косоглазый огородник особо не тяготится своим узилищем, своим сколоченным из кровельных досок ящиком.

– Унеси.

– Куда?

– В лес.

Не ожидал я такого сочувствия, мать, как мне казалось, равнодушна к судьбе своих четвероногих сородичей, она сама не раз говорила, что не любит ни собак, ни кошек, а тут заяц, проявила к зайцу своё участие.

– На, надевай валенки и неси.

От валенок я не мог отказаться, но с зайцем расставаться не хотелось. Вытащил из ящика, взял за длинные уши, ах, косоглазый огородник, как он перетрусил и, перетрусив, как бы покорился своей участи, присмирел. Так бывает не только с зайцами, бывает так с волками, с дикими кабанами, бывает и с людьми.

Двигаюсь по огороду давней, заваленной не переставшим снегопадом лыжне, чувствую на своих губах молоко небесной коровы, оно, многоструйно цедясь, белопенно кипит под отногами еще не оклемавшихся от мороза яблонь.

– Сиди смирно, – говорю засунутому за пазуху огороднику, придерживаю его обеими руками.

Не хочет сидеть смирно, учуял если не яблони, так свои следы, что оставил возле замятуженных присадков, брыкается косоглазый, сучит своими задними лапами. Возле овина, до крыши заваленного наметёнными за зиму сугробами, я вытащил косоглазого из-за пазухи, крикнув:

– Беги!

Косоглазый, привстав на задние лапы, вытянулся, подался всем своим существом к обозначившемуся зелёню сосновой хвои Ближнему врагу. Не знал, не ведал косоглазый, что он бежал навстречь своей смерти, с опушки Ближнего врага грохнул выстрел, грохнул глухо, но сидящая на крыше овина сорока услышала выстрел, застрекотала, рассыпала свою дробь по снежному полю, по снежной замяти.

Я знал, что в Красном Осёлке ружье было только у лесника, у Агеева Александра, лесник был крив, может, потому-то и стрелял так метко – заяц был сражён с одного выстрела и не в упор, на весьма почтенном расстоянии. И что удивило меня: лесник даже не прикоснулся, ни приподнял за длинные уши наповал сражённого огородника, он даже не поглядел на только что пролитую кровь, на широких лыжах, с закинутой за спину двустволкой упрямо двигался к ветряной мельнице.

Кстати, о мельницах: на прилегающем к загумённым овинам поле стояли три ветряные мельницы, одна из них принадлежала Петру Матвейчу, моему деду.

Мельница деда стояла бескрылой, когда, в какую зиму или лето она обескрылила, я не знаю, возможно, до моего рождения, по крайней мере в моей памяти не запечатлелось ничего такого, что могло бы зримо предстать передо мной если не крыльями, так крутящимися жерновами, камнями, как у нас говорят, воссоздавая, возможно, в излишних подробностях давно ушедший быт своей отчины, я не могу хотя бы кратко что-то поведать о дедовой мельнице, скажу только одно: её бескрылость меня пугала, пугала так, как может пугать убитая птица или лишившийся обеих рук человек.

Домой возвратился по сумеречи, видел, как, закатываясь, круглилось своим непомерно увеличившимся ликом багряно рдеющее солн-

це, не мог не видеть только что явленного на свет, похожего на заячью слезу, остро светящегося месяца, даже когда я сидел на тёплых кирпичках печи, этот месяц грустно слезился в мою, пришибленную неожиданно грохнувшим выстрелом, чутко настороженную душу.

## XIX

Я уже слышал, как звонит колокол по усопшему, слышал в Великовском, а ещё раньше – в моём незабвенном Красном Осёлке. Бывал я на кладбище, на нашем староверском кладбище. На мирском не был, хоть и проходил чуть ли не каждодневно мимо его ограды. Батя-батенька, пороча никониян, щепотников, равнодушно взирая на великолепие кирпичного капища (мирской церкви), насколько помнится, не сказал ни одного худого слова о тех, кто обрёл вечный покой, больше того, он мог подолгу грустить над любой, даже не осенённой крестом могилой. Не раздражал и колокольный звон, колокольный плач, что слезился за кондовыми стенами нашего полудомка.

– Ты пойдёшь? – неожиданно обратилась ко мне обутая в ещё необновлённые чёсанки опечаленная мать.

Я не предполагал, что моя родительница надумала взять меня на похороны, поэтому спросил:

– Куды?

– Василья Коржиманова коронить.

Не знаю, худо ли, не так уж худо, когда твоё мальчишество омрачено не одним колокольным, медно всхлипывающим плачем, но и вербно пролившейся слезой убитых тяжёлым горем близких соседей, близких твоему дыханию людей.

– Марья, ты собралась? – не входя в избу, из приоткрытой двери спросила одетая в плюшевую курточку Анюша-Анюшенька, та самая Анюша, что так весело притопывала на бабушкиных именинах.

– В избу заходи, – встав со скамьи, попросила резвую плясунью моя мать, моя родительница.

– Что заходить-то, – закрывая за собой дверь, с источенного кошачьими когтями порога грустно промолвила вроде не подверженная превратностям жизни, неунывающая бабёнка.

– Присядь, Анюшенька. Посиди. Послушай, что скажу тебе, – мать моя усаживает Анюшу-Анюшеньку на придвинутый к её ногам табурет да и сама приседает, а присев, начинает повествовать, рассказывать такие ужаси, каких и во сне не увидишь. – Думаю, проститься нады с Василием-то, ты знаешь, какой человек-ат он был, слова худого от него никто не слышал. Пошла. Переступила порог. Хотела перекреститься. Не перекрестилась. Чужих людей увидела, сперва одного мужика, а опосля двух баб, все в белых колпаках, в белых халатах. На докторов похожи. Меня оне и не заметили. Да, забыла сказать: на мужиках-та белый намордник был. Попытала: кто это? Что это? А это Василья взрезать приехали. Набралась смелости, в горницу прошла. И – обмерла. Василья растелешенного увидела. На скамье лежал с взрезанным брюхом. Анюшенька, милая моя, взяла я на себя великий грех...

– Какой это грех? – не утерпела, спросила Анюша-Анюшенька и, замороженная необычным повествованием, надолго присмирела.

– А вот какой грех... Мне бы домой нады уйти, а я глаза шире рта разинула. «Любопытство разобрало», – процедил сквозь свой намордник

вроде бы и не сердитый, но не больно словоохотливый – кто он? – доктор не доктор. Может, мясник какой. «Гляди», – говорит мне. А сам резиновыми руками в брюхо полез, кишки стал вынимать. А кишки-то светлые-светлые, как снежница, как ручьи по весне. Потом ножик взял, какой-то не такой, чудной какой-то. На пилу похожий. Грудь стал потрошить. И поверь мне, Анюшенька, – сердце из человека вынул. А сердце-то – как анисовое яблоко, только уж больно большое. Сперва на одной руке держал. Не удержал. Другую руку подставил, на двух руках, на двух ладонях стал держать. «Доброе, большое сердце носил в себе человек», – так сказал накрытый белым колпаком – кто он? – доктор не доктор, но и не мясник. Мяснику всё равно, какое оно, сердце-то, доброе али недоброе, большое али маленькое...

Пошли, Анюшенька, а то без нас схоронят.

Недалеко, всего через два дома, на той же стороне, на том же порядке, что и наш полудомок, стояла изба Василия Коржиманова, пригорюнился заваленный снегом невеликий двор.

Присел на задницу, скатился с боковой, круто положенной, скользкой-скользкой доски шаткого моста, его ступенчатой лесенки. Вознамерился взять с собой салазки. Мать не дала взять, сердито крикнула:

– Не бери!..

Закрытая дверь принакрытого снегом крыльца, вздрогнул от внезапно ударившего похоронного колокола, а может, от упавшей за шиворот капли, той капли, что долго холодила мою спину.

– Красно-то как! – не утерпела, проговорила, воззрясь на высоко взошедшее солнце, моя родительница, она и сама выглядела празднично: ещё не надёванные, бережённые чёсанки, а на них блестящие, без единой царапинки калоши, разлетайка, тоже новая, возможно, купленная, а возможно – сшитая пришлыми швецами. Но больше всего меня удивила шаль, шерстяная, с длинными, как у одеяла, концами, с кистями, с белыми – в клетку – полосами.

Вылез из подворотни, кукарекнул во всё горло петух, наверно, обрадовался упавшей под ноги каплюжине.

– Тепло учуял, – глянув на петуха, проговорила Анюша-Анюшенька. И – перекрестилась...

Сорвался с колокольни ещё один удар похоронного колокола. Влажно прогудел над подтаявшими сугробами зачерствевшего за зиму, синеватого снега. По красной стороне почти у каждого двора смирно стояли коровы. Я увидел свою Жданку, её настороженные уши, а уши её как желтые vareжки на руках барыни, да и сама-то она – как барыня. А и впрямь – как барыня! Красной, огненной масти с длинной репицей низко свисающего хвоста, с рогами, похожими на пасхальный калачик, с белым-белым выменем.

– Наша корова, – проговорил я, останавливаясь на протоптанной в глубоком снегу, оледенелой тропинке.

Мать не обратила внимания на мои слова, не глянула она и на корову, она почему-то запрокидывала голову, взирала на небо. А небо – без единого облачка – обретало утраченную за зиму, пока ещё жидкую, но всё же заметную синеву.

Возле двора покойного ратника стояли знакомые и незнакомые мне люди, больше бабы. Они яро осуждали убийцу.

– Убить человека... Да как рука-то поднялась?

– Детей осиротил...

– Судить нады.

– Суди не суди, ряди не ряди – человека-то не воротишь...

Я не задержался возле двора, мне хотелось протиснуться в избу, взглянуть на большое анисовое яблоко, на снежницу, на её светлые-светлые ручки... Не взглянул. В передней избе\* на продольной лавке, головой к божнице, к её горестно слезящейся своим огоньком лампаде, покоился в дощатом, смолисто пахнущем просторном гробу, лежал со сложенными на груди руками дядя Вася, Василий Андреевич, лежал как живой. Только глаза прикрыты. Как будто спал.

Заволновался народ, кто-то отодвинул меня от гроба...

– Священник пришёл.

– Проходи, отец Анатолий.

– Пройду. Пройду.

Слова эти заворожили, хотелось взглянуть на отца Анатолия, близко его не видел.

Я лицезрел, каждодневно озираю распятие Иисуса Христа на иконах древнего письма. Облик Спасителя выглядел угрюмо, немощно, потому страшил, будто ведал все содеянные грехи. Совсем другой облик являли иконы позднего никонианского письма. Симон Ушаков одарил русскую православную церковь иными ликами – они предстали во плоти, даже великомученики и те не были так худы, так немощны, как их привыкли представлять ревнители древнего благочестия.

Отец Анатолий, в чёрной митре, в чёрной епитрахили, с большим, может, медным, а может, золотым крестом на груди, вплотную придвинулся к убиенному. Попросил уголёк, кому-то дал «расшевелить» свою кадильницу, положил в неё несколько щепотей пахучего ладана.

Лицо убиенного озарилось светом ровно горящих в изголовье гроба свечей.

– Со святыми упокой раба Твоего, – пропел грудной, удивительно жалостливый голос.

Я видел, как светились чистые, как каплюжины, слёзы молящихся людей. Но не слёзы, не они удерживали меня неподалёку от гроба, я дивовался отцом Анатолием, по своему обличию он был схож с обликом Спасителя, те же золотые кудри, золотая борода и глаза небесной, незабудковой голубизны.

Не знаю, как я очутился – впервые – в церкви, не знаю, куда подевалась мать, знаю только, как поразило меня никогда не виданное мной великолепие, внутреннее убранство царственно вознесённого на темя высокой горы чуждого мне храма. Глаза мои не могли с одного раза вобрать роскошь золотящихся кружевными окладами икон. А сколько витых, тоже золотящихся столбов! Но больше всего поразило меня свод увиденного великолепия, его купол, весь в звёздах, а среди звёзд летящий Бог Саваоф и архангелы с приложенными к губам трубами. Они возвещали сошествие на грешную землю Вседержителя, Пантократора, как его именуют греческие богословы.

Пожалуй, я бы не оторвался и от летящего Бога Саваофа, и от трубящих архангелов, если б не услышал заворачивающий голос, нет, не голос – глас отца Анатолия.

Хочу оговориться: в свои неполные семь лет я не мог запомнить обращённого к провожающим в последний путь раба Божия Василия вдохновенно сказанного слова, но в моей памяти сохранился смысл

\* Передней в Нижегородском приволжье зовут ту часть избы, которая выходит своими окнами на улицу.

этого слова, его суть, да и сам склад не выветрился из головы, он до сих пор волхвует ещё неразгаданными тайнами.

«И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, на брата своего и убил его».

Совершилось первое на земле убийство: брат убил брата. Милостив Господь, он не покарал убийцу, он сказал только: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем. И пошёл Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема».

Милостив Господь, но милость не пошла впрок. Множась, расходясь по лицу земли, впавшие в грех люди не перестали убивать друг друга. Книги Ветхого Завета повествуют, как те же люди перековывали орала на мечи, как один род восставал на другой род, как бесновались, старались утвердить себя в неистовом умопомешательстве многие языки, а паче всего их предводители, облечённые в царские одежды, взявшие в свои руки жезл правления, скипетр ничем не ограниченной власти.

Свидетельствует Книга Судей: «Через несколько времени Аммонитяне пошли войною на Израиля. Старейшины галаадские сказали Иефаю: для того мы пришли к тебе, чтобы ты пошёл теперь с нами и сразился с Аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских».

Начальники, все они, во все времена пребывали во вражде друг к другу, не жаловали они и тех, кто призвал их, возвысил над собой. Возвысившийся не узрит униженного, не услышит возвысившийся, как ропщет камыш, стоящий по шею в холоде потемневшей воды. Коршун не ведаёт печали воробья, дерево не ощущает боли поваленной косою луговой травы. Парящий по небу безучастен к влачащему себя по грешной земле. Из одного железа куются орало и меч, но не орало, меч вершит судьбы, и не только отдельно взятых людей – купно возвышает или унижает целые царства-государства. Бывает и так: от высоко поднятого меча исчезают многие языки.

Свидетельствует первая Книга Царств: «И собрались Филистимляне на войну против Израиля: тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря; и пришли, и расположились станом в Михмасае с восточной стороны Беф-Авена...»

А вот что говорит вторая Книга Царств: «И сказал ему Давид: что произошло? расскажи мне. И тот сказал: народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул и сын его Ионафан».

Да, бывает, когда сами предводители становятся жертвой поднятого меча, но на протяжении всего жития, пребывания человека на земле не было такого случая, чтоб победитель протянул руку побеждённому. Возвысившийся не унижится, гора не может стать низиной, дерево не станет травой...

Отец Анатолий приумолк, опустил долу опечаленные глаза, прикрыл их длинными ресницами, могло показаться: что-то забыл... Нет, не забыл отец Анатолий, как в иное, совсем в недавнее время раздавшийся в Сараеве выстрел возвестил о всесветной бойне, о небывалом смертоубийстве, народы, некогда воспринявшие учение Христа, изо дня в день на протяжении четырёх лет истребляли самих себя.

– Великое испытание выпало русскому народу. Незлобивый по своему характеру народ по воле правителей был ввергнут в пучину небывалого кровопролития. Мазурские озёра, предгорья Карпат, скорбные очи Речи

Посполитой, сиречь Польского царства зрили невероятные страдания русского ратника. Кто знает, кто скажет, сколько жизней уложено на полях всесветного убоя? Никто не знает, никто не скажет. Только Господь, только он один может поведать, может сказать, он призывает помянуть всех убиенных... Да воссияют их души во мраке непроглядной ночи.

Ночь посреде дня надвигается. И не надвигается – уже надвинулась, произошло затмение человеческого ума, помутился человеческий разум.

Повествует книга Бытия: «Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнём, построим себе город и башни, высоту до небес...»

Забыли люди, что выше себя им не подняться, что их удел – возделывать землю, растить свой хлеб, гордыня обуяла помрачённый дьявольским зельем разум жестоко обманутых людей.

Нет пророка в своём отечестве, пророк пришёл из иной земли, он возвестил о призраке... Не удивляйтесь, призрак этот схож с Вавилонской башней, он уже возвысился, поднялся в небо, он громогласно вострубил, что Бога нет. А ежели нет Бога – всё возможно, всё дозволено.

Многим ведомо, что русские и немецкие солдаты даже через колючую проволоку подавали друг другу руки, братались, но когда штыки были повернуты в иную сторону, когда по призыву новоявленных смутьянов весь накопившийся гнев был обрушен на голову какого-нибудь прапорщика или поручика, тогда не было явлено никакого братания, никакого милосердия, ибо тот же прапорщик, тот же поручик оставались верными данной присяге. «Мир хижинам, война дворцам!» И война располыхалась, безрассудно беспощадная, она именовалась справедливой... Справедливых войн никогда не было и не могло быть, как не может быть справедливого убийства, всякое убийство несправедливо. Не убий – заповедал наш Спаситель.

Забвение заповедей Спасителя привело к всесветному кровопролитию, к межусобной смуте, к падению сотворённого для любви человека, к потере души. Имеющий душу не поднимет руку на своего собрата, не лишит дыхания выпавшего из гнезда неразумного птенца.

Над прахом убиенного, над его прикрытым сомкнутыми веждами, непробудным сном не могу не поведать, что грядёт, что уже видится и не только видится – слышится приближение железно громящей колесницы.

Имеющий уши да услышит!

Имеющий очи узрит – и не призрак, не тень от парящего облака – во плоти и в силе движущегося Левиафана, звероподобное чудовище.

«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его» – так говорит, так повествует в своём Откровении Иоанн Богослов, что был сослан на остров Патмос «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа».

За слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа ссылают и не только ссылают, лишают живота и в наше смутное время. Воспринявшая от византийских вероучителей свет дивно воссиявшей истины земля наша, наша держава стала святой. Святая Русь, о тебе, о вере твоей лью скорбь свою, печаль свою, вопиющими слезами исходит душа, нет

и не будет утешения до тех пор, пока имеющие начертание зверя не устроятся самих себя, пока возводимая до небес Башня не рухнет, не превратится в наглядное назидание всем обитающим на земле здравомыслящим людям. Башня рухнет, не попустит Господь...

Тебе молюсь, к тебе взываю, Господи, не дай загубить выпавшего из гнезда, неразумного птенца!..

Ударил колокол, к опущенному на катафалк гробу придвинулись бороды хорошо знакомых мужиков, наших шабров. Я побаивался, что они могут сердито глянуть на меня, кто тебя, кулугура, позвал под купола мирской обители? Никто не глянул, никто не заметил моего засунутого за пазуху малахая.

– Да воскреснет Бог и расточатся врази его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, – слова эти удивили меня, их каждодневно произносил мой батя-батенька, произносились они и в моленной. Неожиданно для себя я постиг ещё одну истину: все мы величали одного Бога, возносили ему одни и те же молитвы.

– Яко исчезает дым, да исчезнет: яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешники от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом, да наслаются в веселии!..

По всей округе, по всему Нижегородскому Приволжью шла молва о громогласии Николая Быкова, дьякона Красносельской церкви, и я услышал это громогласие, оно сразу заглушило пропетые отцом Анатолием псалмы.

– Со святыми упокой, – возгремел чернобородый, диковато взорвавшийся на всполощенные огни свечей, похожий на былинного богатыря дьякон.

– Прости убиенного раба твоего, Господи! – жалостливо, как тающий воск, прослезились бабьи голоса, бабьи вздохи.

Послышался ещё один удар похоронного колокола, погасли непогашенные возгремевшим дьяконом свечи, легли на плечи бородатых мужиков поручни катафалка.

Наполненная неизбывной печалью церковь стала пустеть, люди устремились к вырытой у кладбищенской ограды свежей могиле, только неведомые мне старухи остались под церковными куполами, они, крестясь и вздыхая, стояли перед ликами святых великомучеников. Я тоже придержал себя, хотелось пристально оглядеть никогда не виданное мной убранство мирской обители. Пожалуй, я бы долго тешил свои глаза кружевной позолотой, но – какой ужас! – неожиданно наткнулся на человеческий череп, он глядел на меня пустыми глазницами, он чуть не ухватил меня оскалом своих зубов. Стремглав устремился к выходу, к окованной тяжелым железом двери. Не помню, как очутился у своего крыльца, но и у крыльца виделся прилипший к подножью увенчанного терниями Распятия человеческий череп, виделись его пустые глазницы, его оскаленные зубы...

*Окончание в следующем номере*

**Евгений СЕМИЧЕВ**

Родился в 1952 году в Новокуйбышевске, Самарская область. Окончил Куйбышевский государственный институт культуры и Высшие литературные курсы при Литинституте имени А.М. Горького. Преподавал в Самаре, был директором Новокуйбышевского Дворца культуры.

Автор десяти поэтических книг, а также многочисленных публикаций в периодических изданиях России и зарубежья. Лауреат премий имени М.Ю. Лермонтова, Александра Невского, премии «Новая русская книга – 2002», Большой литературной премии России.

Секретарь правления Союза писателей России. Живёт в Новокуйбышевске.

**В ДУШЕ МОЕЙ СНЕЖНАЯ ТЬМА...**

\* \* \*

В небе вольные птицы  
Рассекают простор.  
В белой Божьей рубахе  
Софийский собор.

С покаянною дрожью  
На молитву встаю.  
Мне за пазухой Божьей  
Хорошо, как в раю.

В жизни брэнной и тяжкой  
До скончания лет  
Всем нам служит рубашкой  
Божий праведный свет.

На пиру и на плахе  
Русский зла не таит,  
В белой отчей рубахе  
Перед Богом стоит.

И в Господней вселенной  
Осеняют простор  
Крест нательный нетленный  
И Софийский собор.

\* \* \*

Мир отражается в слезинке  
И ощущает с небом связь.  
Слезами вымою ботинки,  
Чтоб не тащить на небо грязь.

Как старики сентиментальны:  
Чуть что, и слёзы на глазах.  
Какие постигают тайны  
Они в Божественных слезах?

Прощайте старикам капризы.  
На вас взирает, чуть дыша,  
Сквозь слёз оптические линзы  
Подслеповатая душа.

\* \* \*

Снег идёт на склоне дня.  
Он идёт ко мне.  
Снег проходит сквозь меня...  
Голова в огне.

Закипает в сердце дрожь.  
Голова в дыму.  
«Ты куда, куда идёшь?» –  
Я кричу ему.

Замерзает в горле крик:  
«Ты мне другом был!»  
Он в ответ: «Отстань, старик,  
Я тебя забыл!»

Я в смятенье: «Как же так?  
Я ещё живой?»  
Белый саван.  
Белый флаг.  
Снег над головой.

Слезы зябкие мои  
Превратил в шугу.  
Вроде зыбкой полыньи  
Вся душа в снегу.

Но не слышит он меня.  
Мне не по себе.  
...Снег идёт на склоне дня  
По моей судьбе.

\* \* \*

Листобоем напролом  
В дом вломившись спозаранку,  
Осень за моим столом  
Стелет скатерть самобранку.

Ломит тучный каравай  
И поводит томно бровью.  
Говорит: «Отец, давай  
Выпьем за твоё здоровье!»

– За здоровье! – Я не прочь,  
Хоть глаза твои – туманы,  
Но к здоровью приторочь  
Спирта полные стаканы.

Коли ты – родная мать,  
Невзирая на погоду,  
Гулевать так гулевать! –  
Разбавлять не будем воду.

На двоих с тобой вдвоём  
Каравай судьбы разделим  
И отчаянно споём  
Колыбельную метелям.

Неспроста, не задарма  
Нынче праздник в доме нашем.  
А сварливая зима  
За окошком пусть попляшет.

\* \* \*

Семинар поэтов молодых –  
Юных дней моих воспоминанье.  
Бьют меня товарищи под дых,  
Испытуя на излом дыханье.

Битым я не раз потом бывал.  
И, пройдя суровую закалку,  
Диафрагму натренировал,  
Укрепил характер и дышалку.

Выковал в себе бойцовский дух  
И широкий непокорный выдох.  
За меня дают сегодня двух  
Стихотворцев, в драках не добытых.

Я шагаю, млечностью пыля.  
Небеса мне – скатерть-самобранка.  
За моей спиной – вся земля  
И река разбойная – Татьяна.

Где, как тать, берёт меня в полон  
Город эН – фамильная обитель.  
И сибирякам земной поклон  
Шлёт один его исконный житель.

Предо мной – заснеженная мгла.  
Завывает вьюга ошалело...  
...Город Омск морозом добела  
Раскалён до млечного предела.

Пролетел табун коней гнедых  
Лет моих... И вновь меня встречает  
Семинар поэтов молодых  
Жадными горящими очами.

Соловьями критики поют...  
Внемля им душою нараспашку,  
Понимаю-чую: наших бьют!  
Обсуждают Тихонова Сашку.

Сашка – поэтический юнец  
Достославной песенной Сибири.  
Рядом с ним сидит его отец –  
Кулаки тяжёлые, как гири.

Отчего-то очень жутко мне,  
Если он кого-нибудь ударит.  
Хорошо, что никакой родне  
Слова не дают на семинаре!

Я шепчу: «Сашок, держись, родной!  
Даже если в драке будет жарко.  
Город-Тара за твоей спиной  
И река искристая Аркарка.

И ещё – сибирская земля,  
Что природной силою питает,  
Где, небесной млечностью пыля,  
Русская поэзия ступает...».

## Ослик

*Марине Ганичевой...*

Лихо дьявол танцует чечётку.  
Мечет искры в кромешном аду.  
Я пошлю его, рыжего, к чёрту  
И другою дорогой пойду.  
Той дорогой, что всеми забыта,  
Где надрывно в лихую грозу

Не грохочут, а плачут копыта,  
Вышибая из камня слезу.  
И пускай обо мне скажут после,  
Что он жизнь не ценил ни черта!..  
И был глуп и упрям, словно ослик,  
На себе вывозивший Христа.

## Неизвестный поэт

Вместе ели и пили,  
Схоронившись от жён.  
В вашей братской могиле  
Я себя не нашёл.

В вашем мире загробном  
Я для вас не родня.  
В мартирологе скорбном  
Нет в помине меня.

Может, лишнего выпил  
И сказал что не так?..  
Я из времени выпал,  
Как посмертный пятак.

Обо мне не жалейте.  
Я вас должен жалеть.  
Мне в похмельном бессмертье  
С вами песен не петь.

Среди без вести павших  
Погружаясь во тьму,  
Антологии ваши  
Я с собой не возьму.

## Сказ

Вот и ковёр-самолёт.  
И сапоги-сороходы.  
Только душа не поёт:  
Видно, ей мало свободы.

Пенная брага рекой.  
Мёда хмельного колода.  
А на душе непокой –  
А на хрена ей свобода?

Вот тебе меч-кладенец.  
Вот тебе небо в алмазах...  
Экий ты ухарь-купец!  
Вот навязался, зараза!

Вот тебе лыко в строку  
И самобранка-скатёрка...  
А сверх того, дураку,  
На опохмелку пятёрка.

Что же ты мух ловишь ртом?  
Что же ты медлишь с ответом?  
Али во сне золотом  
Слёзно не грезил об этом?

Глянул дурак в пустоту  
И рубанул средь пирушки:  
«За вековую мечту  
Ты мне суёшь побрякушки!

Экий ты ухарь-купец!  
Не продаётся такое!..»

...Вроде и сказу конец,  
А на душе нет покоя!

\* \* \*

Душа у меня молода  
Из хрупкого, тонкого льда.  
Когда лёд оттаёт,  
В душе расцветает  
Подснежников нежных гряда.

В душе у меня бирюза  
Прозрачная, словно слеза.  
Звенящее лето.  
И сполохи света  
Мои застилают глаза.

В душе у меня тишина.  
Душа несказанно пьяна.  
Небесная просинь.  
Бездонная осень.  
Во всём виновата она.

В душе моей снежная тьма.  
Наполнены всклень закрома.  
Сварливая печка.  
Замёрзшая речка.  
Горбатая ведьма – зима.

## Ирина ДЕМЕНТЬЕВА

Родилась в 1957 году в Балахне. Окончила Горьковский госуниверситет (истфил). Работала корреспондентом Горьковского телевидения, экспертом Нижегородского фонда культуры, редактором радиогазеты, в настоящее время – редактор издательства «Кварц».

Автор пяти поэтических и двух прозаических книг, художественно-биографического сборника «Лигия» (к 80-летию со дня рождения Лигии Лопуховой).

Член Союза писателей России. Лауреат областных литературных премий им. Б. Корнилова, им. А. Люкина, им. М. Горького. Живет в Нижнем Новгороде.

## И ГРОМ БЫЛ НЕЖЕН, СЛОВНО ГОЛОС СЫНА...

30 сентября

*Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья –  
всехсветные бабьи именины.  
Памяти бабушки, Надежды Лопуховой*

Вот приходят осенины  
на исходе сентября,  
урожайные корзины  
к доброй трапезе даря.  
Всех-на-свете именины –  
тихий праздник – жизнь полна!  
И напомнят осенины  
Дорогие имена...  
Ах, Надежда, белый ангел!  
Знаком красного креста  
осиян твой подвиг тайный  
и земная красота.  
В годы власти лжи и скверны,  
на миру, средь бед и зла,  
ты свою хранила веру,  
ты любовь уберегла.  
Боль и раны – о, коварство  
тыловых военных зим! –  
врачевала не лекарством –  
милосердием своим.  
Дом вела, дитя растила.  
Дочка умницей была  
и твою благую силу  
с детства в сердце приняла.

То добро не расплескалось –  
греет все еще тепло!  
Что-то мне от вас досталось,  
что-то сыну перешло.  
Память крови, память рода  
в наших праздниках живет.  
Дар сочувствия природа  
только сильному дает.  
В знак любви моей безмерной  
я родства лелею нить,  
дар терпения и веры  
я надеюсь сохранить.  
Из того, что все мы просим,  
много ль надо? Лишь свое!  
Пусть опять приходит осень –  
мы отпразднуем ее!

### Вкус имени

Название «Ленинград» на вкус –  
как виноград,  
все «ягодки» его звучат вполне по-русски.  
И не было б проблем вне идеологем,  
вне этой спорной смысловой нагрузки...  
Но столько боли в нем!  
И столько в нем смертей,  
страдания, безумия, терпенья,  
что имя – как вино – отравлено.  
Не пей,  
Не пей вина, Гертруда, есть сомненья...  
Название «Ленинград» на вкус –  
как виноград,  
А «Петроград» – уверенней и жестче.  
А Петербург с его приставкой «санкт»  
и ближе нам, и, как ни странно, проще...  
Он вышел в люди! –  
дерзкий младший брат  
российских крепостей средневековых,  
в морском мундире, статный камень-град,  
герой поэм и летописей новых...  
Вкус имени его изысканно горчит,  
как тот напиток из заморских зёрен,  
что стылым утром греет и бодрит,  
и стережет немеркнувшие зори...  
И сладко Питер пить,  
и сладко узнавать  
соленые ветра и пресные туманы,  
чтоб именем его – все имена созвать  
и вспомнить  
Александра, Ольгу, Анну...

Чтоб в упоенье складывать слова,  
и пробовать на вкус стихи чужие...  
Что в имени? Лишь память.  
И права  
на жизнь и смерть.  
И продолженье жизни.

### Февральский рисунок

Февраль. Замерзли все чернила...  
Зима расщедрилась опять:  
таких морозов напустила,  
что можно школу прогулять.  
И в замороженном трамвае,  
согревши пальчики в тепле,  
играют дети, оставляя  
«кошачьи лапки» на стекле.  
И каждый хочет похвалиться,  
что он еще тепла припас...  
А сколько лет им – десять, тридцать?  
Какая разница сейчас...  
И, кажется, еще немножко –  
поверю я, и ты поверь,  
что по стеклу гуляла кошка  
или другой какой-то зверь,  
что им не холодно в трамвае,  
что их кондуктор накормил,  
и что они не умирают,  
пока на жизнь хватает сил...

### Семейная фотография

Вот и кончилось детство –  
твое ли, мое ли...  
Кто из нас не успел  
наиграться в игрушки?  
Были стены в каракулях,  
праздники в школе,  
и смешные стихи про подружку-лягушку...  
Я всегда торопилась, тебя торопила –  
рисование, хор, надоевшая скрипка...  
Сколько нежности в спешке утрачено было!  
А на фото – твоя ли, моя ли улыбка...  
Как же странно искать  
в наших лицах несхожесть,  
ту, что сразу заметна,  
с момента рожденья!  
Мне казалось,  
что нас разделить невозможно.  
Я к тебе приросла.  
Навсегда.  
На мгновенье.

## Старая ветка

*Август хрустнул тяжелою веткой...*

Сергей Карасев

Заскрипела усталая ветка...  
Что ты плачешь? Тебе же легко:  
твое солнышко, яблочко-детка  
укатилось уже далеко...  
Где-то семечко корни пустило,  
в новых землях уже проросло...  
Что же, старая, ты загрустила?  
Все как следует в жизни пошло.  
Все как надо – дороги, тревоги,  
бури, засухи и холода...  
Там свои мотыльки-недотроги,  
там своя нелюбовь – не беда...  
Что, корявая, счастьем не веришь?  
Иль свобода не по душе?  
Он и первенец твой, и последыш,  
а других не дождешься уже.  
Вспомни, ты ведь порой скуповата  
на тепло и заботу была...  
Что ж, старуха, сама виновата:  
мало добрых плодов принесла...

## Осень

Все так прекрасно и... недостижимо.  
Уходит в море золотая рыбка.  
И молодая жизнь проходит мимо.  
И луноликой девочки улыбка  
кого-то греет и кого-то манит.  
Твои друзья ничуть не повзрослели –  
им жизнь – игра,  
и целый мир – в кармане!  
Вас не догнать... Иди, не стой.  
Не мне ли  
хотелось так же вот уйти из дома,  
чтоб утвердить свое самостоянье...  
Да не пришлось.  
Все это так знакомо –  
азарт работы, радость узнаванья  
и нежность дружбы, вдохновенье весен  
и злых страстей земных повадка лисья...  
Все было. Все прошло.  
Осталась осень.  
Все умерли давно истоптанные листья.  
Но я еще жива. И наблюдаю,  
как молодая жизнь проходит мимо,  
и рыбок золотых летучих стая  
уходит в море, ветерком гонима...

...Да нет же!  
 Все не так, все по-другому:  
 да, жизнь идет,  
 идет, а не проходит!  
 В ней нет отсылок к вытертому тому  
 инструкций в непонятном переводе.  
 Все – неизвестность...  
 Холодок по коже?  
 Живи смелей! Я рядом – отопрею,  
 плечо подставлю – слабое, но все же...  
 ...Прекрасна жизнь. И я люблюсь ею!

### Успение

Теперь в одеждах праздничных прилечь,  
 внезапно почему-то обессилев...  
 Потом в чужую вслушиваться речь,  
 чего-то ждать...  
 Чего? Шуршанья крыльев?  
 Заботы дня остались позади.  
 Хлеб испечен. И отдыхают руки.  
 Готова... Трепетание в груди...  
 Чего страшиться – встречи ли, разлуки?  
 Зовут. Склонились. Окликают вновь.  
 И нету сил ответить, отозваться.  
 И вот слезами пролилась любовь,  
 последнее тепло стекает с пальцев.  
 Еще взглянуть – что светится там за...  
 Как будто натянулась пуповина...  
 А где-то шла далекая гроза,  
 и гром был нежен, словно голос Сына...

### Птицы наших... зверей

(По следам одной опечатки...)

Птицы наших зверей в городах не свистят,  
 не снуют у дверей и на ветках не спят.  
 Птицы наших зверей не хотят быть едой:  
 они видели рыб, оплетенных бедой.

Рыбы наших зверей в морозилке лежат,  
 каждый их плавничок плотно к телу прижат,  
 эти рыбы уснули уже навсегда,  
 им теперь лишь кипящая снится вода.

Звери наших зверей из-под стульев и ламп  
 убегают со всех своих плюшевых лап  
 прочь, на волю, туда, где у южных морей  
 им свободу поют птицы наших зверей...

## Сергей УТКИН

Родился в Шарье Костромской области. Учился в Санкт-Петербурге, в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Д.Ф. Устинова.

Публиковался в журналах и коллективных сборниках поэзии и прозы. Участвовал в X Форуме молодых писателей в Липках. Финалист III молодёжного поэтического конкурса имени им. поэта Серебряного века К.Р. (великого князя Константина Романова) – второе место в номинации «Блистательный Петербург» (2013).

## ЭТОТ ДЫМ, ЭТУ ГАРЬ ОСЕНЯЕТ КРЕСТ...

\* \* \*

Через час колёс, снега и дня,  
С моросью, слякотью не бранясь,  
Наступаешь на город, землю.

Этот дым, эту гарь осеняет крест  
С позапрошлых соборов, не знавших месс  
Католических. Не приемля

Чужеземных песен, динамик сквер  
Оглашает воплем реклам. Не верь  
Ничему, что тебе расскажет

Эта улица в грязи да талый снег,  
Пораскиданный, брошенный той весне,  
На которой под капли ляжет

Городок, под инъекцию всех дождей,  
Под великие замыслы да вождей,  
Под ветвей оголённых пряжу.

Каждый голос в гостинице – только враль.  
За окном перепалка дворовых краль,  
Нынче ставших всего интрижкой.

Если хочешь ночью в постель тепла,  
То не с улицы: улица умерла.  
Безопасней остаться с книжкой.

Или с музыкой: тоже хороший путь,  
 Чтоб без этого города да заснуть,  
 Не расслышав собачьей своры.

Солнце хлынет вечером на стекло,  
 По лесам, дорогам теперь текло  
 Это тёплое время. Воры

За окладом в храм, я – за красотой,  
 За Марией Девой, иконой той,  
 Пред которой бы мироточил,

Но теперь не знаю, зачем, к чему,  
 Просто в этих глазах верил бы всему,  
 Как не верят Марии очи

Ни в Голгофу, ни в этот грядущий крест  
 Для Него. Я возле свечей, окрест,  
 Я вникаю в былые лики.

Город храмом красив, старых улиц вид  
 Этой местности много веков привит  
 Был назад, и его улики

Небольшого далёкого городка,  
 Это зданья, улицы и река,  
 Да история, что знакома.

Пред отъездом моим колокольный звон  
 Разлетался по комнате. Вот о ком,  
 Я спросил бы у Джона Донна...

\* \* \*

Всяк да накажет себя сам!  
 Не вмешаться в людей Небесам,  
 Не вместиться.  
 Голоса наказует птица,  
 Что поёт. И пляшут  
 Неваляшки,  
 Покуда Земля их тянет.  
 Всяк в стане  
 Чужом и дерзком.  
 А сердцем  
 Не измерить всего, не смочь.  
 Так вмешается в душу ночь,  
 Охватит.  
 Некстати,  
 Не к месту.  
 Где детство? В ком?  
 Город набит битком  
 Взрослой серьёзной ссорой.  
 «Sorry,

I'm happy just to dance with you»...  
Но я не люблю  
Танцев.  
Варьете – родина глупых стансов,  
Я не оттуда родом,  
Я из других стихов и букв, других переулков и книжек.  
Ниже  
Бродом  
По страницам  
Шагает Русь.  
Вот когда чрез неё проберусь  
Да к границе лета, лица  
Всех будут не об этом.  
Я так и не понял, о чём.  
Да омой меня солнцем, лучом!  
Иногда я совсем ни при чём,  
Ни при ком.  
Зачеркни же меня штрихом...

\* \* \*

Согласно моей жизни, выходит так:  
Слишком многим ты был навсегда пустяк.  
Также многим ты не был вовсе.  
Если будешь ещё выводить мотив,  
Готовься  
Платить,  
Ибо платит каждый  
И за то, чтобы быть,  
И за то, чтобы слыть,  
И за то, чтоб случиться однажды.  
А согласно меня, денег может не стать,  
И тогда ни поэта с писателем стать,  
Ни награды и почести  
Не дают больше права почерка,  
Права слова.  
Были строчки на Солнце готовы,  
На Бога да истину.  
А теперь я молчу так неистово  
До срока, до рубежа, до грани.  
Я учился быть словом раненым.  
А другого я не умею  
И немею, немею, немею...

\* \* \*

С пластинки играет Испания.  
Фламенко льётся.  
Пани, я  
Знаю, что не продаёт сам  
Господь жизни счастливой,  
Но те живы,

Кто помнит об этом.  
Назначаю себя поэтом  
На десять минут Солнца или Луны.  
Полны  
Книги улиц, люда иль тихих слов,  
Я готов  
Читать церкви, дороги,  
Помнить, что ты всегда на пороге,  
Пока стоишь,  
Тишь  
Верша.  
А когда-то была душа.  
Боль, любовь и обида,  
Да заменят мне всё это виды  
Куполов, крестов и башен.  
Страшен  
Путь, в нём страх находящему,  
Но ищущие да обрящут  
И Бога, и дорогу, и суть.  
Нам с Ним будет, о чём взгрустнуть...

## Людмила КАЛИНИНА

Родилась в поселке Керженец Горьковской области. Окончила историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета, Высшие литературные курсы и аспирантуру в Литературном институте. Работает главным редактором газеты «Нижегородский университет».

Автор пяти сборников стихов и книги очерков «До слез любя страну родную...» (Аввакум, Н. Клюев, С. Клычков, Ф. Сухов, А. Люкин, Б. Корнилов).

Член Союза писателей России с 1978 г. Живет в Нижнем Новгороде.

## МЫ С ТОБОЮ ЖИЛИ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ...

\* \* \*

К синю морю убегают реки,  
Знаю, не вернуться реки вспять...  
Мы с тобою жили в прошлом веке,  
Нам с тобою было что терять.

Там остались дорогие люди,  
Кажется, осталась я сама.  
Там январь был несказанно лютый,  
Не стучась, вривалась в дом зима.

Леденели, опускались руки,  
Думалось, что это навсегда...  
Помнят здесь военную разруху,  
Как в беде спасала лебеда.

Липкую снимаю паутину,  
В лопухи не прячу скорбных глаз.  
Над родной могилою повинно  
Замираю, горестно склоняюсь.

Мы застыли у межи у крайней,  
И по чьей, неведомо, вине...  
Вы простите нас, односельчане,  
Что ребята снова на войне.

Что девчонок сманивает город,  
Что старухи глохнут от утрат...  
Вновь тревога перехватит горло  
И не отпускает до утра.

По лыжне промчатся полем белым  
Через буераки, бурелом!  
Помоги мне, праведное дело,  
Не плутать, когда выюжит кругом.

\* \* \*

Город вернул свое имя,  
Город в себя никак не придет...  
Флигель глазами пустыми  
Смотрит, как суетится народ.  
Набок сдвинута кровля, –  
Будто бы в летаргическом сне  
Флигель живет.  
А легко ли  
Новый дом держать на спине?  
Видно, флигель по всем приметам  
К переменам давно готов.  
Ветхий, раздавленный этот,  
Старожил, списанный со счетов.  
Только вот пыль да неверье  
Притаились по темным углам...  
Настежь парадные двери –  
Пенье скрипки, детский шум и гам!  
Подниму яблоко дикое, –  
Сколько вяжущей горечи в нем...  
Мы не видим великое  
В городе нашем, таком большом.  
Древние Дятловы горы,  
Бегут и бегут они вдоль реки  
Туда, где в Старых Печёрах  
Не погасли еще родники.  
Кружкой, ведром, горстями  
Зачерпни звонкое серебро!  
Живем, не ведая сами,  
Где беды наши, а где добро.  
Кажемся себе большими,  
Споро шагающими вперед...  
Город вернул свое имя,  
Город в себя никак не придет.

## Снег

Спрячь, укрой, снег,  
Лисий след, волчий след,  
Зло да хитрость, да страх,  
Да пугливость в глазах.  
Снегу сила дана  
Мир будить ото сна  
Сказочной тишиной,  
Чистотой неземной.

\* \* \*

Пробираюсь сквозь глухую чашу  
По дремучим, по кипрейным снам.  
Медом переполненную чашу  
Август преподносит небесам.

Мы с тобою испола вкусили  
Сладостного позднего тепла.  
Ночи погремели и остыли,  
Звездопад мелькнул и отпылал.

В капле меда растворилось лето –  
Грозовой пожар ушедших дней.  
На седом горельнике алеет,  
Застелив пожарище, кипрей.

Остается привкус горьковатый  
Медя – в нем багульник и кипрей.  
Наклонились ветки виновато  
В ожидании ненастных дней.

В ожидании опустошенья  
Старый бор задумчиво притих.  
Все мои обиды, прегрешенья  
Вольные, невольные  
Прости.

\* \* \*

*В 1958 году в Горьковской области  
насчитывалось 150 тысяч старообрядцев,  
позднее статистика не приводилась.*

Тополь высокий, развесистый тополь,  
К старому дому давненько притопал.  
Входит он пасмурным вечером в дом –  
Вместе большая семья за столом.

Машет своей головою седою,  
В искристых бликах большой бородою.  
В красном углу строгий иконостас,  
Оком сверкает и сердится Спас.

Общая чашка и каждому ложка –  
Ешь с расстановкой, ешь понемножку.  
Хлеба ломоть осторожно бери,  
Щедро всевышнего благодари...

Чашка разбилась на мелкие части,  
С иконостасом случилось несчастье –  
В ночь на Николу исчез со стены,  
Шляпки гвоздей одиноких видны.

Заново строилась жизнь и катилась,  
Будто бы в доме беды не случилось.  
Новые скорости, новый устав –  
У молодых больше силы и прав.

Не захотели гадать да рядить, –  
Что это тополь не стал заходить.

\* \* \*

Остров Мочальный, остров молчаливый –  
Под каждой ивой спрятана тайна,  
Под каждой гордой, горькой ракушкой  
Наглухо сотни судеб зарыты.

Судьбы крестьян и духовных отцов –  
Смирных трудяг и земных мудрецов...  
Как же нам жить с этой тяжелой поклажей?  
Может быть, Везлома-речка подскажет?

С керженских гатей, сквозь буреломы  
Матушке Волге приносит поклоны.  
Помнят кордоны, лесные долины,  
Как забирала ни в чем не повинных.

Мы примирились, мы не забыли,  
Памятный крест у воды водрузили...  
Всех не подняли в архивы зарытых,  
Не огласили имен позабытых.

Там, на Мочальном, который уж год  
Старая ива весной не цветет.

\* \* \*

Видывали всякое под солнцем,  
Многое знавали наперед...  
Буря валит вековые сосны,  
А кусточки только ниже гнет.

Голову не втягивали в плечи,  
Было, поджимали животы,  
Говорят, что беды только лечат –  
Сколько в этом ясной правоты.

Непогода шумно разгулялась,  
Застит слух тревожный птичий гам.  
Оглянулись: что кому досталось –  
Каждому досталось по серьгам.

Бледноцветны, солнечны, неброски,  
Из болота тянутся на свет,  
Словно беззащитные подростки,  
Краснотал, багульник, бересклет.

Если налетят лихие ветры,  
Выдюжим и выстоим на том –  
Не теряя неподкупной веры,  
Порослью веселой обрастем.

\* \* \*

Дуплистый вяз на свете видел много,  
С годами выше стал и ближе к Богу,  
Забыл забавы, стал мудрее, старше.  
Над бездною тебе стоять не страшно?  
Легко ли жить у зыбкого обрыва,  
Сгасив в душе высокие порывы?  
Скажи мне, как в плену словесной битвы  
Не потеряться голосу молитвы,  
Порыву тихой, сокровенной думы?  
Закладывает уши мне от шума.  
Тоскуют руки без земной заботы,  
А в улье стихшем холодеют соты.

\* \* \*

Перемелется, переменится, –  
Поглядишь – сгодится мука.  
Беспощадная жизни мельница  
Перемальвает века.

Выпекай пшеничные хлебы,  
Впрок соли да суши грибы,  
Ничего никогда не требуя  
От дарованной нам судьбы.

Чистой скатертью самобранкою  
За окошком ляжет зима.  
И сорочьими перебранками,  
И соленой снедью полна.

Обуваю валенки теплые,  
Отправляюсь куда-нибудь,  
Сухостоем, ельником топаю,  
Бездорожьем торю свой путь.

По некрепкому льду, по берегу,  
Сквозь морозное забытье...  
По чистейшему снегу первому  
Узорочье вышью свое.

## Сергей БУРЛАЧЕНКО

Родился в 1960 году в Москве. Окончил Московский топографический политехникум и сценарное отделение ВГИК им. С.А. Герасимова. Работал токарем на заводе, топографом, руководителем художественной самодеятельности в клубе, сценаристом, театральным режиссером, журналистом.

Автор двух книг прозы. Публиковался в журналах «Новая Юность», «Дальний Восток», «Дом Польский», «Бельские просторы».

Член Российского Союза писателей. Живет в Москве.

## СОРОК НА ПЯТЬДЕСЯТ

Весною в городе пахло будущим летом, воздушным солнечным золотом, а звуки напоминали весёлую речь иностранца. Она непонятна и потому похожа на укутанное в слова молчание.

Ливушка выходила вечером на балкон и слушала апрельскую тишину. Пальцами, похожими на крепкие карандашики, она пощипывала мочку уха, прислушивалась и принималась. С детства у неё такая смешная привычка: морщить гладкий красивый носик и вдыхать по-собачьи запахи. Небо пахнет свежими васильками, клён у подъезда – засохшими булочками со сладкой маковой начинкой, стёкла окон в доме напротив – подтаявшим снегом.

Мама смотрела на Ливушку, морщившую носик, и улыбалась:

«Моя дочка идёт по следу».

– Не смейся надо мной!

«Что ты! Я тебе помогаю!»

– Когда найду то, что ищу, я позову тебя первую.

«Надо дождаться. Я тебя обязательно услышу».

В день маминых похорон с утра светило солнце, а потом пошёл дождь. Солнце и дождь ничем не пахли. Пахло чёрной сырой землёй, которую жирно резали лопатами. Мамина могила казалась Ливушке внезапной остановкой на длинном, бесконечном пути. Вот-вот стихнет траурная музыка, закончатся речи, и они с мамой пойдут дальше.

Даже сейчас, восемь лет спустя, вечером на балконе, она слышала запах её шагов. Словно ноздрей коснулся свежий ветерок, вылетевший из крепкого, сочного леса.

В этом году Ливушке исполнилось сорок лет, и в её карих глазах появилось выражение тревоги. Об этом сказал её приятель Тютрюмов,

художник и неунывающий оптимист. Он писал пейзажи, и Ливушке всегда казалось, что она слышит запахи, которые источают река, лес или цветы на его молчаливых картинах. Она долго не могла понять, кто ей нравится больше: Тютрюмов или его пейзажи? Его спокойный голос, уверенные руки, приветливое лицо окутывали её лёгким облаком чувственного томления. А простые картины напоминали детские мечты, которые волнуют своей забытой наивностью. Выбор затягивался. Ливушка не могла решить, что здесь важнее? Пока однажды не поразила своему маленькому открытию. Ей нравилась она сама, нравилось, как она ошеломлена этим выбором и парит благодаря ему на качелях. Вверх – Тютрюмов, вниз – нарисованные художником сосны. Или наоборот: сверху зимний пейзаж, а внизу художник.

И она успокоилась. Тем более что Тютрюмов сам написал её портрет. Ведь это была новая высота, куда вознеслись качели. Ливушка очень ждала, как он передаст тревогу в её глазах.

И не поняла замысла художника.

Портрет был небольшой, сорок на пятьдесят сантиметров, выполненный маслом. Художник преподнёс его своей подруге в годовщину их знакомства.

Ливушка была изображена весьма точно, но без эмоций на лице и без возраста. Девочка-женщина, рассматривающая что-то за рамками портрета. Выражение её глаз скрывали очки, которые сама она надевала редко, когда хотела казаться серьёзной.

– Тебе нравится? – спросил Тютрюмов.

– Господи, конечно! – она всплеснула руками. – Только зачем очки?

Художник задумался.

– Редкое сочетание вечной наивности и женской зоркости, – наконец сформулировал он.

«Значит, у него свои качели, – подумала Ливушка. – Ну и бог с ним, он талантлив, пусть пишет, как хочет».

Фраза о тревоге в глазах быстро забылась. Скорее всего, ничего такого и не было, подытожила Ливушка. Но стала реже заглядывать в зеркало.

В тот день к вечеру пошёл сильный дождь. Шумно падающая с неба вода источала запах крепкого мужского тела. Ливушка мелкими шажками бежала от остановки троллейбуса к дому и вздрагивала, когда мокрые капли попадали ей на лицо и руки, охлаждали и одновременно обжигали кожу.

В подъезде было темно, лампы на этажах не горели. Ливушка взбежала на свой пятый и различила у окна мужскую фигуру. Неизвестный в короткой куртке стоял спиной к ней, подтянутый, с ровными плечами, прямой спиной, подростковыми бёдрами и правильными, как у балетного танцора, ногами. Даже подъездный мрак не скрывал этого великолепия.

Ливушка замерла на последней ступеньке. А вдруг это наркоман или насильник?

Он обернулся. Лица она, само собой, не разглядела, но ей вдруг понравился скрип кожаной куртки и спокойствие неизвестного. В голове всё понеслось куда-то в сторону и Ливушка пролепетала:

– Ваня? Тютрюмов? Ты чего здесь?

– Смешная фамилия. Но я не Тютрюмов. Я Ларькин.

– Тоже смешно.

– Почему?

– Как недостроенный магазин. Ларёк с низким окошком.

Ей на самом деле становилось всё веселее и веселее. Мужчина был безопасен, она это почувствовала, а голос у него – как у давнего знакомого, к которому так приятно ходить в гости или приглашать к себе на праздники. Мужчина выговаривал букву «у» как «ю», а «о» было похоже на «ё».

Надо было идти в квартиру, замерзали промокшие ступни и сырые волосы на голове требовали немедленной сушки. Но Ливушка, сама не понимая чего, ждала от стоявшего у окна Ларькина.

Он отвернулся, скрипнув курткой, и вдруг заговорил. Она слушала, немного волнуясь и в то же время заинтересовываясь происходящим с присущей ей наивностью.

– Шёл мимо вашего дома и вдруг нырнул в открытый подъезд. Поднялся сюда, на пятый этаж, – голос у Ларькина был спокойный, но как бы уставший. Она подумала, что у мужчины или что-то болит, или с кем-то из близких случилась беда. – Встал здесь. Задумался... Вы не обращали внимание, что человек у окна чаще всего вызывает тревогу или необъяснимую печаль?

– Нет.

– Или мысль о загадке?

– Да, наверное. Во всяком случае, силуэт у окна что-то значит.

– Но это иллюзия. Просто воображение работает и заколдовывает зрителя.

– Понятно. То есть вы хитрец, расставляющий ловушки доверчивым зрительницам?

Ларькин ничего не ответил.

Темнело. Тишина лестничного пролёта и слепой блеск окна пахли старыми книгами, давно забытыми на книжной полке и никем не читаемыми.

«О чём я думаю?» – удивилась Ливушка.

– Я знаю, о чём вы думаете. О прошлом, которое не находит дорогу к настоящему.

Она вздрогнула и переспросила:

– О чём?

Мужчина повернулся и вдруг начал рассказывать историю о какой-то девочке, которой было хорошо в детстве и которая больше всего на свете любила цветы и большие деревья в лесу. Те и другие казались девочке друзьями, тянувшимися к её глазам и ушам, чтобы поведать красивую и добрую тайну. Но, подрастая, девочка стала замечать, насколько окружающие люди безжалостны к цветам и деревьям. Как защитить своих друзей? Как дослушать их рассказы о великой тайне? Девочка росла, взрослела, из жизни уходили близкие люди, их никто не мог заменить, а вот вместо увядших на клумбе цветов и старых деревьев в лесу вырастали новые. То есть всё в жизни шло обычно и всё было не так, как должно быть. Выросшей девочке хотелось, чтобы эта карусель крутилась по-другому, но подсказок от жизни не было. Она продолжала забирать самое дорогое, оставляя совсем ненужное. И стало понятно, какая это безжалостная и равнодушная карусель. Смертельная механическая игрушка.

И подросток девочка в конце концов почувствовала серое одиночество, к которому всякого человека приводят загадки без отгадок.

«Скоро, очевидно, начнут исчезать и звуки, полные никому не ведомых запахов».

– О чём вы говорите? – воскликнула она, поняв, что последнюю фразу незнакомец произнёс вслух. Это была её мысль, откуда-то известная непонятному Ларькину.

– Счастливые люди, вроде вас, по ошибке считают себя несчастными, – он сказал это уверенно, как похожую на круг или квадрат аксиому, фиксирующую, что дважды два равно четырём и «жи-ши» пишется с буквой «и».

– И что делать?

Ларькин устало вздохнул:

– Почему бы однажды не поменять то, что понятно, на неизведанное?

– Как?

– Пригласите меня к себе домой.

Ливушка невольно сделала шаг назад, словно от резко полыхнувшего костра.

– Не надо думать о всяких глупостях, – мужчина как бы скомандовал и даже не поинтересовался реакцией девушки. – У вас дома много картин вашего друга, художника?

– Вани Тютрюмова?

– Именно. Я покажу вам кое-что на одной из них.

– Где?

– На вашем портрете.

В квартире Ливушка зажгла свет и быстро скинула промокшие туфельки. Ларькин разулся, повесил кожаную куртку на плечики, вежливо ждал. Девушка рассмотрела его красивые, тёмно-каштановые волосы с проседью и полные внутреннего жара почти чёрные глаза. Вообще, лицо у гостя было как будто давно знакомое (но так ведь и сразу показалось!) и очень лёгкое.

Она нащупала тапки, надела их, потом стала искать на полочке что-нибудь подходящее для мужчины.

Но Ларькин ушёл уже в большую комнату, тапки его не интересовали.

Ливушка поспешила за своим гостем, внезапно подумав: «Тишина в моём коридоре после него пахнет моими духами. А я ими сегодня не пользовалась. Наваждение какое-то!»

Гость стоял, сложив руки на груди и забросив голову назад, перед её небольшим портретом. Тем самым, подаренным год назад. Ливушка опять подумала малюсенькую глупость: «Словно он стоит здесь давным-давно, лет пять или десять. Кажется, я ненормальная!»

– Идите сюда, – позвал мужчина и, дождавшись, когда она встанет рядом, продолжал. – Так я и думал. Холст, масло, сорок на пятьдесят.

– О моём портрете?

Ларькин неожиданно сказал: «Браво!» – и стал кружить по комнате. Девушке нравилось, что он так кружит, потому что портрет его взволновал, он не скрывает этого, не демонстрирует, а просто-напросто уверенно переживает искренний восторг. Но что говорить, она не знала, потому что портрет был её и разговор о самой себе казался ей невежливым.

– Мне пятьдесят лет, – гость стоял напротив, очень близко, и глаза его разгорались всё туманнее. – А вам?

– Мне? Сорок.

– Сорок на пятьдесят. Холст, масло. Понимаете?

– Что?

– Что вам и мне сорок и пятьдесят лет. Масло ложится на холст. Метафора, образ, иносказание. Ваш Тютрюмов волшебник. Он всё

зашифровал для вас и для меня. Нам надо взломать, прочитать этот код и быть вместе.

– Вы сумасшедший?

– Я верю в художественное чудо. А вы?

– Наверное, я вас не понимаю!

Мужчина подошёл к висящему на стене портрету и поднял к нему руку.

– Сейчас объясню, – он торопился говорить, и Ливушка заметила, что говорящий волнуется. – На портрете вы смотрите вправо, словно видите что-то там, за рамкой. Я смотрю на портрет и начинаю волноваться: что же привлекло её внимание? Естественно для зрителя, когда портрет обращён вниманием к нему. Тогда через себя зритель понимает нарисованное и наоборот: через портрет, его лицо, глаза, настроение – понимает себя.

– Как-то сложно.

– Стандартный приём. Например, портрет чаще всего рисуется с поворотом головы направо. Если художник рисует голову, развернув её налево, это тревожит зрителя. Потому что такой взгляд необычен.

Девушка тоже начинала ощущать волнение. Оно было таким странным, утробным, то есть рождающимся не в голове или в груди, а почти в животе, оно приятно растекалось от ягодиц к пояснице и тёплыми волнами разворачивалось в животе. Ещё ей показалось, что у неё начинает полыхать кожа на ногах и краснеют колени.

Ларькин снял портрет со стены и поднёс ей ближе к лицу:

– Вы что, близорукая? Плохо видите?

– Нет!

– Тогда зачем очки?

– Ну, как бы образ романтической и зоркой натуры.

– Какая чепуха! – он хлопнул себя по бёдрам. – Ваш друг Тютрюмов просто отвлек ваше внимание. Вы ему нравитесь, и он не хотел, чтобы вы до конца поняли идею портрета. И поняв, тем самым изменили бы художнику.

Ливушка чувствовала, что с трудом держится на ногах и, кажется, не понимает слов своего гостя. Её окутывал туман его чёрных глаз и бередил глубокий голос.

– Перестаньте, пожалуйста! – в её голосе была неуверенность и просьба о продолжении.

Мужчина развернул портрет к себе и слегка прищурился. – Знаете, на кого вы смотрите, стоящего там, за рамками портрета? – он заговорил тихо, словно не желая испугать кого-то невидимого, за рамками. – На меня. Там стою я, вы видите меня, в вашем подъезде у окна, в чёрной кожаной куртке и внимательно вас рассматривающего. Великолепно, да? Сорок на пятьдесят. Вы смотрите на меня, а я смотрю на вас. Но вот рамки ломаются, холст рвётся, мы бросаемся навстречу друг другу и, обнявшись, замираем в тишине, пахнущей нашим горячим дыханием.

Они целовались долго, с упоением и осторожностью. Ливушке нравились его очень аккуратные губы, как бы неторопливые и вкрадчивые. В этой аккуратности и вкрадчивости грозовой лиловой тучей набухла чувственность. И ещё девушку волновало её собственное дыхание, невероятное длинное, упругое и сочное, складывающееся в жаркую бесконечность из коротких, как блеск возбуждённых глаз, молний.

Потом она вырвалась из его тёплых и сильных рук и сбегала в ванную. Время ушло прочь и не хотело возвращаться. Плохо помня себя,

Ливушка сбросила тапки, мокрую одежду, ставшее вдруг липким тонкое бельё, включила воду и встала под шелестящий отчаянно душ. Голые плечи сосала, словно сказочная добрая змея, струя воды, она стекала воздушным прозрачным вином по бёдрам и зеркально пузырилась вокруг пальцев ног.

– Сорок на пятьдесят... Сорок на пятьдесят... Сорок на пятьдесят...  
– Ливушка не слышала своего голоса за хлётским водопадом душа. – Хулиган Тютрюмов... Волшебник Тютрюмов... Гений Тютрюмов!..

Ей казалось, что она смеётся, хотя на самом деле она плакала и давилась сладкими и горячими слезами, как пятнадцатилетняя дурочка.

Утренний свет не отрезвил ни её, ни гостя. Кажется, были кофе, следы укуса на плече, возможно, даже выкуренная сигарета. Звонил телефон, кипя от собственной настырности и бестолковости. Ливушка думала о том, что надо вставать и ехать на работу, но всё это было так нелепо, так неважно, так глупо и так далеко.

Проснувшийся Ларькин хорошо сказал:

– Доброе утро, Ливушка!

Ну да, а потом чуть ли не до крови укусил её в плечо! Она взвыла по-кошачьи, рысью набросилась на мужчину, и оба больше часа душили в объятьях, рвали и мяли друг друга прямо в постели.

Какая могла быть после этого всего работа?

На портрете её лицо в копне белых волос теперь смотрело прямо. Очки пропали. Это было так странно и вдруг так ясно и очевидно, что не хотелось рыться в рухляди и тряпье возможных объяснений свершившегося чуда.

По потолку, клубящемуся и словно набиравшему воздуха для дыхания, мягко плыли солнечные лучи. Она лежала у него на плече и любовалась золотым цветом обычно белого и плоского потолка.

– Поедем в воскресенье на могилу моей мамы? Я хочу, чтобы она услышала, как я счастлива.

Он кивнул. Она вдруг взволновалась:

– Слушай! Как ты вчера сказал?

– О чём?

– О понятном и непонятном?

Он обхватил её правую бровь губами и что-то произнёс.

– Что? – она вырвалась от его губ и сверкнула глазами. – Я не расслышала.

Он стал серьёзным и медленно повторил:

– Почему бы однажды не поменять то, что понятно, на неизведанное.

– Вот что! Понятное на неизведанное!.. – она почти вздрогнула. – Я так счастлива, веришь?

Он вновь кивнул. Она вздохнула и опять легла к нему на плечо. Белокурая девушка на портрете, сняв ненужные очки, смотрела на них прямо и совсем равнодушно. Очевидно, она устала всматриваться туда, за рамку, и теперь, дождавшись свободы, отдыхала. По потолку продолжал плыть солнечный свет, и золота в комнате становилось всё больше и больше.

## ПЕЛЕНА РАЗУМА

С утра подморозило, воздух стал скупым и чистым. Городские улицы притихли, словно ожидали чего-то редкого, прекрасного, почти невозможного. Стало заметно, что над домами есть небо. Оно светилось, намекая, что где-то там есть ещё и солнце.

У булочной разгружали грузовичок-фургон, и в воздухе пахло горячим хлебом.

К обеду в городе NN выпал настоящий снег.

Придя на работу, Теплов заварил себе кофе, сел с горячей чашкой за стол и вынул смартфон. «Почему не звонишь?» – он набрал сообщение и отправил его Лане. Потом добавил селфи: он грустный, и в глазах ожидание. Ответа не было. А он представил: «Позвоню. Обязательно», – и улыбнулся.

Теплов протёр пластиковый экран носовым платком и с удовольствием выпил кофе. Потом ему принесли дизайн-макет готовящейся книги, и он занялся делом.

Иногда его взгляд падал на редакционное окно, на раме которого снизу росли седые горки. Снегопад усиливался и обещал через несколько часов погрузить город в белый сон.

Теплов наперекор своей фамилии любил зиму, морозы и снег. Может быть, потому что родился в январе. Обожал прилагательные «ледяной», «хрустальный», «прозрачный». Ценил тишину и одиночество. В работах иллюстраторов отдавал предпочтение графике, твёрдой линии и чёрно-серо-белому пространству. В нём он предчувствовал глубину, намёк на тайну, устроившую этот мир. Цвет не занимал его воображения. Макеты цветных книжных обложек подписывал почти не глядя, на нецветные подолгу засматривался, погружаясь в медленные размышления.

Никто не трогал его в эти минуты. Теплов изучал чёрно-белый макет, осторожно касался его пальцами, склонял голову набок и щурил глаза. Лицо его светилось, а губы шевелились, как у медиума, ведущего тайную беседу с духом будущей книги.

Конечно, никто не считал Теплова сумасшедшим. Более того, даже не думал, что он когда-нибудь им станет.

Но от судьбы не убежишь, она точна и беспощадна.

С Ланой, родной сестрой своего школьного друга Саши Конвертова, поэта и художника, он был знаком давно. Ей шёл тридцать второй год, у неё был шестилетний сын Лука: Лучик, синеглазый и молчаливый тихоня, полная противоположность шумной и экспрессивной маме с огромными карими глазами, горевшими неиссякаемым, вулканическим пламенем. Ещё Лана носила крупнокольчатые ожерелья и серебристые серьги овальной формы, размером со страусиное яйцо. Бижутерия сверкала и звякала, когда девушка крутилась во время разговора, взма-

хивала руками или поводила плечами. К тому же Лана вечно ломала каблуки на туфлях, била кофейные чашки и теряла мобильники. Замужем она никогда не была. Или, как казалось Теплому, забыла мужа однажды где-то в бренчащей серебром суматохе. Из своего сорокалетнего чёрно-бело-серого неподвижного одиночества он смотрел на Лану как на слишком яркую и обманчивую картинку, на крикливый глянцевоый постер. Относился к ней ровно, вежливо-равнодушно и настороженно.

Но судьба всё-таки беспощадна, что говорить.

Минувшей весной отмечали день рождения Саши-художника, вечером Теплов пошёл проводить Лану и её сынишку. Задержался за прощальной чашкой чая на кухне. Мальчик давно спал в своей комнатке, а взрослые всё болтали и болтали и не могли оторваться от беседы. Теплов неожиданно перестал оберегать своё одиночество, а девушка стала тихой и задумчивой. Карие глаза её не жгли, а тихо светились, причём свет этот вызвал у него желание говорить просто и откровенно. Простота и откровенность легко перешли в заинтересованность. Лана и Теплов сами не заметили, как замолчали и стали целоваться. И так же просто и откровенно, ни о чём не спрашивая друг друга и не стесняясь, оказались в постели.

Потом, уже успокоившись, долго лежали в тишине и обманчивой темноте, осторожные и заботливые. Теплому не хотелось, чтобы наступало утро, он разглядывал дальний угол комнаты, чтобы не видеть светлеющего окна.

Так прошло больше получаса.

Лана вздрагивала, если он вдруг шевелился и касался её тела, легко вздыхала и немножко плакала.

Теплов думал о счастье.

Всё казалось таким странным и в то же время давно знакомым.

Осенью Теплов одолжил новой подруге денег, и она улетела с сыном отдыхать в Египет. «Тут хорошо и в воздухе пахнет сладостями. Лучик в восторге», – Лана присылала короткие эсэмэс. «Я люблю вас всё больше и больше», – отвечал Теплов. Он купил огромный плакат с изображением пустыни и пирамид и приколол его над рабочим столом в издательстве. Постер был нецветным и очень стильным. Казалось, что пирамиды и песчаные барханы – органы живого тела, запечатлённые громадным рентгеноскопом.

В последнее воскресенье октября самолёт с туристами вылетел из Египта на родину, в Петербург. Поздним вечером того же дня Теплов должен был встретить Лану и Лучика на железнодорожном вокзале в NN, куда приходил питерский поезд.

Около двух часов дня позвонил Саша. «Самолёт разбился. Ты понял? Твою мать! Зачем ты дал им деньги, сволочь?» Теплов почти не узнал товарища. Голос у того дрожал, хрипел и свистел, словно засорившийся кран в кухне. И разговор прервался так же неожиданно, как начался. Теплов набирал номер, но Саша не отвечал.

Съездив на вокзал и никого там не встретив, Теплов даже не удивился. Несколько раз позвонил Лане. Связи не было. Он прогулялся к её дому, понаблюдал за чёрными окнами.

Всё было ясно. Саша не соврал, так выглядели трагедия и смерть близко, рукой подать. Кошмарные и неправдоподобные.

С этого момента однозначность случившегося ошеломила Теплова настолько, что реальность очевидная, безжалостная, равнодушная лишила жизнь сути. Текли дни, он продолжал выполнять положенную работу, совершать привычные действия, переговариваться в конторе

с коллегами – и медленно уплывал куда-то далеко, в мёртвый океан, где не было воды, в мир, где не было ни света, ни тьмы, ни молчания, ни звуков. Довольно скоро и сама жизнь исчезла, превратившись в чёрно-белый постер. Всё пропало, хотя скорее всего пропал сам Теплов, но до него ещё не дошёл факт исчезновения, потому что он противоречил жизненному опыту и не совпадал с тем, что родилось недавно в душе одинокого сорокалетнего человека.

Потому что дорогое не теряется. Оно разрастается в столь огромное и вечное, что его перестаёшь замечать как воздух, которым дышишь, пока работают трахеи, лёгкие, пульсируют нужные мешочки, мышцы и клетки в организме.

Прошла неделя.

Саша Конвертов ездил на опознание, потом были похороны. Теплов ничего об этом не знал. Он ждал, что Лана и Лучик со дня на день вернуться. Звонил улетевшей на курорт подруге и слушал мёртвую тишину в трубке.

На лице у Теплова появилось выражение мирной покорности, точь-в-точь как у больного, узнавшего смертельный диагноз. В издательстве его сторонились, но вслух или за спиной не осуждали. Однажды только кто-то тихо сказал: «А парень-то – тютю!»

Большинству казалось, что Теплов сник, а то и надорвался от боли. А он просто переместился в недоступную посторонним область сознания, где всё рухнувшее представлялось до идеала не отстроенным, а потерянным навсегда – просто не найденным.

В тот день, в день первого настоящего снегопада, он долго работал не отвлекаясь. Забыл, что Лана не звонит. Но вспомнил об этом, как только отложил дизайн-макет в сторону. Вышел в коридор, чтобы не мешать коллегам, достал смартфон и набрал номер. Опять безответная тишина.

Около восьми часов вечера он убрал бумаги со стола, спрятал макет и документы в сейф и спустился на лифте на первый этаж. В холле было полутемно и пусто. Охранник смотрел футбол. Теплов кивнул ему, прощаясь, и вышел на улицу.

Дойдя по привычке до дома Ланы, он присел на выбеленную снегом скамейку во дворе и стал смотреть в чёрные окна знакомой квартиры. Внезапно на него навалилась тоска. Чёрное небо и дребезжащий свет одинокого уличного фонаря были её глазами, шуршание падавшего на землю снега – эхом безжизненного голоса:

«Тоска...»

Внезапно ожил смартфон. Теплов знал, что так в конце концов и случится, и уже ждал этого звонка.

– Здравствуй, Тёпик. Как дела?

Ему показалось, что снежинки стали карими, шоколадно-твёрдыми.

– Снег. Сегодня идёт не переставая. Красиво в городе.

– Тут у нас тоже хорошо.

– Вы когда вернётесь?

Лана не ответила.

– Ты меня слышишь?

– Только не нервничай. Мы пока побудем здесь.

– Пока?

– Я не хотела тебе говорить. Что-то у нас с тобой не получилось. Может, из-за меня. Или с тобой что-то не так. Сначала было хорошо. А потом стало страшно. Всё так – и всё как бы не так.

– Откуда ты знаешь?

– Ты ведёшь себя, словно нищий. Думаешь, женщинам нужны нищие?

Помолчали. Снежинки опять побелели и стали падать бесплотно и беззвучно, чтобы не мешать разговору.

– Мне плохо без тебя.

– Не выдумывай, Тёпик. Плохо без глаз или без ног. А без бабы можно обойтись. Ты дома?

– Вроде того.

– Тогда выпей водки и ложись спать.

– Лана...

– Чао, Тёпик. Спокойной ночи. И не звони мне больше, пожалуйста.

Теплов сидел на скамейке в чужом дворе больше часа, не зная, что делать. Он не расстроился. Он успокоился. Так бывает всякий раз, когда любовь сменяется нежно затухающим воспоминанием о любви.

Да-да. Влюблённым не суждено страдать. Ведь они ещё долго наслаждаются воспоминанием о своей влюблённости.

Снегопад, сыпавший весь день, сошёл на нет. Ночь действительно предлагала горожанам успокоиться, на чёрно-белых улицах было темно и тихо. «Хорошо, что я не спорил с Ланой, – думал Теплов, шагая по узким и мохнатым от снега тротуарам. – Хватит дурить. И вообще надо взять себя в руки и удалить её номер из смартфона. Как бы то ни было, но каждый из нас – и я, и она – по-своему всё-таки счастливы».

Он остановился и задумался:

«Прошлое прекрасно до тех пор, пока оно остаётся прошлым. Только и всего».

Мысль ему понравилась. Он повеселел, сбил с ботинок снег и вошёл в свой подъезд. Не поужинав и даже не умывшись, лёг в постель и крепко уснул.

\* \* \*

На следующий день его прямо с утра увезли в психиатрическую клинику и поместили в одиночной палате, предназначенной для тяжелобольных.

А снег в городе NN начал быстро таять и к вечеру исчез с улиц без следа.

## Алена ЖУКОВА

Родилась в Одессе, работала на Одесской киностудии музыкальным редактором, редактором, членом сценарной коллегии и главным редактором Творческого Объединения «Аркадия». В 1994 году эмигрировала в Канаду.

Писатель, сценарист, кинокритик. Член московского отделения Союза писателей России, Международного общества А.П. Чехова, Союза писателей XXI века. Живет в Торонто.

## ПАРОМЩИК

В маленьком сквере населенного пункта N, именуемого поселком городского типа, лежал на скамейке странного вида господин. Странность его заключалась в одежде, абсолютно не соответствовавшей месту и времени суток. Скверик был пыльный и грязный, примыкающий к пристани, от которой ежедневно отходил паром, перевозивший редких пассажиров на другой берег реки. Человек был одет в роскошный, местами запылившийся смокинг. Лучи жаркого полуденного солнца играли радужными искрами на запонках его белоснежной рубашки, а лаковые туфли, казалось, сейчас растекутся нефтяной лужей по скамейке, обоссанной котами и алкоголиками. Чудовищное несоответствие портрета и пейзажа вызывало волнение, если не сказать – беспокойство. Возле него стояли два чемодана и множество мелкого багажа: баулы, сумки, рюкзаки и коробки, а под голову господина вместо подушки был подложен кожаный кейс.

Можно было бы предположить, что господин – заезжая знаменитость, отставшая от труппы или оркестра. Еще таким образом мог выглядеть жених, сбежавший с собственной свадьбы, или покойник, приодетый по случаю своих похорон.

На лице спящего застыла гримаса отвращения. Наконец неудобная поза, в которой он долгое время находился, похоже, утомила его, и он пошевелился. Открыв глаза, человек тотчас же принял вертикальное положение. Засунув руку в карман, вынул айфон. После неудачных попыток с кем-то связаться отшвырнул его в сторону. Слова, которые он заорал в пространство, тоже не очень-то вязались с его respectable видом: «Сранные мудаки! Сранный город и сраная связь!»

Он посмотрел по сторонам и, не заметив никого, кроме испуганно вспорхнувшего воробья, затих. Воробей, недолго покружив над хилой порослью сквера, спланировал на центральную фигуру пересохшего фонтана с пионером и пионеркой. Фонтан когда-то давно олицетворял картинку счастливого детства: постамент украшали каменные книга,

чернильница с допотопной перьевой ручкой, барабан и пионерский костер. Время их пощадило, а вот детишки лишились некоторых частей тела: девочка – уха вместе с половиной головы, а мальчик – руки с горном. Воробей выбрал уцелевшую голову и уселся на нее, слегка подолбив по макушке. Человек скривился от боли, словно это его стукнули по темечку. Если бы воробей мог слышать внутренний голос странного господина, то он бы не искушал судьбу и давно улетел, но сверканье запонок, похоже, не давало ему покоя.

«Сорок лет прошло, а ничего в этой дыре не изменилось, – подумал незнакомец, – даже эта скамейка».

Он провел рукой по спинке скамьи, выкрашенной ядовитой зеленью.

«Тут где-то должно быть... А, вот, нашел: “Толя + Оля = ...!” Сколько мне тогда было, тринадцать или больше? Кто вообще эта Оля? Та, что села за недостатку в продмаге, или та, что с Бутцем спуталась и напоролась на перо? Господи, о чем я думаю?»

Господин тоскливо оглянулся по сторонам и посмотрел на часы. Они тоже абсолютно не соответствовали месту действия. Солнечный луч, попав на циферблат, усилился, вобрав в себя бесстыдный блеск роскоши и, как мечом, ударил по фонтану. Пионеры не дрогнули, воробей уцелел, а господин еще больше затосковал.

«Зачем было сюда ехать? Что за бред! Кто сказал, что поможет? Кто вообще знает, что поможет? Ну, заехал, посмотрел, и что? Дом развалился, могилы заросли, народ выродился, все самогоном пропахло – люди, квартиры, собаки. У них плотину снесло! Господи! Разве только плотину? Что значит – нет связи с другим берегом? Почему никто не знает, когда отойдет паром?»

Он опять посмотрел на мертвый мобильник и с раздражением спрятал его в карман.

«А эти, в офисе, планктон дебильный, ну нет связи, так что? Отрядили вертолет – и тут. Паша, подонок, партнер гребаный, глаза прячет, дикие бабки крутым эскулапам платит. Не торопись, Паша, и вы, господа коновалы, хоть оно там в моей башке метастазирует, еще не ясно, какой эффект попутно возникает. Станный, надо сказать, эффект. Раньше ни хрена не мог вспомнить – что было год, месяц назад, даже вчера... Вот убей не помню, как доехал, зато ясно вижу, как иду с дружкой по пристани, а мне десять лет, не больше. Так отчетливо все: свет, тени, даже звуки и запахи, что кажется – рядом кто станет, тоже увидит».

Он резко обернулся, словно хотел проверить, не стоит ли кто за его спиной. Там никого не было. Взгляд человека застыл, казалось, что он проваливается в сон, как вдруг очнулся, и в глазах его появился безумный блеск.

«А что, неплохо бы в прошлое провалиться и все по-новому развести! Вот тут река, дождь, туманом пристань затянуло, а по ней банку консервную ветер мотает. Банка дребезжит, а края ее зубастые, волнистые – сразу видно, что ножом вскрывали. Севка мне спасовал, я – ему. Гоняем ее, заводимся, отталкиваем друг друга. Он старше и сильнее, фамилия его похожа на погонялово – Бутц. Севка крепкий, но тупой, как ботинок, и не оттеснишь его, не дотянешься ногой. Я злюсь, кусаюсь, как щенок, а Бутц захватывает меня за шею и отрывает от земли. Ноги болтаются, сучу ими в воздухе, не вздохнуть. Придушит вот-вот. Дотягиваюсь до кармана, где ножичек перочинный припрятан, и ударяю им, куда попаду. Шея свободна, а нож, как жало, торчит в Севкином бедре. А дальше – только свист в ушах и бег...»

Не поймал меня тогда, зато потом по жизни “догнал” на всю катушку. Запугал, что в милицию сдаст, и превратил сосунка десятилетнего в раба. Эх, если бы провалиться туда и все по-своему развести...»

Возбуждение утихло. Человек огляделся вокруг мутными со сна глазами. Откинулся на спинку скамьи.

«Стоп, еще раз... Почему я здесь? Почему еще до сих пор торчу в этом городе и отсюда только один путь – паромом через реку? Что там с поездами и автотранспортом? Не на острове же я! Почему старый ма-разматик паромщик требует багажную квитанцию, которую мне должны выдать в кассе, но не выдают, поскольку у меня перевес багажа? Все это безумный бред! А может, я сплю, или “морфушка” догнала? Нет, не похоже. Вижу пристань, кассу, столб с репродуктором, воробья вижу – там, над пионерами... Охренеть, до сих пор тут стоят пионэры-пенсионэры, вроде меня самого. Но было же, было, твою мать, счастливое детство: “Будь готов! Всегда готов!” на всё и со всеми... Столько раз в фонтане этом отмывал кровавые сопли, хлебая вонючую воду с похмелья. Ну стойте, стойте на посту, и я с вами постою, пока в этой стране все не рухнет к чертям собачьим».

Солнце уже прошло самую высокую точку и скатилось набок, запутавшись в редких сетях листвы над скамейкой. Поблизости никакой другой тени не наблюдалось, и человек, распустив узел галстука, тяжело вздохнул.

«Жара! Почему на мне этот идиотский костюм? Неужели я прямо из театра рванул? Ни хрена не помню. Нет, помню мальчика. Там, в опере этих италяшек глюкозных, мальчик пел. Вылитый я в детстве. Может, тогда я и затребовал вертолет, а Паша быстренько организовал? Что-то не так. Почему без охраны отправил? Где вертолет, почему не ждет? Тут лёту до столицы часа полтора, не больше. Хорошо, ладно, я согласен паромом. Ну так дайте на него сесть! Не пускают с моим багажом! Ну не смех? Паромщик-идиот не признал меня. Этот старый хрен не может не знать знаменитого земляка с голосом Робертино Лоретти. Хорошо, бескультурная свинья, допустим, ты не интересовался музыкой, но про местного бандита по кличке “Солист”, который превратился в миллионера А.Я. Сухинина, о котором трывдят всякие небылицы по ящику, ты должен был слышать! Эх, ребята, да я вас всех с этой речкой, пристанью, городом и паромом купить могу, а вы мне “квитанцию давай”. Я паромщику говорю: “Ты глаза-то разуй! Не видишь, кто перед тобой? Ты сам должен был мне мои вещички поднести и погрузить, а я тебе за это щедрые чаевые заплатил бы”. А он аж трясется: “Перевес, – кричит, – не пущу!”»

Господин Сухинин посмотрел на длинную вереницу чемоданов, баулов, рюкзаков, сумок и портфелей, которая закрутилась кольцами, как змея, вокруг старой скамейки.

«Откуда это все? Я, что ли, это привез, или тут надавали? Может, мне этот хлам ни к чему, но это я решаю. Что значит, у пассажиров по одному чемодану, а у других и того нет? Давай доплачу за перевес, так старик такую хрень понёс – не доплыву, не положено. То есть, другие на этом пароме доплывут, а я ко дну пойду? Подонки малахольный! Надо бы опять туда сходить. Утром пассажиров было немного – человек семь, все налегке. Местные они, чего им возить. Паромщик сказал, что выписана дюжина билетов. Поплывут, когда все соберутся. Мой билет тоже был выписан, но в последнюю очередь, как дополнительный. Не ожидали, что я появлюсь. Так я и сам не ожидал. Старик сказал, что

могут не взять. Пусть попробуют! Камня на камне не оставлю. Фигня какая-то с пассажирами – сидят, молчат. Ребенок ходит рядом, один, без родителей, хоть бы кто слово сказал. Странная такая девочка, лет шести. Подошла, за руку взяла. Чувствую, что тянет меня к парому и молчит. Я оглядываюсь по сторонам, спрашиваю, где ее мама с папой, а она как воды в рот набрала, а за щекой, похоже, конфету держит. Тут паромщик как из-под земли нарисовался и хватъ девчущку, а она ему в руку эту конфету выплюнула – странную такую, блестящую, вроде монетки. Смотрю, тащит ее на паром. Самое время багаж туда незаметно пристроить. Понес чемоданы по трапу, но дальше опять хрень – они, как свинцовые, с места не сдвинуть. Так и простоял, как идиот».

Нарядный господин задумчиво прошелся вдоль цепочки валявшегося в пыли багажа. В конце нашел фельдшерский баул, напоминавший распаренный и мятый баклажан.

«Может, и правда – мне это все ни к чему?» – подумал он и отщелкнул замочек. Порывшись, извлек фонендоскоп, покрутил его в руках, надел на шею.

Уже не злоба, а тоска была на его лице. Он устало опустился на скамейку, задумался,

«Это все, что осталось от отца. Мы так и не встретились. Не помню, чтобы мама когда-нибудь рассказывала, как его забрали. Боялась. Теперь я странным образом чувствую ее боль, смотрю ее глазами: за окном, в закатном солнце, кровоточит Москва-река. В комнате тихо, только тикают ходики и стучит швейная машинка. Стол накрыт к ужину. Мама отрывается от шитья, когда слышит шаги в прихожей. Она поворачивает голову. Перед ней стоит человек с длинным унылым лицом, на котором висит длинный унылый нос, а под ним на шее уныло болтается фонендоскоп. Мама обнимает его и ласково спрашивает:

– Яша, съешь супу?

Он вытирает носовым платком лысую голову, лицо, глаза и нежно гладит круглый мамин живот, обтянутый цветастым ситцем. Целует ее в лоб и отвечает, что не голоден. Немой вопрос застыл в ее глазах. Папа вздыхает и успокаивает, что был вызван по пустячному делу, что фамилия и национальность никоим образом с этим делом не связаны и волноваться нечего. Я сижу внутри маминого живота и уже точно знаю, что долго не высижу, что мама преждевременно родит после известия о папином аресте и что папа больше никогда не вернется. Ему просто не повезет. Он умрет во время следствия. Других врачей выпустят, реабилитируют, а он не выдержит допросов. Маму с младенцем на руках выселят из ведомственной квартиры. Она переедет в этот гнилой городок к дальней родне и будет остаток жизни отрабатывать угол и крышу шитьем и перелицовкой. От папы, знаменитого доктора, останутся пара фотографий, орден, фонендоскоп, аптечка и я, Анатолий Сухинин, по отцу – Каган, взявший в момент оформления паспорта девичью фамилию матери. Вот и вся память об отце. Мать об этом говорить не хотела, расспросы пресекала. О чем было говорить – вокруг сплошь безотцовщина. Во всей нашей дворовой гоп-компании только у Петьки был отец, но полный инвалид. Как говорила Петькина мать, да и моя с этим соглашалась, лучше бы он помер целиком, а не наполовину. Отцы наши гнили кто в земле, кто на нарах, а мы грызлились как голодные псы. Время было такое. По большому счету в этом бауле нет ничего личного, лишь генетическая память всего поколения. Что уж теперь? На кого обижаться? Кому предъявлять претензии? Вождям, толпе? Взывать к справедливости, переписывать

историю? Ее сколько ни переписывай, правды не сыщешь, но и не спрячешь. Разве я сын своего отца? Нет – я сын “трудового народа”, “сын полка” и зоны. Они воспитали меня. С них теперь и спрос».

Анатолий Яковлевич стащил с шеи фонендоскоп, раздраженно бросил его на скамейку, потом скинул пиджак, отстегнул запонки, закатал рукава рубашки и вернулся к стоящему неподалеку багажу. Вглядываясь в чемоданы, ящички, сумки, баулы, наконец нашел то, что искал. В руках его был непонятный предмет, напоминающий коробку от торта.

«Мамина коробка для шитья. Есть тут одна вещица, вот: подушечка для иголок. Помню, как мне, семилетнему шалопаю, пришло в голову на все иголки, воткнутые в нее, нанизать мух. В результате подушечка была изгажена. Мама плакала. Наверное, это был единственный раз в жизни, когда я почувствовал перед ней свою вину. Потом такого не случилось – я был всегда прав».

Из коробки посыпались пуговицы, лоскутки, шнурочки, тесемки...

«Новую подушечку я решил сделать сам. Вот она – кривой ежик. Мама обрадовалась и, поцеловав в макушку, сказала, что это самый дорогой подарок. Ей было за тридцать, когда я родился. Женщина войны, вытянувшая счастливый билетик: ее Яшенька вернулся с войны живой и невредимый, с руками и ногами. Ей можно было позавидовать: умный, добрый, аккуратный, любящий. Он купил ей швейную машинку “Зингер” и не жалел денег на отрезки шифона, на шляпки и перчатки, туфельки и сумочки. Мария была модница. Ей вслед заглядывались мужчины. Столичная жизнь длилась недолго. Когда после ареста отца и его смерти нам пришлось уехать, мама перевезла сюда все самое дорогое: меня и швейную машинку “Зингер”. В ее шляпной коробке должны лежать шляпка, шарфик и перчатки цвета чайной розы».

Он осторожно извлек из коробки почти бесцветный отрезок газовой материи, изъеденный молью и рассыпающийся на глазах. Затем он вынул сверток, развернул старую газету, из которой выпал конверт со старой виниловой пластинкой размером с блюдце.

«Робертино Лоретти, – усмехнулся Анатолий, – как же! Он стал для мамы и путеводной звездой, и разбитой надеждой. Милая мама, как ты хотела, чтобы твой сын был таким же “золотым мальчиком”. Ты уверяла всех, что у Толика голос не хуже, ему только надо выучить слова и ноты. Но мне не хотелось петь, мне хотелось смаковать папиросу в подворотне и кидать ножичек в старый пень. Откуда она узнала про голос, не знаю, но это оказалось правдой. Петь я почти не пел, только напевал, когда чего-то мастерил или кривлялся, а мелодии запоминал с лету. Потом уже, в подтверждение ее мечтам, про мои необыкновенные способности ей рассказала школьная учительница, и мама абсолютно не удивилась. Очень хорошо помню, что к 45-летию Октябрьской революции нас всех построили в коридоре школы и велели петь песню “Варяг”. Я, как всегда, волынил, но вдруг песня вошла в меня, и, бессознательно поддавшись ей, я запел. Это было так, словно запечатанный в тебе звук поднялся из груди и ударил в нос, как газировка – приятно, щекотно, радостно. Я услышал, как мой голос взлетел выше хора, потом подскокачил к потолку и вырвался из форточки наружу. Все затихли. Учительница строго обвела взглядом учеников.

– Кто? – спросила она. – Кто пел?

Я, конечно же, не признавался, мало ли... Но те, кто стояли ко мне поближе, толкали и шикали, чтобы я вышел. Наконец по рядам пролетело: “Это Толик Каган. Он вдруг как запоет!” Пришлось выйти из толпы.

Наша учительница Софья Алексеевна была обо мне всегда самого плохого мнения, но при этом добавляла, что мальчик, безусловно, способный и может добиться в жизни многого, если не сядет. Теперь ей предстояло открыть во мне талант, о котором никто, кроме мамы, не догадывался.

– Каган, расскажи, почему ты никогда прежде не открывал рот? – спросила строго Софья Алексеевна, посмотрев поверх очков. – Мы не первый раз собираемся на спевки к праздникам, и мне непонятно, что тебе мешало запеть раньше? У тебя же уникальный дискант. Тебе 10 лет, и пройдет немного времени, как голос станет ломаться. Нужно показать тебя специалистам в этой области. Я поговорю с твоей мамой. А сейчас попрошу всех замолчать, а Анатолий нам споет песню “Варяг”.

Я стоял, проглотив язык. Слов песни не знал и боялся, что все это закончится опять очередным колом за невыученное домашнее задание. Софья Алексеевна, не дождавшись ни звука, поняла, в чем загвоздка и попросила спеть все, что я хочу. Петть не хотелось, но и кол получать тоже. Я вспомнил пластинку, которую часто слушала мама. На ней пел мальчик на непонятном языке, но пел красиво. Я набрал в легкие воздух и затянул “Санта-Лючию”, подражая манере этого певца. По намокшим глазам учительницы я понял, что могу получить первую в жизни пятерку. Но все закончилось еще невероятнее. Софья Алексеевна села на стул, схватилась за сердце и сунула валидол под язык. Она прошептала: – Невероятно! Второй Робертино Лоретти!

Потом я много раз в детстве слышал: “Он ничем не хуже итальянца, у него даже диапазон шире и тембр богаче”. Это неожиданное открытие повлекло за собой поездку в город, прослушивание у профессора консерватории, направление на учебу в специальный музыкальный интернат. Вся эта история мне смерть как не понравилась. Наш дворовый авторитет и мой хозяин Севка Бутц, сплюнув сквозь выбитые резцы, называл меня канарейкой и ржал, как подорванный, заставляя взять самую высокую ноту. Он презрительно осматривал сшитый мамой костюм, перевязанный галстук, новые ботинки и квадратную черную папку для нот с тисненым портретом волосатого композитора. Где же она, папка эта?»

Не сразу удалось среди багажа отыскать ободранную нотную папку. Вынув ее из-под авоськи с фотоальбомами, он сдул пыль и развязал тесемки.

«Вот, нотная тетрадь, “Сольфеджио” и композитор Бетховен с перевязанным горлом. Про перевязанное горло это Бутц заметил. Я сказал, что это мода была такая – шарф завязывать, а он задвинул меня своим авторитетом: “Ты, пацан, не в теме – Бетховену горло перерезали, и он стал немый”. Я попытался возразить, что не немый, а глухим, но Бутц заткнул, как всегда, с полуслова, и я затих. Перед моим отъездом Севка загнал меня в угол и пригрозил, что делает так, что меня вернут под конвоем и посадят в тюрьму. Артистом не стану, а буду на зоне песни орать. Я испугался. Что взять с десятилетнего пацана? Ехать мне и самому не хотелось, а хотелось быть похожим на Севку, грозу всей местной шпаны».

Господин Сухинин держал пластинку в руках. Он даже попытался что-то пропеть, но помешали воробьи, при первых же звуках шумно вспорхнувшие в небо. Анатолий вздрогнул и с грустью поглядел им вслед.

«Фррр! Шуррр! Ишь, разлетались. Я тогда тоже вроде испуганного воробья был. Из музыкального интерната сбежал. По всей стране меня искали, пока я попрошайничал и автостопом до дома добирался. Когда вернулся, то увидел поседевшую и постаревшую мать, которой уже было

наплевать на музыку – нашелся, и слава богу! Но не к ней я вернулся, а под Севкино крыло. Бедная мама, как она страдала, а после моей первой отсидки в детской колонии тяжело заболела. Мой голос, как положено, прошел ломку, но природа, видимо, не хотела сдаваться. Голос вернулся и даже спас меня от большого тюремного срока, но это уже другая история, не имеющая никакого отношения к воспоминаниям о моей бедной маме. Она умерла, когда я еще не вышел на свободу. Умерла, раздираемая горем от непонимания того, что сделала не так. Почему Севка Бутц стал для ее сына важнее всего на свете, важнее честной жизни, важнее матери? Почему его власть была сильнее? Греясь в лучах его бандитской славы, я не понимал тогда, какое трусливое и подлое ничтожество Бутц. Много не понимал сначала по сопливости, а потом по глупости. Да разве я один? Вся страна прогибалась под властью ничтожества. Я тоже строю ходил, но потом, много лет спустя, стал видеть и слышать другое. Голос собственный, например. Так ясно его услышал, что испугался. Поначалу он был слабый, еле слышный, потом окреп. Я его водочкой, девками глушу, а он – ни в какую. Однажды ночью раскомандовался: “Проснись! Встань! На колени!” Я ему – с какого такого бодуна? И вдруг, сам не знаю, как получилось, только стою на коленях перед открытым окном. А из окна женщина на меня смотрит, и глаза у нее материнские. И тут понимаю: Мать Божья! Она и есть! Пришла и ждет. Горло перехватило, не продохнуть, что делать – не знаю. Рыдать хочется, а глаза сухие. Боль в груди невероятная и немота. Страшно стало, а в башке голос свой слышу: “Прости меня, мамочка, прости!” А потом одно за другим слова из горла полезли, да не простые, а молитвы покаянной. У кого, за что просил прощения – не знаю, да и неважно это было. Наконец слезы полились, и сразу полегчало. Они были действительно горячие, лились по небритым щекам, а я старался глаза протереть, чтобы рассмотреть получше женщину эту в окне, да так и не смог. Колотило так, что зуб на зуб не попадал и, как не по своей воле, хотелось биться головой об пол и орать, вымаливая прощение. Была ли это Мать Божья или моя несчастная мама – не знаю. Когда пришел в себя, то в пустом окне увидел розовеющее на горизонте небо. Понял тогда: новый день моей жизни наступает».

Со стороны пристани донеслись звуки сигналов точного времени. Репродуктор, висящий на столбе, прохрипев, сообщил, что отплытие парома откладывается на неопределенное время. Сквозь его щель робко просочились первые ноты «Санта Лючии». Музыка, набирая силу, полилась сверху. Казалось, что ею сейчас захлебнется все вокруг: и сквер, и воробы, и стоящий у столба господин. Он, задрвав голову, смотрел на репродуктор, то разевая, то захлопывая рот, словно отплевываясь под струями в душе. Его лицо разгладилось, помолодело, а в уголках закрытых глаз блеснули слезы. Когда из горловины репродуктора упала последняя нота, пропетая легендарным мальчиком из далекого прошлого, господин очнулся. Бросив на землю пластинку и стукнув по ней каблуком, он исполнил на ее осколках нечто вроде дикой джиги, после которой обессиленно свалился на скамейку.

«К черту все! Больно. Ух, как больно! Тяжело! Да, тяжело. Может, этот малахольный паромщик прав? Зачем это? К черту все выбросить!»

Произошла удивительная вещь: вереница багажа поредела. Там уже не было фельдшерского баула, коробки с рукоделием, музыкальной папки, а глаза его метались в поисках чего-то важного. Наконец это что-то отыскалось. Рыжий облезлый чемоданчик с вмятиной на боку и с вырезанными буквами А.С.

«Дружочек мой, – присел над ним господин Сухинин, – признал хозяина? Давай, браток, открывайся. Сколько ж ты намотал со мной по тюрьмам и лагерям?»

Рука, поблескивая дорогими часами, нежно гладила мятые бока чемоданного уродца.

«Первый срок был два года в колонии для несовершеннолетних, а второй – пятнадцать строгого режима, но нам с тобой семерочку скостили, а Севка Бутц загремел под вышак. Не удалось ему нас с тобой затянуть, а крутился как вошь на аркане. Все на меня повесил, падла, если бы не ласточка наша – кранты».

Анатолий вытянулся на скамейке, положив руки за голову. Он мечтательно уставился в небо, по которому медленно ползли, толкаясь и налезая друг на друга, невесть откуда взявшиеся тучи.

«Помнишь, друг чемоданище, это было ее первое дело. Она, вроде первоклашки, вела его под надзором главного следователя. Любовь Ивановна. Любочка, Любонька... Молодая, не красавица, но глаз не оторвать. Краснеет, бледнеет. Волосы светлые, со лба наверх зачесаны, коса тяжелая, на носу веснушки, и взгляд твердый. Говорила хорошо и вопросы четкие задавала. И ведь в конце концов раскопала, чего никому до нее не удалось. Правду на свет выудила. Севку засадила, меня вызволила. А как я на свободу вышел, любовь у нас с ней случилась настоящая, с большой буквы Любовь, как она сама. Тут в чемоданчике много чего от нее осталось, только вот ее самой уже давно нет».

Недолго порывшись, он, как фокусник, извлек из чемодана алые кораллы.

«Вот, например, бусы эти. Мой подарок Любаше. Теперь они одна к одной на ниточку нанизаны, а было дело, когда пришлось их в конус газетного кулька ссыпать пригоршнями. Случилось это перед самым Новым годом. Заехала Любаша прямо с работы ко мне. Был предпраздничный короткий день, а она его еще короче сделала, чтобы успеть повидаться. К вечеру должна была вернуться домой к мужу. Ох, как ясно и сладко помню этот день. За окном тогда мороз стоял лютый, а от нас жар шел такой, что можно было на животах блины печь. Целовал я Любашу сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее – губы, щеки, лоб, шею. Случайно нитку потянул, а бусины как из ружья выстрелили. Рассыпались вокруг, как рябина по снегу, по телу ее белому, по простыне смятой. Огорчилась она, ведь только надел их на нее. Я бросился собирать, а она в горсть сгребла и в меня швырнула. Хохочет, голову закидывает, как девчонка. Когда она ушла, я каждую бусинку отыскал, в кулечек сложил, а потом на леску нанизывал. Ждал ее прихода, чтобы отдать, но не взяла, потому как дорогие, муж не поверит, что сама себе купила. У него каждая копейка была на счету. За пять лет их семейной жизни ничего ей не дарил, а если она что покупала без его ведома, то скандалил безбожно. А бусы ей очень понравились, она их у меня дома надевала. Я все ждал, что Люба наконец решится и уйдет от мужа. Не успела. Забеременела, но не знала, от кого из нас ребенок. Когда родила, и сынишка подрос, все стало на свои места, но ей уже никто не смог предъявить претензий».

Господин Сухинин выудил из чемодана мятый лист, сложенный вчетверо. Он осторожно развернул его, еле удерживая в руках от дрожи.

«Неужели это афиша? С ума сойти! Та самая! Выступление тюремного хора в сопровождении, под управлением... и т. д., и т. п... А, вот: "солист – заключенный Анатолий Сухинин". Это Любочка ее сохранила. Она тогда в первом ряду сидела. Выхожу на сцену, как увидел

ее – горло сдавило от волнения, а потом такой кураж наступил, что соловьем запел, не иначе. Тогда, наверное, она меня и полюбила и пошла на все, чтобы помочь. Поверила мне, помогла, а чем я ей отплатил? Вот тут пучок травы лежит, вот уж сколько лет, а запах остался, и его ни с каким другим не спутаешь. Полынь».

Он наклонил голову и втянул носом запах травы, растертой в руках.

«Нашли Любоньку в полыни на обочине дороги, истекшую кровью от ножевых ранений. Она тогда поперек одного авторитета стала. А возвращалась в ту ночь от меня, со свидания тайного. Спешила домой, говорила, что грешница – муж с малым дитем нянчится, а она с любовником кувыркается. Я тогда не отпускал ее, за руки держал, кричал, что все равно она будет моей, и ребенок тоже мой. Она смеялась, потом злилась, потом вырвалась и убежала...

Конечно, следствие и до меня дошло. Чуть опять не загремел, но тут авторитет, убивший Любу, спалился. Сдали его. Меня отпустили, но жить не хотелось. Муж Любы про нас с ней ничего не знал, а как все раскрутилось после ее смерти, так решил меня наказать. Сам он мужик болезненный, хилый, но злой как черт. С ребенком замутил. Экспертизу затребовал. Экспертиза его отцовство не подтвердила, тогда он удумал мальчишку в детдом сдать. Я потребовал сына себе, а мне не дают – две судимости, нет постоянного места работы, жилищные условия не позволяют. Короче, спихнул он ребенка Любиной маме. Я к той прихожу, а она на меня волком смотрит. Говорит, что я во всем виноват. Сидела бы Люба дома с мужем, по свиданкам не шлялась, и не напали бы на нее бандиты. Пытался я ей объяснить, насколько глупы ее доводы, но куда там – крик, слезы, шум. Так Лешка и остался жить с бабой Шурой, не зная, что у него на свете родной отец есть».

Анатолий обхватил голову руками и встал со скамейки. Он нервно ходил взад-вперед, глядя под ноги. Как зверь в клетке.

«Понесла меня неладная в столицу счастья искать – не шли из головы Любочкины слова: “Соловей мой сладенький, обещаю, что артистом станешь, что все услышат, какой ты у меня...” Приехал в Москву, стал пороги обивать: Гнесинка, консерватория, но, может, возраст был уже не тот, и тюрьма свое дело сделала – еще рот не успевал открыть, как за версту чуяли во мне уголовника, а вот братва сразу к рукам прибрала. Начал с ресторана, шансон, туда-сюда... Авторитеты приходили послушать меня. Башляли так, что перестал считать, а потом сошелся с одним народным артистом России, который крутых ребят крышевал. В музыкальный бизнес он меня не пустил, опасался конкуренции, а вот научил многому, с людьми полезными свел, и понеслось – паленая водка, рэкет, краденые машины, казино, проститутки, а потом и посерьезнее дела закрутились на государственном уровне. Про сына Леху забыл, а когда бабка померла, он меня сам разыскал. Но я подумал, что легче откупиться, чем тащить его к себе. Денег предлагал, но сын ничего не хотел: ни денег, ни подарков – только меня, только и нужно было, что плечо отца. А я – что я? Да мудака последний, ради чего сына оттолкнул? Ради пьянок, шлюх, говна всякого. Тут где-то в чемодане его пустышка, мне её Любаша принесла. Сказала Лёшке, что волк унес. Думала выбросить, а потом решила мне принести, потому что я и есть настоящий одинокий волк. Хоть и отец Лехин, но тот еще волчара... И любит она меня за это сильно. Где же эта пустышка?»

Господин Сухинин влез с головой в чемодан, и оттуда полетели какие-то бумаги, тряпки, теплые носки, вязаная шапка. Со звоном стукнулись об асфальт железные ложка и кружка. Он искал и не находил

того, что хотел. Вытряхнув все содержимое чемодана, как старьевщик, внимательно осматривал каждую вещь. Так и не найдя желаемого, стал в ярости пинать рыжий чемодан.

«Ты не сохранил единственную память о сыне! Старый дырявый урод, ты специально ее уничтожил. Я ненавижу тебя!»

Под натиском ударов чемодан развалился на две створки, как раковина, побитая волной. Господин Сухинин, он же зэк по кличке Солист, отошел от разбитого чемодана, увидев неподалеку неказистый рюкзак с оторванной шлейкой.

«Идиот, вот же Лехин рюкзак! Мне же его санитары отдали в больнице. Как же я забыл? А забыл, потому что больше всего на свете хотел это забыть».

Поставив его рядом на скамейку, Анатолий Яковлевич взялся за язычок молнии, но передумал и оттолкнул. Рюкзак откатился на край скамейки.

Схватившись за голову, он завыл.

«Никогда, слышишь, больше никогда ты не откроешь этот ящик Пандоры! Достаточно было одного раза. Ты и так помнишь все, что в нем есть. Оно высасывает тебя, выедает, приходит в ночных кошмарах. Ты пил и ширялся, чтобы забыть и забыться, но не помогало. Твой мальчик, твой единственный сын опять и опять падает с моста на полотно автострады, а ты опять и опять вздрагиваешь, увидев в почтовом ящике конверт с прыгающими корявыми буквами. Этот конверт там, в рюкзаке. Письмо твоего сына, предсмертное письмо. Оно пришло по почте через два дня после его похорон. Ты помнишь наизусть его содержание и, закрывая глаза, ты видишь, как поползли строчки вниз по правому краю, как расплылись в некоторых местах буквы. Ты почти ослеп от слез и с трудом различаешь текст, но ты читаешь опять и опять и не можешь остановиться.

“Здравствуй, папа! Я знаю, что ты хотел меня забрать, когда я был маленьким, но тебе не дали. Баба Шура сказала, что не хотела отдавать меня уголовнику. Я лично не вижу ничего страшного в том, что ты сидел в тюрьме. Я тоже хотел сесть. Тебе я нафиг не нужен, никому не нужен. Ты не хотел со мной жить, но я не обижаюсь. За деньги, которые ты присылал, спасибо. Мне на все хватало. А потом хватало только на наркоту. Стали меня насильно лечить, а доктор сказал, что депрессуха у меня, и надо электричеством по голове шандарахнуть. Стало еще хуже. Я ничего не помню, но говорили, что я орал на всех, бросался и требовал на голову кожу вернуть. Меня связывали и делали уколы. Из больницы я вышел неделю назад. Чувствую себя хорошо, только жить не хочу и не буду. Я чего хотел сказать: ты не подумай, я тебя в своей смерти не виню. Это все баба Шура виновата, но и ее чего уже винить – она и так мертвая. Если бы ты тогда меня забрал, то из меня, может, тоже чего хорошее вышло. Ну, прощай. Пусть напишут на могиле, что я – Алексей Анатолевич Сухинин. Хорошо? А ты – супер! Я тебя в телеке видел. Крепко целую и обнимаю, твой сын Алексей”».

Анатолий Яковлевич Сухинин сидел, бубня под нос что-то вроде считалки:

Две книжки, мячик и бейсболка,  
вьетнамки, треники, футболка,  
фломастер, скрепки, сигареты,  
печенья, мятые конфеты.

Конверты, марки, зажигалка,  
свисток, фонарик, открывалка,  
два фото – Любы и мое,  
носки и нижнее белье.  
Не нужно это никому –  
ни мне, ни Любе, ни ему.

«Отпусти меня, мальчик, прошу тебя. Все, как ты просил, я сделал. На памятнике написано: Алексей Анатольевич Сухинин (1990 – 2005), а под этим: “Любимому сыну – скорбящий отец”, а памятник такой, что люди издалека приезжают на него посмотреть. Я лицей большой построил в память о тебе. Лешка, будь другом, отпусти».

Репродуктор над кассой прохрипел объявление о том, что паром отплывает через два часа. Господин на скамейке никак не прореагировал. Он сполз на землю и, казалось, потерял сознание. Репродуктор продолжал хрипло вещать, а господин валялся в пыли, не обращая внимания на стайку воробьев, которая, осмелев, подлетела к нему совсем близко. Смелый воробей вспорхнул и уселся ему на плечо, целясь клюнуть блестящую запонку, болтающуюся на расстегнутом рукаве рубашки. Анатолий Сухинин очнулся и вслушался в текст, доносящийся из репродуктора. Вдруг заиграла веселая румба, и Анатолий вздрогнул. Он стукнул себя по карману. Радость, что его мобильник ожил, заставила вскочить, судорожно нащупать телефон, быстро вынуть и тут же простонать: «Черт, черт! Сорвалось! Кто звонил, почему нет номера на определителе? Может, Павел, а вдруг она? Нет, после того, что я ей наговорил...»

После долгих отчаянных попыток набрать разные номера Анатолий Яковлевич безнадежно махнул рукой, но не спрятал телефон в карман, а продолжал гипнотизировать его взглядом.

«Ну, давай звони, зараза! Ведь так не бывает! Везде ловил, в любой дыре, а тут – нет».

Анатолий поводит пальцем по экрану айфона. Телефон был мертв.

«А ведь действительно, она могла на этот раз всерьез обидеться. Господи, что за бред! Не обижаются она на меня, уже давно не обижаются. Где же это, а вот...»

Анатолий щелчком открыл на айфоне фотографии и улыбнулся.

«Это наша первая вылазка в Париж. Как она этого хотела! Боялась, что ее дочь пронюхает и устроит истерику. До чего злючая девка! Здоровая тетка – в этом году школу закончила, а мозги как у первоклассницы. Впилась в мать, кровососка. Ниночка рядом с нею – как воробышек, а дочь вся в мужа-бугая, царство ему небесное. Боксером был в тяжелом весе, потом в охранники пошел. Не повезло парню, погиб, как говорится, на рабочем месте. А мне повезло: девочка моя в тридцать пять овдовела, а в сорок меня встретила. В тот день гололед был чудовищный, а она как с неба свалилась под колеса моего “мерса”. Водитель Сашка, дай бог ему здоровья, в сторону машину увел. Побились страшно, а она лежала на дороге бледная, без сознания, с ногой странно вывернутой, будто кукла сломанная. Лицо ее тогда меня поразило – так ангелов пишут. Лоб чистый, высокий, нос тонкий, а губы детские, припухлые. Пока глаза были прикрыты, так я еще ничего, а как их распахнула – аж зажмурился. Океан бирюзовый – вот какие глазищи! С ума сойти! Я потом, после того как в больницу привезли, у Сашки своего спрашиваю: “Это мне показалось, или она действительно супер-класс?” А он мне: “Может, и была когда-то, но слишком уж того – старовата”. Я еще раз взгляделся – все замечатель-

но, и даже морщинки тоненькие, и тени у губ только усиливают ее красоту. Вернее, даже не красоту, а что-то нездешнее, потустороннее. Прозрачность какая-то, что ли, чистота. Имя свое назвала – Нина, потом поправилась – Нина Александровна, чтобы возрасту своему соответствовать, который только в голове ее и есть. Нина, Ниночка – тоненькая ниточка. Оказалось, что она врач-педиатр. Не для меня, вроде, доктор, а лечит все мои болячки, и телесные, и душевные. Никогда у меня еще такой не было».

Анатолий отложил в сторону айфон, встал со скамейки и, возбужденно обежав ее, отжавшись руками о спинку, легко перепрыгнул.

«А ведь без дураков влюбился. Не думал, что вернется эта особенность организма. После Любы все отмерло, и вдруг – на тебе, вот оно! Все обострилось: зрение, обоняние, осязание, что там еще есть – не знаю, но как будто кожу содрали, из панциря вынули, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Трясет и к телефону ведет, как под кайфом. По рукам бьешь, а хочется слышать ее голос, хоть сдохни. А когда слышишь – эрекция вдруг сумасшедшая. Она там деток простукивает, прослушивает, телефон отключает, а ты представляешь ее в постели с накачанным самцом. Бред, а хорошо! Все хорошо: и ревность, и ожидание, и обладание, и пролёты. Вроде сорванного джек-пота и мгновенный проигрыш его. Самое удивительное, что никто вокруг не находил ее красивой. Собственно, только раз решился представить Нину своим. Паша скривился и прямо сказал, что так и не понял, на кой ради нее я бросил всех моих прежних девочек. Он считал, что среди них были и большие красавицы, и большие умницы, а главное – их средний возраст ненамного превышал половину возраста новой избранницы. Объяснять ничего не хотелось, мы с Ниной просто спрятались от всех. Кое-кто считал, что эта странная история с немолодой врачихой – следствие нервного перенапряжения из-за финансового кризиса. Всякое говорили, например, что врачиха закармливает меня какими-то таблетками, дабы поднять потенцию. Шушукались, что я стал полным импотентом и девчонок уже не тяну. Авторство этих мулек было очевидным: не могли мои киски смириться с такой потерей. Называя нас «сухофруктами», горевали, что навар становился пожиже. Дай бог им здоровья – юным подружкам, готовым ради лишней пары сережек или колес (кому как повезет) мириться с тем, что старостью пахнет наш пот, сыплются волосы, желтеют ногти. Они терпят и моются усердно после каждого соития. Они ждут и надеются».

Анатолий Яковлевич растянулся на скамейке лицом к небу. Солнце медленно катилось на запад, растекаясь по земле медовым предзакатным светом. Он прикрыл глаза и, казалось, заснул, как вдруг, сложив губы трубочкой, просвистел невнятную мелодию.

«Черт, забыл эту композицию. Ей она нравилась. Это был джазовый фестиваль в Эйлате – наш последний побег. Как я мог забыть мелодию! Очень известная композиция этого, ну, как его... Как же так! Я же напевал это круглыми сутками... И под эту музыку мы круглыми сутками занимались любовью. Почему я должен был именно это забыть?! Самое плохое, что это даже не забывается, а стирается. Уже проверено. Хочу вспомнить то, что хорошо знаю, что должно быть на том самом месте, где было всегда, но оно пропадает бесследно. Остается черная дыра – пустота. Чем ближе по времени событие, тем больше вероятность, что я его забуду. Это началось как раз после той нашей поездки в Израиль. Сначала было ощущение грязи в мозгах, потом начались эти провалы. Ниночка тогда настояла на обследовании. Когда результаты получили, попыталась скрыть. Я по ее глазам опухшим догадался. Мой дорогой детский доктор

пыталась вселить в меня надежду – медицина, мол, сейчас многое может, этот диагноз не приговор, будем бороться. Знаю, что не в медицине дело. С диагнозом ты или без, никому не дано знать, когда и сколько осталось. Поэтому каждый день принимай как отсрочку. И проживи его, и засни, и проснись с радостью. А я изговнял все. Прогнал ее, чтобы не видела, как слюни пускаю, как падаю и блюю. Не уходила. Как с ребенком капризным разговаривала. Все терпела: мат-перемат, грязные провокации. Улыбнется и голову мою лысую обцеловывает. Старый козел. Она ушла от меня, и я теперь долго тут не задержусь. Не хочу. Зачем?»

Анатолий Яковлевич как-то на глазах постарел. Он сел, тяжело откинувшись на спинку скамейки. Его глаза смотрели в пустоту без выражения, а губы, крепко сжатые, слегка подрагивали.

«Давит эта мерзость на мозги, ох, как давит. И все быстрее выпадают части целого. Я вот уже не помню, как тут оказался. Зато хорошо помню слова старика-паромщика про багаж и квитанцию. А о каком багаже он говорил?»

Господин Сухинин огляделся по сторонам. Ни вокруг скамейки, ни на ней самой ничего не было. Куда-то делись чемоданы, баулы, рюкзаки и коробки, даже кейс, служивший подушкой, непонятным образом исчез. Теперь господин Сухинин был совсем налегке. Он снял галстук, расшнуровал туфли, стал стягивать через голову рубашку, как вдруг со стороны причала раздался гудок и громкоговоритель хрипло загундосил: «Сухинина Анатолия Яковлевича, родившегося 1 февраля 1953 года в городе Москве, просят пройти на посадку. Необходимо иметь при себе документы. Быть одетым в парадный костюм. Паром отходит сегодня, 27 июля в 19.25. У вас есть пять минут для прощания с провожающими. Можно воспользоваться телефоном или оставить записку».

– Телефоном? Издеваетесь, что ли? Записку... Какую записку? – заорал он. – Почему я должен быть в парадном костюме? Кто ты такой, дед? Слышишь меня, там, на переправе, ты совсем, что ли, съехал, а, старичок? Я передумал ехать, понял?

Репродуктор кашлянул и невозмутимо продолжил: «Сухинин Анатолий Яковлевич! Срочно пройдите на посадку. Вам выписан билет вне очереди по вашему требованию».

Господин Сухинин тяжело поднялся и направился к пристани, еле передвигая ноги. Неожиданно опять зазвонил телефон. Анатолий Яковлевич дрожащими руками поднес его к уху.

«Ниночка, чудо мое, как же ты дозвонилась? Тут давно никакой связи. Я должен ехать, меня зовут. Не ехать? Тебя ждать? Да-да, конечно. Сколько надо, столько буду... Да, скажу, что остаюсь. С кем договорилась, с хирургом? Нет, отказываться не буду. Ты права, надо попробовать. Я был дураком, прости. Ты же скоро, да? Да не волнуйся, никуда не поеду, тут паромщик малахольный какой-то, кричит, что теперь мне на следующий паром, но когда – неизвестно. Они уже отплывают. Да-да, без меня... Как хорошо, что ты позвонила...»

Нарядно одетый господин сидел на скамейке в сквере города N, и лицо его светилось от счастья. Он не видел, как за его спиной по реке плывет новый паром с паромщиком, похожим как две капли воды на того, прежнего. Паром медленно причалил, но никто в городе N не знал, по чью душу он прибыл на этот раз.

## Артём РОГАНОВ

Родился в 1994 году в Нижнем Новгороде. Окончил Институт международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Работает копирайтером и переводчиком с немецкого языка. В 2015 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» с романом «Уза».

Живет в Нижнем Новгороде/

## ИГРОВЕК

Комиссар протёр усталое лицо руками и поднял тяжёлую голову. Справа выходили на улицу. Голоса, музыка из пуговиц длинных рубашек. Четверо в чёрных джинсах, штаны идеально облегают благодаря встроенной в ткань программе.

*Подвижная 3D печать*, – подумал комиссар. Он расставил ноги чуть ли не по ширине скамейки, чтобы продемонстрировать собственные джинсы Apple, удачно подчёркивающие мускулы его ног. Старая взйп-галерея «Картина паром» с её перламутровыми карнизами. Она ждала новых гостей.

За четвёркой вышло две пары – молодые мужчины в беретах, две женщины чуть постарше. Одна без косметики, а другая в ярко-седом цвете волос и глаз от Fixchatten. Она вколола утром специальную краску, и кожа стала бледной, вампирской. *У нас в реальности такое уже возможно? Или это пока проект?* Две пары были вместе уже три года. Они жили около пруда, под соснами, посаженными двадцать лет назад, когда в правительстве почётно было заниматься экологией. Хотя одна из дам смахивала на радикальную феминистку, угрозы от неё комиссар не чувствовал, как, впрочем, и от подобных ей.

Он решил, что в этом месте акции не произойдёт. Комиссар хорошо знал непостижимый алгоритм игры. Люди разбредались по домам, клубам и салонам, кто-то шёл на спортивную арену, кто-то в китайский центр здоровья на стыке ультрамаркетов Boss и Have a good time. *Нет, среди них нет потенциальных агрессоров, психодевинтов, неустойчивых, антиадаптантов, радикальных мусульман, радикальных христиан, радикальных капиталистов, радикальных...* Комиссар встал со скамьи и направился вниз по улице, которая, как река, сужалась ближе к своему истоку в Карнавальном квартале.

Три G-modul стора, два винтажных сервис-офиса, помывка машин, шлифовка памяти, эндорфиновый бар, бар обычный – двадцать видов

водки. Полупериферия города провожала его глазами видеокамер. *Бесконечность выбора. Вот основная фишка? Так, сыграно за раунд уже два года, я успел... успел жениться на проститутке, получить три недели за фиктивные левые взгляды, даже поработать сисадмином деревьев на Штейновской площади, развестись. Не успел... Найду читеров, остановлю радикальную акцию и можно будет вернуться, полковник Николас Карапетян повысит мой ранг, и это отобразится по всем каналам, уже не секретно, а гласно, воочию, всем смертям назло... Вторая успешная миссия Васи Фазера в игре, на меня сейчас смотрят стримеры, делают ставки, я, как когда-то футболисты на поле, ещё один гол, дотянуть до конца второго тайма и всё. Или я арбитр этого локального матча? Кто бот, а кто игрок – уже не разберёшь. Да и важно ли это? Вот Эмма точно была ботом, человек не может играть так топорно, пусть даже тебе там, в реальности, лет пятнадцать, всё равно ты знаешь, что фразу «я тебя люблю» женищине первой произносить не положено, да и мужчине тоже пошло вато вообще что-то подобное...*

Карнавальная квартал находился за символической диодной перегородкой. Больше для того, чтобы люди строгих правил случайно не заходили. Одна из немногих удачных попыток перенести европейскую традицию на стоическую, как часто высказывались современники, «внутренне закрепощённую северную ментальность». *Это здесь, в игре, такое возможно, у нас всё равно все по отдельности. Смотрят букой, даже если научились лыбиться и прокачали дружелюбие до 80-ого левела. Но это в реальности, в первичной, так сказать, катке-игре, там до сих пор раздолбанные дороги местами... Зато игры мы делаем лучше всех. Мы творцы, русские, но нам в сотворённом кем-то или чем-то другом мире живётся стрёмно. Недаром у нас отродясь ада не было как такового. Это уже потом завезли. Русский человек знает, что после смерти его ждёт только Ирий – тёплая спокойная страна, мулатки в белых штанах, остров Буян, где можно бесконечно буянить на пару с Вакхом и валькириями. А где же ад, ты хочешь знать, хоуми? – обратился комиссар к некоему выдуманному человеку, с которым всегда вёл мысленные беседы, отчего и мысли его носили удушливый риторический акцент. Расплывчатый образ комиссара собеседника был чем-то средним между его давней любовью Юлией и начальником секретной игровой полиции Николасом Карапетяном. А вот здесь, перед твоими глазами, он и находится! Ирий только внутри, только вывернув свой Ирий наизнанку, вынув, выкинув его из себя, мы можем изменить ад к лучшему. Хотя проще же ведь уйти в свой внутренний Ирий? Так мы и делаем, но я-то получу на свой биосчёт 60 000 универсальных единиц за этот длительный уход. Играем по-крупному от слова «круп».*

Под ногами лежали использованные смартшоты. Комиссар вспомнил, как в его слишком реальном детстве в подъезде точно так же попадались героиновые шприцы. Он аккуратно перешагнул забор, обойдя по-ретроградски казавшуюся ему не смешной, но кошунственной церковью Святого Пастыря Андрея Малахова. Из её окон, заgrimированных под глаза Саурана, доносились кичливые споры. Фосфорические смайлы давили на темноту, отбирая у неё территорию.

Высокий и мускулистый, серьёзный, на грани суровости, немного монгольской внешности, комиссар казался участникам Карнавального квартала бронзовым памятником смерти, которая вдруг однажды взяла

да и сама умерла. Он облокотился на фаллосовидный столб и закурил, потому что искренне думал, что ему так положено по его комиссарской доле и ежедневно доставал ядовитый антикварный табак на Медведевском рынке аутентичных товаров.

Вычленив «опасных субъектов» из гущи людей не мог даже наметанный глаз. Завинченный галстук мостов над головой, цветы, обвиняющие дома, Клуб толстяков, отмечающий здесь барбекю и сладким пивом каждую пятницу, школьники, переодетые солдатами времён последней войны на Ближнем Востоке – когда-то у комиссара болела голова от такого количества символов, людей и цветов, но теперь он уже привык и спокойно курил, следя за танцами левитаторов-любителей. *Сколько же бабок они за это отваливают?* В воздухе, возле окна спортивной площадки, появился баннер и тут же исчез. Комиссар не успел уловить его содержание – он бесплодно высматривал потенциального читера-радикала. *Они будут действовать именно в этот день, именно в этом городе, на этой улице...*

Встроенные в мочки наушники не спасали от разноголосого пения и острой неодадекадентской музыки из ближайшего лицедейского ресторана. Мимо стенда с указателем развлечений пронёсся двенадцатилетний мальчик в огромных перьях. Воздух был сладковатым на вкус, комиссар почесал лоб, потрогал свой светлый ёжик, улыбнулся, словно на камеру. Просунул окурки в урну для пищевых продуктов, хотя в душе всегда полагал, что сигарета больше подходит к разделу «бумага», но поступал в этом отношении так, как поступали все те немногие, кто ещё курил сигареты.

Он двинулся в глубину Карнавального квартала, под эрогенные песни без слов и аутентичных музыкальных инструментов. *Я восхищаюсь игрой – она продумана несовершенно. По крайней мере, её популярность... оправдана? Да. С тех пор как в реальности развитых стран исчезла проблема голода и жилья, многие поигрывают. А что ещё делать? Даже больше чем четыре часа, установленных законодательно. Нелегальные неказино, все дела... вспоминая интернет-передачи реальности. Заморозка через биопровод, универсальные датчики головного и спинного мозга... это у меня безлимитка. Ведь я ищу читеров? Знать бы ещё самому хорошенько, кто это такие. У игры столько патчей. Читеры косят под городских психопатов, террористов из периферийных стран, антиглобалистов. Всё, всё как в реальности. Нет никакого интерфейса, у меня, как у особого игрока, как у арбитра, нет даже выхода в главное меню... вернее есть, конечно, но я забыл, какой мозговой импульс... Я не могу выйти просто так, такая работа. Тем паче несовершенство? Жизнь, в которой можно начать всё заново. Вот суть игры, которой я служу. Тот полуголый босяк. Почему не записался в евразийцы с такими стартовыми показателями? Промыгнул мимо, вот он как ни старается играть в карнавалиста, нет, он всё же обычный русский паренёк, ему на Крещение да в прорубь, да в лодку, с молодой, с водкой, с солёным огурцом, заквашенным на чесночном рассоле. Хочу трапезничать. Крафтовая шаурма, вот что мне действительно сейчас нужно.*

Комиссар протиснулся мимо остановки праздничных трамваев, спускающихся с неба и уходящих под землю так же бесцеремонно, как менялись ароматизаторы улиц. *Вот здесь явно недоработка, сколько ни нюхал, они не похожи на настоящие, запах синтетический, слишком аляповатый. Или это снова несовершенство, задуманное разработчиками?* – подумал

комиссар, подходя к автомату с крафтовой шаурмой. *Мини-конвейер с шаурмой «хэндмэйд». Ирония? Никогда не задумывался, сколько живу, играю.* В те дни она была особенно популярна, к августу того года зафиксировали пик продаж. Потом это стало популярно до тошноты, и о крафтовой шаурме забыли, как это обычно происходит. Комиссар положил монетку достоинством две универсальных единицы, посетовал на глупую программу и после пары дежурных гудков автомата достал пакет с едой.

*В реальности похожие штуки тоже были, помнится. Последний раз Карапетян писал в чат две недели назад. Вчера на киберлинзах отключили Интернет за неуплату, как следствие, и от чата. Они и так слишком часто запотевали, наверное, это из-за того, что я держал их в спирте во время сна... Сложный уровень игры предполагает проблемы с деньгами, могли бы дать гандикап как особому агенту. Но ведь правило – это отсутствие читов для всех? Да. Так нельзя. Моё бремя. Нет, глупо ждать особых указаний. По сути, даже читеры, своеобразные нарушители, те, кто под ролями безумцев выводит обычных игроков в реальность. А ведь цивилы деньги за это платили. В игре легче протестовать, чем в реальности, ещё бы! Сколько я сэкономил игровых страховок?* Комиссар уселся в кресло-хамелеон, чтобы дожевать крафтовую шаурму. Банановый соус таял во рту, открывая вкусовую тропку халяльной баранине. Кресла-хамелеоны, подвижные резиновые кораллы, располагались возле самого большого клуба Карнавального квартала. У нейродрева припарковались самураи-велосипедисты, пили воду и специальные энергетики. Чуть поодаль водили хоровод молодые ребята. Один, в образе Сталина, рассказывал анекдоты, другой уверенно изображал Боудикку, многие наряжались в M&M's – даже пользовалось успехом на маскарадах. *Никогда не понимал, зачем устраивать карнавал в карнавале? Николас болтал что-то про многослойность, так глубоко я в этот отстой игрового мира не лезу. Хотя, с другой стороны, игра больше чем карнавал, конечно же. Это наша маленькая хитрость, возможность наконец-то побыть тем, в кого мы долгие века так безуспешно верили. Героями и богами. Тут я комиссар, а там просто сисадмин бесконечных конференций в бесчисленных мессенджерах. Работаю не по специальности к тому же. Но как же я задолбался быть тут героем и комиссаром.*

Генри Киссинджер танцевал лезгинку с полуголой Гермионой так долго, что чуть не споткнулся об аутентичный фонарный столб. Если бы Киссинджеру стало плохо, долгом комиссара было бы вмешаться и оттащить беззаботного наркофана за звёзднополосатый галстук в ближайшее медкафе. *Люди не должны покидать игру помимо своей воли, просто так терять очки, жизни. У них у всех есть интерфейсы... да. Где ещё жестокий Эрос окончательно станет добреньким Амурчиком, а Танатос – непредвиденными расходами? Там нет, там все ждут Сингулярности, как Мессии, но это так же глупо, как поклоняться Сфинксам, Колоссам, молиться на написанные суровым дядькой-аскетом иконы...*

Кресло обволакивало, шаурма приятно таяла на языке. *Чёрт, я забыл передать показания хоста в коммунальные службы. Теперь мне сеть точно не подключат, да и домашнюю еду вырубят. Кретины.* Комиссар случайно посмотрел на небо, и оно показалось ему красивым, хотя там ничего не было, кроме мрака. Подсветку убрали в целях таинственной безопасности. *Как всегда, эти чиновники.* Хоровод перед

клубом «Красавица и Чудовище» был в самом разгаре. Сталин плясал в центре круга, благодаря тому, что костюм его был новейший, запрограммированный на команды усилием воли, он мог смачно шевелить усами, не прекращая двигаться. Потом Сталин достал ППШ и стал расстреливать из него остальных участников карнавального хора. Боудикка упала первой. Последовали окрики тех, кто понял, что это не шутка. Разворачивающаяся картина стала похожа на отрывок из первоуродного кинематографа. Киссинджер захрипел, перебивая и выстрелы, и музыку. Комиссар почувствовал запах чего-то отвратительного. *Аутентичный ППШ!* – наконец понял он, достал пистолет и направился останавливать радикальную акцию читера.

*Вот оно, вот! Сколько же я вас выслеживал. Ну всё. Стримьте внимательней.*

Сталин сжимал автомат в руках, больше не шевелил усами и выглядел серьёзно, даже подавленно. На комиссара он смотрел с удивлением.

– Отправил уже мусорам свой сигнал, дылда? – спросил Сталин, беспокойно оглядывая освещённые бирюзовым светом фонаря трупы.

– Ты выбываешь из игры за читерство, – ответил комиссар, направляя на гримированный лоб Сталина маленький красный светлячок пистолета.

Сталин поднял бровь. Глаза тихо слезились от ветра и напряжения.

– То есть ты собираешься пристрелить меня игровым Гуглганом? – спросил он и, не дожидаясь ответа, выпустил остатки магазина в живот комиссара, посмотрел вверх, отдал честь куда-то в темноту. Комиссар отключился быстро, ничего не почувствовав. В момент дикой боли транквилизаторы сами потекли по телу. *М-да, многие же забывают... этот последний патч, как часто я про него забываю...* – только и успел он подумать.

Ароматизатор, выходящий незримиными парами из-под асфальта, сменился с «Хвойного леса» на «Ирландский паб». Старательно не обращая внимания на восемь трупов, образовавших на уличном газоне почти что правильную пиктограмму, Сталин направился в клуб, чуть заметно дёргая правым глазом. Ему хотелось в туалет.

Охранники, сутулые от непробиваемых скафандров, уже ждали его. Сталин приложил золотую карточку VIP-клиента – стеклянная стена исчезла. Он вошёл с поднятыми руками, учтиво поздоровался и сказал обречённо, однако всё же бодро, с псевдокавказским акцентом:

– Мы все топливо в пожаре революции.

В последний раз Сталин смотрел на стены родного клуба «Красавица и Чудовище». Карнавальный квартал всегда был его любимым местом. Прежде чем вождя успели скрутить, он раскусил эвтаназийную колбу «Момент» и сомкнул веки. Два охранника, один в костюме красного Халка, а другая в облачении Натальи Морской Пехоты, переглянулись и уग्रюмо перекрестились по хипстерскому обряду.

\* \* \*

Василиса уже дремала, когда её экстренно вызвали в больницу. Всеобщий выходной всегда был опасным днём. Благодаря роботам, в такие дни никто не работал. А когда никто из людей не работал, среди них неизбежно возникало насилие. Оно приходило само по себе и говорило тихое «привет», как в бородатом анекдоте про вежливого лося, вынимало пробку и желало доброго вечера.

Двое любимых спали на другом конце кровати. Алекс ушёл на ночную выставку. Василиса мирно одевалась в тёмной зале, не включая ни свет, ни приложение для помощи в быту. Она хорошо видела в темноте.

Бот, как обычно, ничего не уточнил. Сказал только, что нужен человек, и добавил шутливо: «Вася, прикинь, там одного убитого тоже зовут Вася!»

Вася ненавидела своё имя. Стоя перед зеркалом, она вспоминала одного из виновников своей жизни – отца-краеведа, который был знаменитым пьяницей и мог попробовать все сорок видов водки в баре «Достопочтенный каторжанин». Как только он узнал, что у него будет девочка, то сразу решил назвать дочь в честь Василисы Прекрасной. Потом он пил, потому что народные сказки умерли, и умер сам. Его дочь родилась в эпоху смерти собирателей сказок.

Вася не торопилась, одевалась медленно. Голая, она, как и всегда, начинала с носков. Ей было абсолютно всё равно, успеет ли она кому-то помочь в медицинском пункте. *Алекс вернётся. Завтра. Так. Оззи, надо напомнить. Где моя расчёска. Послезавтра идём на свадьбу Милы и Якова. Вот она. Так, всё. Ухожу. Всем пока. Ключи. Ключи. Вот. Сейчас немного напрячься. Этот поток дел сам меня унесёт. Ботиночки. Никаких завтра поездок на Холмы. Потом куплю себе перчатки. Алекс поймёт. Пусть втроём едут. Я буду спать. Так всё, всем пока. Четыре часа этого гноя и снова отдыхать.*

Вася вышла из дома хмурая, холодная и нервная. Вышла в пальто, старом свитере, мятых штанах и без косметики. Она всегда так одевалась, во многом чтобы не соответствовать своему имени. *Кровельщики, юристы. Как же они заколебали. Штамп «Василиса Прекрасная» ненавидела со школы, противостояла ему, и борьба с клише, которое было частью её имени и жизни, борьба всегда присутствовала в её характере и поведении, во всём её существовании. Детям необязательно было даже знать сказку, чтобы найти смешным двойное имя.*

Метро в экологическом районе ленилось работать по ночам, поэтому Вася сразу пошла пешком. До пункта медицинских операций было не так далеко.

*Кровельщики, юристы. Как же вы меня достали. Вот только позвоните завтра со своей... Конечно, ничего не ходит. Я прождала бы до утра. Здесь ничего не меняется. Сделали метро универсальным... Шире, чем главная пешеходная, а всё так же мало проку. И помойки воняют. Хоть разделяй ты мусор, хоть нет. Даром что бомжам удобнее. Крыши, крыши. Были серые, стали жёлто-розовые. Теперь зелёные дома. Шаровидные. Ничем не лучше. Быстрые стройки, а результат отвратительный. Во всём нет ни капли... Оззи, оставил бы ты эту идею. Нечего ему делать в политике. Трупоедство.*

Кроссовки беззвучно ступали на мягкий асфальт, впитывающий влагу. Вася прошла несколько старых дворов, срезала путь через пёстрые детские площадки. *Зачем сделали освещение. Никто не ходит по дворам. Одни старики.* Спиралевидная крыша небоскрёба осталась позади. Около ночного бара сидели двое измученного вида парней и пили пиво, словно пытаются заглушить монотонное гудение серверов, расположенных у кредитных автоматов в ангаре напротив.

Вдали маячил силуэт пункта медицинских операций. До рассвета оставалось недолго, и запах ночи смывался будничным ароматом обуви, чеков и людей, говорящих с собой и набирающих в воздухе видимые только им символы. *Надо маме позвонить всё-таки. Завтра.*

*Хотя она сама могла бы. Но нет же, гордый амбициозный дизайнер... живущий в деревне.*

У ворот больницы Вася почувствовала на голове что-то липкое и сырое, но тёплое. Она потрогала свой мужеподобный ёжик. *Так. Ждите. Я сначала в душ. Кто-то выкинул из окна надземного поезда недоеденную овсяную кашу. К лучшему.*

\* \* \*

– Переделась бы хоть для виду. Я уже всё сделала за тебя, пока ты мылась.

*Так и было задумано, дурочка. Спасибо той свинье.*

– Мне жаль. А может, и нет.

Игритт посмотрела на Васю, Вася посмотрела на Игритт.

– Ну ты и мракобес.

– А ты лох.

Вася сидела в кабинете за столом и играла с архаичными хирургическими щипцами. Игритт, высокая носатая блондинка в халате и перчатках, делала себе инъекцию серотонино-коаксилового естественного заменителя.

– Да там делов было, программу загрузить да отследить пару моментов, – сказала она, – зачем мы им нужны, непонятно.

*Наркофанка, тоже мне. Колоть себе безопасный скекз вместо опия. Как вэйпинг времён моей молодости.*

Они помолчали. Вася отхлебнула кофе и поправила чёлку. Игритт откинулась на спинку кресла, отложив шприц-пистолет на стол. Вася заметила, как интернет-линзы Игритт слегка запотели.

– Зато я с женщинами не сплю, – улыбнулась наконец Игритт, – и у меня дети свои только будут. Да и скекз безвреднее бухла старомодного.

– И то и другое, на мой взгляд, большое твоё упущение. А про бухло особенно, – сказала Вася, – мне поговорить... ну с тем, которого вернули?

– С Васей то? Гыгык!

Вася злобно похлопала в ладоши. *Шутка отстой.* Казалось, что колбы и электроинструменты в комнате вбирают в себя мокрый звук её пухлых ладоней.

– Ну не мне же, вмазанной, с ним беседовать, – заключила Игритт.

Вася оставила её трястись от сомнительного удовольствия, а сама направилась в палату к одному из тех, кого удалось вернуть к жизни. Полицейские уже уехали, и медицинский пункт виделся ещё более стерильным из-за пустоты, коридорного эха и салатových потолков. Вася была довольна, к её приезду вернули жизнь семерым из восьми. Террориста, конечно, не стали. Самоубийц было запрещено.

*Так, так. Давай. Вспоминай про этого чухана. Разбужу Оззи с Машей и заставлю... Картотека. Винотека в среду уже... Так, его зовут Василий Сергеевич Фазер. 2003. Значит, мы ровесники почти. Так, так. Нет, скекз вообще беспонт. Стоп. Этот чудила из философов. Гуманитарий, значит. Бате привет на тот свет, которого нет! А, так он из поехавших. Из игроков. Понятненько. Третий раз вернули уже. Бедные люди. Зачем только придумали. Мало нам идейных психов. Как этот с доисторической винтовкой. Так ещё эти крокодилы. Игра запрещена. Копирует наш мир. Что может быть унылее. Но в неё продолжают играть. Уже в мире. И свято веруют. Чучело. Скорее бы домой. Этому реабилитацию,*

ой, Маша... Дома зелёные, ага. Жить стало лучше, жить стало веселее. Каждую неделю подпольных игроков ловят, а бестолку. Каждую неделю какой-нибудь попутавший такой ставится под пулю с резиновым пистолетиком. И ведь они вычисляют других психопатов. Эти почти каждый день. Кажется, у них даже договорённость. Надоедает парню работать, жить, и вот он уже с пушкой наперевес. Нормальная тема. Девчонки тоже. Естественный отбор по принципу психологической устойчивости. Неважно, под каким флагом убиваешь и умираешь. Опущенные, че. Сам процесс. Устойчивости к этому говну, в котором мы живём. В этом вся соль. Соль, ага. Мама, чёрт... Быть устойчивым к говну. Ой, ну ты и дьлда, мать твою...

Вася просканировала пациента и села за стеклянный столик, пристально его разглядывая. Фазер остался на длинной кровати. Ему очень хотелось накинуть капюшон, завернуться в толстовку, лечь на бок к стенке и уснуть.

– Я вас сегодня видел.

– Зря.

– Вы красивая. Вас неспроста так зовут.

– А вы – дебил. Ещё раз сделаете мне комплимент, пойдёте к Игритт, она вдолбит вам эвтаназепам, и мы спишем на самоубийство.

– А я и не против, – голос у Васи Фазера заметно дрожал, словно так плохо ему давно не было.

– И ни один клерк по защите прав животных, – подмигнула Вася, – ... Ну вы поняли, это я вас имею в виду под животными... Короче...

– Что-то у вас с этикой не так.

– В рот я пёрла этику, как и всю систему здравоохранения.

– Деваться некуда?

Да, да. Сейчас выложит всё. Вот этот отстойный трёп прокатывает, – подумала Вася.

Но пациент молчал, опустив голову. За окном проехало метро, и палата завибрировала. *Классика новых технологий*, – проворчала про себя Вася.

– Вы понимаете, что вас ждёт реабилитация? Эта игра, с которой запутались вы и не только вы... попробуйте избавиться от неё в ходе оздоровительных процедур. Виртуальная реальность нереальна. Парадокс, но всё же.

Собеседник молчал, почти не шелохнувшись. Вася начала писать отчёт, включив линзы. Снизу доносились голоса человеческого персонала.

– Вы знаете, знаете в какой раз меня пытаются реабилитировать? – спросил он наконец с надрывом в голосе.

– В третий? – насмехаясь над очевидностью вопроса, уставилась на него Вася. *Почему я делаю это вместо бота?*

Фазер снова промолчал. В палате было слишком ярко, и он щурился.

Вася закончила отчёт.

– Мы снова подключили вам линзы, чтобы знать ваше местонахождение. Знаете, мой вам совет... В следующий раз, когда будете нарываться на радикалов, берите нормальный пистолет. И стреляйте, стреляйте, не думая арестовывать вашего «читера».

Мрачный Фазер лёг на кровать, осторожно вытянув длинные ноги.

*Искать их у вас получается всё равно лучшие полиции. Вот только вы обычно промахиваетесь. Даже когда стреляете. А они нет. Они всегда знают. Умеют.*

Когда линзы Фазера подключились, Вася попросила его заполнить и переслать ей несколько документов. Потом она собралась уходить.

– Я правда не хочу больше играть, – сказал ей на прощание Фазер, не вставая с кровати.

– Вам повезло, что он попал в живот. Почти бесследно.

*Задремавшие шизики. Где найти тут островок... В котором не будет этой всей дряни... Неловкости, двусмысленности, неясности. Бесцельности... И то верно. Разложить дома спагетти. Мозг не выдерживает. Не человек. Игровек. Сколько вас таких ещё будет.*

Когда Вася ушла, кровать Фазера приняла удобную для сна форму, и он упал в небытие. Долговязый Вася лежал на спине не ворочаясь, дышал тихо, как мертвец или подводная лодка-шпион.

Проснулся комиссар уже ближе к вечеру, от свирепых гудков, бьющих прямо в «ядро» головы. Это были сообщения от Николааса Карапетяна по гиперанонимной линии хост-моста.

Комиссар налил себе воды из автомата над койкой, почесал ёжик и принялся печатать ответ.

*Да, я вёл себя с этим ботом как надо. Не в первый раз уже. Дадут немного очков по болезни. Хотя она, скорее всего, игрок ноумемори-формата, я даже не знаю, зачем такую роль выбрала. Извини, что облажался с новыми правилами. Ноумемори-формат стал глобален.*

Больничная вода всегда казалась комиссару вкуснее обычной. Она отдавала каким-то особым привкусом не то заботы, не то сочувствия. Хотя комиссар не стал бы утверждать, что именно эти два понятия кажутся ему особенно «вкусными», именно с ними у него ассоциировалась прохладная, бодрящая и умиротворяющая влага.

*Всё же хоть и устаёшь быть комиссаром, а в штаб не хочется, – пронеслось у него в голове. Ответ Николааса пришёл через две минуты.*

*Актёрство за очки всегда отменно тебе удавалось. Слушай, мой друг, у тебя осталось две жизни. Дальше на базу уже только. Не завали следующее, комиссар Фазер. Будем ликвидировать Родиона Раскольникова. Тринадцать убитых, среди них одна политичка. Как получишь от системы ботов все необходимые очки, приступай. И да, не смотри, что у него страсть к холодному оружию. Возьми в этот раз нормальный ствол.*

Сделать дело, а там можно уже в реальность, – подумал расслабившийся комиссар, повернувшись на живот. И только лёгкая вибрация от наземного транспорта за окном еле слышно тревожила его сердце.

## Владимир КЛИМЫЧЕВ

Родился в 1965 году в Горьком. Окончил филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского.

Прозаик, поэт, журналист. Публиковался в литературных альманахах «Золотой век», «Нестолничная литература», «Urbi», «Неизвестный поэт». Автор самиздатовских книг «Портрет русского писателя», «Московский вундеркинд» и сборника рассказов.

Живет в Нижнем Новгороде.

## САМОУБИЙЦА

Только мне снится подобная чушь.

Вообразите: я по невыясненным причинам умер и вместе с душами других покойников организовал клуб самоубийц наоборот. Как в известном рассказе Стивенсона, игроки во сне определяли с помощью карт, кто добровольно отправится на тот свет. Но с одной существенной оговоркой: в моем случае «тот свет» представлял собой мир живых, посетить который удавалось при соблюдении простых условий. Каждый член клуба имел единственную возможность на короткий срок вернуться обратно. При этом желание использовать свой шанс выглядело оправданным: во время экстремального путешествия можно было увидеть близких родственников или друзей, в зависимости от того, где оказывался воскрешенный. С другой стороны, присутствовал риск, что живые люди испытают шок от такой встречи и вынужденный разговор с возвращенцем нанесет серьезный вред их здоровью. Большинство «коллег» по загробному миру отказывались вступать в клуб самоубийц, осуждая действия его членов, по крайней мере, так ситуация выглядела в моем сне.

Правила взятой на вооружение карточной игры были известны опять же по рассказу Стивенсона, но имели свою собственную интерпретацию: обладатель туза пик отправлялся на долгожданную встречу с живыми, а тот, кому при раздаче выпал трефовый туз, выступал в роли исполнителя «смертельного приговора». Убийца обладал законным правом выбрать для экзекуции любые средства: он мог продрать голову из пистолета прямо за игорным столом или перерезать горло ножом – никто не обращал на это особого внимания, потому что все участники жуткого действия и так были мертвы. Крови и душераздирающих криков в нашем мире не существовало, как, собственно говоря, и боли. Добровольные самоубийцы ничего не чувствовали, но горькой расплатой за безболезненность процедуры мог стать инфаркт,

сердечный приступ или психическое расстройство у супруги, мужа или родственников незваного гостя, представшего перед ними в прежнем виде. Считанные минуты потустороннего общения с непредсказуемым финалом – и член клуба возвращался в загробный мир, где все казалось знакомым и привычным. Шанс повторного пересечения непреодолимой границы отсутствовал.

Сон показался мне длинным, но вполне явственным, многие подробности из «жизни» членов клуба я знал как будто заранее, потому что рассказывать о них было некому. Отдельные покойники готовились к рискованному вояжу в покинутый мир со всей ответственностью, считая мероприятие крайне важным. Помню комичный случай, когда один храбрец, вытянув пикового туза, попросил отсрочить путешествие к супруге, объяснив желание тем, что хочет подобрать костюм для предстоящего визита. В принципе это было обычной практикой, но щепетильный коллега слишком затянул с выбором наряда и увидел благоверную раньше, чем сам отправился к ней: бедняжка насмерть разбилась в автокатастрофе, оказавшись под боком у преставившегося возлюбленного. Когда пожилая женщина смирилась со своим новым положением и узнала эту историю, она закатила супругу жуткий скандал, обвинив его в нерасторопности и крайнем эгоизме. Одним словом, пребывание на том свете для покойников бывает не самым спокойным. К такому выводу я пришел во время причудливого сна.

Заседание клуба самоубийц, наоборот, проводилось каждый вечер. В предпоследний раз право на короткое свидание с миром живых получил шестидесятидвухлетний пенсионер Роберт. Самонадеянного мужчину не очень любили в компании игроков, хотя он давно испытывал судьбу за карточным столом и заслужил право отправиться в командировку на «тот свет». Сведений о прошлой жизни кандидата было немного: служил офицером в армии, а после увольнения посвятил себя издательскому делу и коллекционированию антиквариата. Даже среди умерших Роберт старался выглядеть натурой художественной и одевался соответствующим образом, не забывая повязывать на шею стильный шелковый шарфик. Главной темой разговоров для мужчины была его коллекция старинной посуды и столового серебра, собранная за десять лет и целиком оставленная супруге. Роберт ухватился за возможность хоть ненадолго воскреснуть, чтобы проверить, как его благоверная распорядилась драгоценной коллекцией. Какое-то время мужчине не везло, но в прошлый раз пиковый туз наконец-то попал в нужные руки. Палач отрубил Роберту голову старинной саблей, решив, что хранителю антикварных безделушек это придется по нутру. Члены клуба сопроводили экзекуцию едкими шутками и аплодисментами, ставшими своеобразным ритуалом. А через несколько минут, слившихся со сном, пенсионер вновь сидел за тем же столом и с горечью рассказывал о крайне неудачном визите к любимой половине.

– Когда я появился дома в прежнем виде, супруга доставала из шкафа фарфоровую тарелку, произведенную в Лиможе. Начало девятнадцатого века, уникальная вещь! Нужно было крепче держать ее в руках, а не кричать так, словно в дом ворвались грабители. Тарелка оказалась на полу и разбилась вдребезги. Выяснить отношения с супругой у меня не было времени, тем более она нашла повод расстроить меня еще раз, сказав, что выгодно продала серебряный чайно-кофейный сервиз ручной работы французского мастера Молле и другие редкие вещи. Зачем ей это понадобилось, ведь на счету денег и так достаточно.

Пока Роберт делился переживаниями, сидевшие за столом члены клуба открыто хихикали над его словами. На лице пожилого мужчины, разозленного супругой, угадывалось недоумение и даже обида, но исправить ситуацию было нельзя, долгожданная встреча с утраченным миром состоялась, и она принесла случайному победителю игры только разочарование. В клубе самоубийц он больше не появится.

Бенефис Роберта состоялся на предпоследнем заседании клуба, а в прошлый вечер туз пик выпал крепкому на вид, импозантному мужчине сорока двух лет, скончавшемуся от неизлечимой болезни. История Сержа довольно трогательная: успешный бизнесмен женился на молодой, беспечной красотке, но так и не успел насладиться жизнью, сведенный редким недугом в могилу. С тех пор бедняга, нашедший утешение за игорным столом, мучился единственным вопросом: как живет овдовевшая супруга, получив наследство – дорогую квартиру и машину. Хранит верность или уже нашла нового мужчину? «Знак смерти» достался Сержу на третий месяц пребывания в клубе, но прежде воскрешенец сам успел отправить на «тот свет» двух покойников, разобравшись с ними весьма хладнокровно – с помощью обычного топора для колки дров.

Помочь Сержу встретиться с привлекательной половиной должен был недавно разбившийся в цирке клоун Рудольф, именно он получил на руки трефового туза, став орудием рока. Шутник долго и неприятно кривлялся, прежде чем исполнить миссию палача, а затем объявил, что прикончит свою первую жертву с помощью высоковольтного разряда тока, потому что Серж был специалистом в области энергетики. Пришлось ждать, когда Рудольф приведет в действие странную машину с рычажками и кнопками, протянет от нее провода, а затем приложит электрические контакты к голове самоубийцы. Град искр – и взволнованный мужчина отправился на свидание с бывшей супругой, по его словам, эффектной блондинкой. Серж отсутствовал чуть более пяти минут, на протяжении которых члены клуба, уютно расположившиеся за игорным столом, гадали, что ожидает посланца во время необычного randevu. Кто-то предложил начать делать ставки – от идеи благоразумно отказались. А когда Серж вернулся, его понурый взгляд привел в замешательство партнеров по игре.

– Как она? – спросил Рудольф.

– Через два месяца после похорон вышла замуж за моего помощника. Парню всего двадцать восемь, особыми талантами не отличался. Даже в мыслях не мог допустить, что они будут вместе...

Рудольф сочувственно похлопал Сержа по плечу.

– Успокойся, многим бывает несладко после визита туда. Может, только избранные остаются довольны краткосрочным путешествием. Но встретила она тебя с радостью?

– Возник перед ними в самый неподходящий момент, оба лежали в кровати. Этот парень, помощник, которого я даже всерьез не воспринимал, достал из тумбочки пистолет и начал палить в меня, словно ненормальный. А супруга завизжала как резаная и даже чем-то кинула, – ответил Серж, пытаясь скрыть смущение.

– И такое бывает, – с ухмылкой отпарировал клоун Рудольф.

Картинки во сне менялись довольно быстро. И вот члены клуба снова уселись вокруг игорного стола, покрытого зеленым сукном, чтобы выбрать очередную жертву и исполнителя смертного приговора. После раздачи каждый из них должен был продемонстрировать, какую карту

получил на руки. Боксер Виктор, скончавшийся в госпитале на следующий день после чемпионского боя, в который раз остался не у дел благодаря выпавшей даме червей. Но, похоже, именитый спортсмен не торопился на «тот свет», а просто хотел скоротать время в приятной компании. Следующий по кругу – пятидесятилетний таксист Уильям, на полной скорости въехавший в дорожное ограждение. Хорошо, что в тот момент мужчина находился в машине один и теперь имел возможность повидать избежавшую печальной участи семью, в случае везения. Лихач открыл бубновую семерку и слегка огорчился, потому что засиживаться в клубе не входило в его планы. Актер-неудачник Джон попал в нашу дружную компанию благодаря собственным комплексам: представитель творческой профессии бросился с моста, когда в третий раз потерял работу. Во сне я каким-то образом догадался, что настоящих самоубийц в клубе недолюбливали, хотя его члены называли себя именно так. Джону достался трефовый туз, и когда это произошло, было видно, что его рука дрогнула. Наверное, коллега подумал, что ему снова предстоит взять на себя грех – кого-то убить. Но в загробном мире угрызения совести не имели силы.

Еще несколько игроков перевернули карты, но среди них также не оказалось «знака смерти». Наконец очередь дошла до меня, и даже во сне я почувствовал сильное волнение. Любой игрок, пусть даже распрощавшийся с жизнью, бросал за столом вызов судьбе, от которой нельзя увернуться. Решительным жестом я открыл карту и увидел перед собой туза пик. «Замечательно – подумал я, – совершу еще одно увлекательное путешествие, второе за ночь». Кстати, уже во сне выяснилось, что я ушел из жизни самым безответственным образом. Во время загородной вечеринки с друзьями, перебрав спиртного, я случайно выпал из окна двухэтажного коттеджа, разбив голову о камень. Медицинская помощь не потребовалась: удар при падении был чудовищным. В результате трагедии овдовевшая супруга, с которой, надо признаться, мы не очень ладили, осталась с троими детьми самого нежного возраста. Что касается подробностей моего вынужденного пребывания в мире ином, то они известны: я вступил в клуб самоубийц и оказался добровольной «жертвой» – получил на руки пикового туза, благодаря которому собирался навестить брошенную, против воли, семью.

Актер-неудачник Джон почти сразу выбрал оружие, с помощью которого должен был отправить «победителя» в экзотическую командировку. Напарник достал из кармана пиджака увесистый револьвер и выстрелил мне прямо в голову. Как и предполагалось, боли я не испытал и в ту же секунду оказался в собственном доме. Повезло, подумалось мне, – на знакомом диване с чашкой в руках сидела супруга и спокойно смотрела телевизор, сделала вид, что не заметила меня. Тогда я подошел ближе и помахал рукой перед ее глазами, как иногда поступал при жизни – мол, обрати внимание, подруга, у меня не так много времени, чтобы выкаблучиваться перед тобой.

– Ты и на том свете успел налижаться, – недовольно произнесла половина. – Лучше не появляйся здесь, дети могут случайно увидеть.

Такое грубое обхождение не могло порадовать. Ради единственной встречи с ней я подставил свою голову под дуло пистолета, а вместо благодарности должен был выслушивать оскорбления.

– Стерва! – накинулся я на супругу.

– Алкаш! При жизни меня мучил, и теперь в покое не хочешь оставить, – почти прокричала вышедшая из себя женщина. – Куда я

теперь с тремя детьми. Ни копейки денег не оставил, даже на свои похороны...

Выслушав эти обвинения, я снова оказался за столом, рядом с другими членами клуба самоубийц, почему-то ехидно улыбавшимися. Мужчины в комнате оставили мое поспешное возвращение без комментариев и через пару минут стали тихо расходиться, прощаясь до следующего заседания. Я продолжал сидеть за столом в абсолютной тишине, и сидел так до тех пор, пока не понял, что все происшедшее со мной не было сном.

## Сергей БЕЛОЗЕРОВ

Родился в 1975 году в селе Платоновка Тамбовской области. Окончил Тамбовский госуниверситет им. Г.Р. Державина (факультет романо-германской филологии). Генеральный директор телекомпании «Новый Век» города Тамбова.

Победитель IX международного мультимедийного фестиваля «Живое слово» в номинации «Живые истории» (2014). Живет в Тамбове.

### ГРЕХИ НАШИ ТЯЖКИЕ

...и вдруг они все начали жениться! Хотя еще позавчера были полностью мои. Могли без предупреждения завалиться ко мне в три ночи. А они могли. Я мстил им в полчетвертого, игриво подмигивая «Распутиным». «Ах ты... – говорили они, – зараза какая злопамятная! Ложись в зале. Да не сюда! Направо дверь. Тихо! Пальма оценилась. Щенков не подави. Минералка в холодильнике. Пожрать там же. Нет, не буду. Дверь закрой. Ключ положишь под коврик. Мать в обед придет. Рыбок не корми. Нет, не буду. Мне через три часа на работу. Не буду, говорю... Куда ты столько?! Говорил же, половинку... Так нет больше Кеша. Кот, собака, сожрал... Ты прости – может, в следующий раз, а сейчас пора спать. ... Все. На посошок и спать. Рыбок не корми».

Утром, покормив рыбок, я брел домой.

...и вдруг они все начали жениться. По любви. Свадьба чтоб. И чтоб второй день обязательно. Опохмелочный. И баян. И тамада после третьего стола скажет: «Сколько свадеб провел, но такой веселой не видел».

«Серый, ты свидетелем будешь». Даже без вопросительной интонации. Констатируя грядущий факт. И я стал свидетелем. Профессиональным.

Алкаши, натягивающие веревки перед свадебным кортежем,  
бабки с иконами,  
украденная туфля невесты,  
украденная невеста,  
негр из Панамы, поющий во все горло «Господа офицеры»,  
конкурс со стульями,  
пограничное состояние психики,  
свадебный DJ, врубивший американский рэп в деревне Федоровка,  
сумасшедшие частушечницы,

поиски в ночи золотой запонки, потерявшейся в ходе обязательной драки,  
 злой вшитый баянист,  
 белая лошадь, на которой невеста чуть не ускакала в закат,  
 «расщепление эго» у чужих, но вдруг породнившихся людей,  
 цыгане, забредшие на шум,  
 крыса в кухне,  
 опрокинутая кадка с фикусом,  
 гость из Москвы, угнетающий свой гипоталамус водкой и реланиумом,  
 потеря страха,  
 потеря чувства самосохранения,  
 пьяная щедрость,  
 вопрос «А ты вообще кто такой?..»  
 Всему этому я был Свидетелем.

В первую мою свадьбу было несколько некомфортно. А потом ничего... Приноровился. Контролировал общий ход мероприятия, не упуская из вида нюансов. Под ручку со свидетельницей, со штопором в кармане. А как же? На катаниях после торжественной церемонии подружки невесты всегда поначалу жеманничают: «Нет, нет, нет. Я только вино».

Научился целоваться при большом скоплении народа. Да и вообще, научился целоваться. С брачующимися в определенный момент всем все становится понятно, и кричать «Горько!» делается скучно. Поэтому орется «Сладко!» или «Кисло!», в зависимости от того, как на районе принято. Я участвовал в обоих вариантах. Всегда в такой момент выбегает мужик в рубашке уже навывпуск и начинает одной рукой дирижировать процессом, загибая пальцы и громко отсчитывая заявку на мировой рекорд по продолжительности поцелуя. Остальные с радостью поддерживают. «Девять!!! Девять!!! Девять!!! Девять с половиной!!! Десять!!!» Все это время два малознакомых человека в красных лентах через плечо, преодолевая неловкость, стойко выполняют свой долг. Заодно стараются оценить совместную вечернюю перспективу, не выпадая из текущего процесса. Молодым по фигу. Они даже рады, что коллективное пьяное внимание несколько сместилось из центра праздничного стола на периферию. Подарки собраны, деньги посчитаны. Свадьба для них уже как зима после Нового года. Потеряла всякий смысл.

За невесту я торговался так, будто она последняя женщина на Земле. На третий или четвертый раз торговцы живым товаром начали мне приплачивать, только чтобы заткнулся. А то в загс опоздаем.

Шампанское открывал по заказу. Бесшумно, с дымком, с рикошетом от потолка... По заказу.

– Перед свадьбой надо причаститься и исповедаться. Теща настаивает. Ты ж свидетель. Завтра в 7 у церкви. Натощак, – вдруг сообщает мне очередной решившийся.

– Курить-то хоть можно?

– Нельзя. Ладно, покури.

Не скажу, что веровал. Так... Верил во что-то.

– Чего ты так волнуешься, – сказала мама. – Батюшка будет называть грехи, а все будут отвечать «Грешен, батюшка, грешен». И ты вместе со всеми. Вас там таких полцеркви будет. Успокойся.

– А если не мой грех? Можно промолчать?  
– Делай, как я сказала. От греха подальше. Будешь свечки ставить, про Пантелеймона не забудь.

– А он чего?

– А он великомученик. У него здоровья просят.

В 7 утра стою у ворот церкви. Мучаю сигарету. Суну в пачку, достану. Обычно я не завтракал, но сегодня как черти разжигали. Быка бы съел. Но не съел. Нельзя. Мероприятие. Я ж свидетель.

Теща подъехала новоиспеченная. С тестем. Молодые опаздывали. Грехов, видно, набирались перед эрой грядущей безгрешности. Наконец все собрались. Старшее поколение – решительно настроенное, младшее – смущенное, я – с плохо скрываемым безразличием.

До сих пор жалею, что редко захожу в храм. А стоит только зайти... И плывешь. И смотришь зачарованно в своды. Фокусируешься первым делом на большом кресте. На человеке с раскинутыми руками на нем. Он спасает от ощущения случайности твоего присутствия здесь. На то он и Спаситель. К нему идешь в первую очередь. Потом как-то проще. Левее, чуть назад, ровно под куполом – «Всех Святых». Не осознавая, ищешь своих. «Николай Чудотворец» – родовая. Я – Николаевич, отец – Николай Николаевич. «Георгий Победоносец». Дед – Георгий, младший сын – Георгий. «Илья Пророк» – старший сын. «Сергий Радонежский» – тезка. Дальше – насколько свечек хватит. Все время боишься, вдруг кто одернет. Вдруг чего-то сделаешь не так. Чувствуешь себя, как гопота, но с понятиями. Стыдно. Даже за чужой не выключенный мобильный – стыдно. На выходе подходишь к бабушке за прилавком:

– Сорокоуст можно заказать?

Демонстрируешь владение терминологией. Вроде как не просто так... Кое в чем соображаешь.

– За здоровье? За упокой?

– За упокой.

– Новопреставленная?

– Старо.

И суешь сдачу в прозрачный куб для пожертвований.

«Ну шо, пойдём?» – почему-то с украинским акцентом спросил жених. Мужчины сняли шапки, женщины накиннули платки. С богом!

Вошли. Кто поопытнее, перекрестились и за свечками. Я немного помялся у двери. Не то чтоб нехристь какой... Просто робею сперва, на самом деле. Немного погода, ловлю ритм, чужие траектории, начинаю потихоньку, никому не мешая, продвигаться в глубь храма. Осмотрелся. Где Пантелеймон? Наклоняюсь к бабушкиному уху. Бабушка первая попавшаяся, та, которая ближе всех.

– Извините, – тихо говорю, – а святой Пантэлеймон где?

– Пантелеюшка-то? – смягчая мое слишком светское «тэ», переспрашивает бабуля. – Да вон он, рядом с Николаем Угодником.

Внимательно смотрю на мягкий, даже немного женственный безбородый лик. Надо что-то сказать ведь, а молитв не знаешь. Да и какие молитвы? Крестили-то тайком. Мама увезла в далекую деревенскую церковь. Не дай бог кто увидит, как второй секретарь горкома комсомола по храмам шастает. Не поймут товарищи. Стою, шевелю губами ни о чем. Со стороны посмотреть – истово молящийся. Наконец шепотом: «Святой Пантелеймон, дай всей моей семье здравия».

Почему-то кажется, что нужно сказать именно «здравия», а не «здоровья». Есть ощущение, что так смысл просьбы дойдет до адресата быстрее. Потом подумал и добавил: «Дай здоровья, пожалуйста». Чтоб уж наверняка. Поставил свечку, повернулся и пошел к стеночке. Но, чувствуя спиной взгляд архиепископа Мир Ликийских, вернулся. Еще с одной свечой.

Служба. Священники, конечно, ребята крепкие. Строгие очень. С непререкаемым авторитетом у целевой аудитории.

Слушаешь их и рикошетом ловишь обрывки чужих перешептываний. «Молодой-то поп поголосистой будет...», «Мы вообще бесплатно работали. Приход маленький был. Церковь бедная...», «... пил как сапожник, а потом за голову взялся, в семинарию поступил...», «... ноги уже не держат, и присесть негде...» Присесть действительно негде. В православных храмах вера живет не только в сердце, но и в ногах. В простом на первый взгляд испытании усталостью есть что-то честное, неленивое. Молодые, пожилые, совсем сгорбленные, дети... Детей много. Все стоят.

По ходу службы батюшка несколько раз поворачивается лицом к прихожанам, и паства делится напополам. Те, кто постарше и поопытнее, – очи долу. Молодежь, дерзкая в своем незнании, – глаза в глаза с ним.

Женщины, кстати, крестятся намного естественнее мужчин. Без нарочитости. С достоинством. Четырьмя плавными пролетами. Ощущение, что это идет откуда-то из глубин праматеринской памяти, из каких-то суперсекретных разделов генетического кода с грифом «Только для женщин» и непререкаемой печатью Кодировщика.

Мужики же кресты раскладывают очень индивидуально. Кто размашисто, кто вообще без замаха. Этот – суетливо, тот – задумчиво. Один стоит – лоб, правое плечо, да и хватит, другой – вообще плечи поперепутывает. Рядом со мной, неплохо одетый, все как будто латинскую «S» на себе рисовал. Видимо, молился какому-то своему Богу.

Наконец дело к исповеди. Нашел своих подопечных, встал у них за спиной. Подвоха не жду, инструкции получены. «Грешен, батюшка, грешен». Делов-то? Началось. Грех оглашался, мы хором каялись. Свообразная групповая духовная терапия. Стыда нет. На миру, как говорится, и смерть красна. Не знаю, есть ли какой-то греховный рейтинг, всегда ли они перечисляются в определенном порядке, по степени тяжести или как бог на душу положит, но мои были названы где-то посередине. Оба.

«Я назвал не все грехи, – говорит батюшка, – у каждого из вас есть свой личный. Подходите и без излишней стыдливости говорите». На всякий случай пробегаюсь по собственному прошлому. Да вроде мои отпущены. Других вроде нет. Становлюсь в очередь на причастие. Скрещиваю руки на груди, подражая окружающим. «Руки переложки», – шипит завтрашняя теща. «Чего?» – не сразу понимаю я. Она молча выдирает мою правую из-под левой и кладет поверх. Чувствую неловкость от понимания ее понимания моего непонимания происходящего. Вникать раньше надо было. А мне было некогда. Занят был. В качестве председателя школьной пионерской дружины алые галстуки третьеклассникам повязывал.

Люди подходят к священнику, складываются в поклоне, пряча голову под церковным одеянием. Батюшка что-то спрашивает. Они что-то отвечают. Какой-то очень короткий диалог, но с каждым. И тут до меня доходит. Про грех спрашивает. Про тот самый, который: «Он есть у вас, и он не назван. Подходите и говорите. Без стыда». Снова начинаю копаться в памяти. Да вроде ничего серьезного. Кое-что было, но в коллективном «Грешен, батюшка, грешен» будто бы от этого избавился. А такого тяжелого, чтоб в общий перечень даже не попал, нет. Вот хоть убей, не могу вспомнить. Становится неудобно. Меня же спросят. Вон он. Всех спрашивает. И все отвечают. Значит, есть что сказать. А я, получается, не подготовился. Не догрешил и приперся. И сказать мне будет нечего. Единственному. Ситуация неловкая.

По новой запускаю дефрагментацию памяти, мозга... Всего, из чего есть малейшая возможность достать хотя бы толику грешного. Какая-то пункция души прямо. Забор духовного материала на предмет обнаружения следов забытых прегрешений. Лишь бы найти ответ на скорый вопрос. «А вдруг такие активные поиски греха уже сами по себе грех», – вдруг осеняет. «Нет. Не пойдет. Как это батюшке объяснишь».

«Или мой грех – уверенность в его отсутствии? Или был грех, а я не знал, что это грех. И сейчас не знаю. Промолчу о нем. Так он и будет на мне болтаться до смерти». Замечаю, что в этой странной задумчивости потихоньку пячусь назад, пропуская вперед к таинству тех, кто за мной. Некоторые бабульки тоже это заприметили, посматривают как на одержимого. Да и на самом деле, люди к причастию, а я от... Все перебрал, передумал. Хоть чужой на себя бери. Добрался даже до пятилетнего возраста, когда однажды отца дураком назвал. «Ты чего? Дурак?» – сказал. Но этот грех мне отец же сразу и отпустил. По шее. Так что не считается.

Все. Отступать больше некуда. Преклоняю голову перед батюшкой с мыслью, что нет на свете ничего грешнее, чем осознание собственной безгрешности. В его повествовательном бормотании вдруг улавливаю вопросительные интонации. «Про грех спрашивает. Чего говорить-то? Нет у меня греха? Так это гордыня. Самый что ни есть настоящий грех. Интересная получается ситуация. Заработать грех в момент исповеди. Это все со мной происходит?» Думаю, думаю, думаю... Вообще нет вариантов. Выбираю проверенную тактику. «Грешен, батюшка, – говорю, – грешен». Вдруг сработает? Нет. Снова что-то спрашивает. «Да, да, да, – повторяю, – грешен, чего уж тут...». Священник замолкает. Теплая рука берет меня за подбородок и аккуратно подталкивает голову вверх, возвращая тело в привычную вертикаль. Смотрю в глаза служителя культа и понимаю, что он еле сдерживается от смеха.

– Ты мне сегодня имя скажешь, грешник? – спрашивает он.

– Сергей, – отвечаю.

Целую крест, целую руку, целую Книгу, принимаю Святые Дары. Отхожу в сторону, ошарашенный легкостью разрешения ситуации, еще недавно тупиковой.

– Ты чего там так долго? – спрашивает жених.

– Да так, – отвечаю, – в грехах каялся.

– Получилось?

– Ага. Думаю, даже на чуть-чуть вперед.

– До сегодняшнего мальчишника, – влезла теща.

– У вас, Валентина Никифоровна, яд аж с ресниц капает, – зарабатываю я первый грех.

Жених промолчал. Завтра за свадебным столом тамада спросит его: «А как ты будешь теперь называть тещу»? – «Мама», – ответит тот. И все захлопают в ладоши. Так зачем же сегодня все портить косыми взглядами?

– Курим?

– Курим. Во сколько сегодня?

– Давай часика в четыре. На даче.

– Ну. Не прощаюсь. Увидимся.

– До вечера, – сказал жених. И незаметно для будущей родни просемафорил мне глазом. Сие означало, что не в четыре. И не на даче.

И был мальчишник. И была свадьба. И тамада после третьего стола сказал: «Сколько свадеб провел, но такой веселой не видел».

## Поэзия

### Елизавета МАРТЫНОВА

Родилась в 1978 году в Саратове. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета и аспирантуру при нём. Кандидат филологических наук.

Публиковалась в журналах «Наш современник», «Подъём», «Русское эхо», в альманахе «Новые писатели России», коллективном сборнике «Новые имена в поэзии» (Москва) и других российских и зарубежных изданиях. Лауреат премии им. Юрия Кузнецова от журнала «Наш современник» (2008), годовой премии журнала «Сура» (2013). Автор книг «Письма другу» (2001), «На окраине века» (2006), «Свет в окне» (2009), «Собеседник» (2012).

Главный редактор журнала «Волга – XXI век». Живёт в Саратове.

### ЭТО И ЕСТЬ РОССИЯ...

\* \* \*

Кому любовь свою ни говори,  
Слова опять истают до зари  
И снег смотает голубую пряжу,  
И стаи птиц разрежут небеса,  
Послышатся слепые голоса  
Из прошлого, с которым я не слажу.

До крови ранит, но не рвётся нить,  
И я не прекращаю вас любить,  
Ушедших ни на миг не отставляю.  
И снится мне окраина небес  
И светлый сад, и тёмно-синий лес,  
И дом, в котором ждут и умирают –

И снова ждут. И жизнь течёт сама,  
И нету в ней ни горя, ни ума,  
Легка-легка, как будто птичья стая.  
А я во сне летаю тяжело  
И разбиваю тёмное стекло  
Меж адом жизни и небесным раем.

Там живы все. И мама, и друзья,  
И бабушка, и те, кого нельзя  
Увидеть, но забыть их невозможно.  
Сиянье душ и отблески планет,

Их навсегда неутолимый свет –  
И снег, летящий в мир неосторожно.

Я там жила, в завьюженной степи,  
В ночном доме, где темнота слепит  
И где лучина освещает песню.  
А выплачется песенка когда,  
Тогда метель и горе – не беда,  
В прошедшем сгину, в будущем воскресну.

\* \* \*

Не имеет значения,  
Кто окликнул тебя –  
В позднем небе свечение  
Возникает, скорбя.

Если ты оглянулась  
На него так легко –  
Это сердце столкнулось  
Со своим двойником.

И внутри тебя – солнце,  
Рыжий свет – листопад,  
И дорога, что вьётся  
Через облачный сад.

Там звенят самолёты  
И цветут фонари,  
И дома, словно соты,  
Светят небом внутри.

И вблизи, и далёко  
Протекает река,  
Словно смерть, одинока,  
Словно жизнь, глубока.

\* \* \*

Начинается осень. Щербаты ступени её.  
Эта лестница нас на чердак голубиный уводит.  
Там все стены исписаны разною глупостью вроде  
«Саня З. + Марина», и тоненький ветер поёт –

Паутину колеблет, рассеянный свет рассыпает.  
Только выйдешь на крышу – весь город, гляди, пред тобой.  
Здесь темнеет овраг, дальше синяя Волга мелькает,  
Шпиль готический в небо уткнулся упрямой иглой.

Эта осень меня укрывала столиственной мглой,  
Уводила в упорную, гордую горесть любви.

Что теперь от неё, осторожной и скромной, я скрою?  
Ржавый лист паутиной знакомых морщинок овит.

На доске рисовала мелком ярко-белым и жёстким,  
На асфальте – дождём, самолётиком – на синеве.  
Эта осень прошла. Стала женщиной взрослой.  
Эта взрослость её не укладывается в голове.

И сбивается слог, и уходит привычная гладкость,  
И ступени щербаты – на память, на счастье, на боль.  
До свидания, осень. Прощай, моя радость.  
Хорошо навсегда, до конца оставаться собой.

\* \* \*

Того, что было, не вернуть.  
Дорога верная поката.  
Преодолев нелёгкий путь,  
Душа касается заката.

И всё, что с ней произошло,  
Умыто смехом и слезами,  
И чьё-то белое крыло  
Качается перед глазами.

Веди меня, мой дивный друг,  
Мой странный спутник безымянный,  
Сквозь боль, и нежность, и испуг  
В иные дни, иные страны.

Там снег белее, чем всегда,  
И невозможное возможно,  
И осторожная звезда  
Дрожит над городом тревожным.

\* \* \*

Чёрного неба тягучий мёд  
Льётся за горизонт.  
Кто эту тяжкую сладость пьёт  
Вместе с ночной слезой –

Тот навсегда свободен, а я  
Слишком земной была,  
И оставалась – летя, скользя,  
Птицей гнездо вила.

Чёрной звездой сияло оно  
В гуще лохматых крон,  
И облетала его стороной  
Стая старых ворон.

И миновали слухи его,  
И обходила беда...  
Но капля неба – всего ничего –  
Однажды коснулась гнезда.

И вот, как пропасть, зияет оно,  
И видно в его окно,  
Что смерти нет,  
И уже всё равно,  
И боль отменить не дано.

И видно: бежит затяжная вода  
По стёклам домов людских,  
По зеркалам невинного льда,  
Светлым глазам тоски.

И всё скрывает небесный дождь:  
Души, сердца, крыла,  
И обнимает синяя дрожь  
Землю, где я жила.

## Обернись

Судьбу свою встречаю: незнакома  
Она со мной... Идёт-бредёт во мгле,  
Не вспоминая облачного дома  
И прожитого счастья на земле.

А было небо, синее, как ветер,  
И ласточек встревоженный полёт,  
Горячая осень на рассвете,  
Любовь – любовь, которая пройдёт,

Как тянущая боль с температурой,  
Как снег небесный и закат земной.  
...А был ночной проспект многофигурный  
И обморок рябины золотой.

А были встречи, ссоры и разлуки,  
Излучки неопознанных дорог,  
Расколотое сердце – не от муки,  
А оттого, что Бог не уберёт.

И если это вправду было – было,  
И наяву, а вовсе не во сне,  
И если я тебя не разлюбила,  
Судьба моя, ты обернись ко мне...

\* \* \*

Просыпается зимний ребёнок,  
Видит белые окна вокруг.  
Белый свет заштрихован спросонок  
Белым снегом – невольно и вдруг.

Значит, так и предписано в жизни –  
Брать её, оттого что чиста,  
И – ни горечи, ни укоризны,  
Только белая рамка листа.

И рисуй, ради Бога, что хочешь,  
Пусть все линии будут резки,  
Чёрной ручкой и кистью непрочной  
Избавляя себя от тоски.

А иначе не сможешь ты выжить,  
Оттого что суровой зимой  
Нет ни цвета, ни света, ни книжек –  
Остаётся остаться собой.

\* \* \*

Это и есть Россия –  
Белый крылатый снег  
И города родные  
В оцепенелом сне.

Что бы со мной ни случилось:  
Радость, любовь, беда –  
Нежного снега милость  
Выпала навсегда.

Выпала в город старый  
На золотой горе  
И никогда не тает  
В медленном январе.

Нет ни домов, ни улиц –  
Белая мгла строга.  
Здесь фонари, нахмурясь,  
Светят на два шага.

Тонкая колокольня  
Тоньше ночных снегов.  
Окна домов – иконы  
В белом окладе снов.

Словно бы снег усердный,  
Время назад склоня,  
Я прохожу сквозь сердце  
Тех, кто любил меня.

Дальние и родные,  
Все вы мои навек.  
Это и есть Россия.  
Память. Надежда. Снег.

\* \* \*

Прозрачная тень стрекозы  
Мелькает на пыльной дороге,  
Как будто остаток тревоги,  
Как будто мерцанье слезы.

А вот и сама она здесь,  
Как синий худой вертолётник,  
Как чудо – почти что без плоти,  
Из солнца и воздуха смесь.

Летит в полушаге от нас,  
Дразня, обгоняя, взмывая  
Над зеленью поля без края,  
Пока горизонт не погас.

Попробуй её догони!  
Но мы не пытаемся даже,  
Мы свету и тени не стражи  
В прозрачные летние дни.

\* \* \*

Душа легка, почти что невесома,  
Любовью опалённую несомая  
Над полем, над его родной травой.  
Октябрь настал, теплу уже нет места.  
Не холод, но слепая неизвестность  
Томит меня, не примирив с собой.  
Душа легка. В ней музыка звучала,  
Но перестала вдруг – оборвалась.  
Слетает лист, надломленный и алый.  
Жизнь кончилась – и снова началась.

## Валерий ШАМШУРИН

Родился в 1939 году в городе Агрыз Татарской АССР. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета. Работал учителем, директором школы, журналистом и редактором в печатных СМИ, редактором Волго-Вятского книжного издательства, Горьковской студии телевидения.

Поэт, прозаик, публицист. Автор многих трудов и романов на тему нижегородской и российской истории. Лауреат российской литературной премии имени Н.М. Карамзина, премии Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов имени В.С. Пикуля, Большой литературной премии России.

Член Высшего творческого совета Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## ВЕТЕР С ВОЛГИ

\* \* \*

Изба.  
Берёза у порога.  
Плетень.  
Калитка.  
Тополя.  
Полуторка,  
Что мчит, пыля.  
И бесконечная дорога.  
И необъятная земля.

\* \* \*

Всё, что прошло, то стало тенью,  
Но полюбилось навсегда.  
Меня влечёт к уединенью –  
В невозвратимые года.

Они, конечно же, милее,  
Чем новой жизни суета...  
Моя скамья в конце аллеи  
Пока ещё не занята.

Ничьим участием не согреться  
И не утешиться вполне,  
Но вновь бунтующее сердце  
Мешает забываться мне.

## Вечная любовь

*Снизойшла возвышенная милость  
На моё тесовое крыльцо.*

Фёдор Сухов

### I

Был вне раздоров и слухов,  
В мятый плащишко одет,  
Фёдор Григорьевич Сухов,  
Милостью божьей поэт.

Домик бревенчатый с садом,  
Но ни двора ни кола.  
Взгорье крутое, а рядом  
Волга, как песня, текла.

### II

Где только он не скитался,  
Многие знал города,  
Всё же привязан остался  
К этим местам навсегда.

К этой красе, что веками  
Многих вскрыляла не зря...  
Часто бродил он лугами,  
Душу простору даря.

Что ещё нужно поэту,  
Если раздолье кругом?  
И рассылал он по свету  
В письмах гвоздичку с вьюнком.

Вился туман над стогами,  
Мягко пошумливал лес.  
Всё изъяснялось стихами,  
Всё ожидало чудес.

### III

И, как под чуткой рукою,  
Под голубой пеленой,  
Грезило вечным покоем,  
Жило усладой одной.

Здесь, где, на счастье, родился,  
Где ликовал и скорбел,  
С той высотой он сроднился,  
Ту он безмерно воспел.

Ну а иного не надо.  
Что ему жизнь ни готовь,  
Высшая будет отрада,  
Вечная будет любовь.

## Черёма

После ливня, после грома  
Добрым летом  
Расцвела моя черёма  
Белым цветом.

Расцвела моя черёма  
На рассвете  
У дороги возле дома.  
Вот и светит!

До свидания, юни,  
До свиданья...  
Свет мой ясный,  
Зорька-юность,  
До свиданья!

Я забуду боль и страсти,  
И разлуки.  
Не забуду только счастья  
Первой муки.

Первой сладостной истомы  
Добрым летом.  
Озари меня, черёма,  
Давним светом!

\* \* \*

Кишат дожди на мостовой,  
Как будто искры на металле.  
Вновь, осень, двор монетный твой  
Чеканит новые медали.

О как же ныне ты щедра!  
Медали рассыпают клёны.  
И слышат крыши до утра  
Дождей серебряные звоны.

С окна туман рукой сотру  
И вижу: в мире законном  
Берёзы держат на ветру  
Лимонно-жёлтые знамёна.

И снова праздники дождей,  
И бесконечных туч парады,  
И на асфальте площадей  
Бушующие листопады.

## На Откосе

Так напорист, свиреп и неистов,  
Что едва на ногах устоишь,  
Гонит тучи он сорванных листьев,  
Разгоняя осеннюю тишь.

Ветер с Волги, неистовый ветер,  
Бей нам в лица, неистово бей,  
Чтоб не ведать покоя на свете,  
Где без меры – тревог и скорбей.

Чтоб пустые мечты улетали,  
Чтоб не жить, не любить на авось.  
Чтоб открылись все дальние дали  
От истоков до устьев насквозь.

Чтобы нам не раздумывать долго,  
Выбирая меж злом и добром,  
Чтоб вскипала под вёслами Волга  
И отвага владела пером.

\* \* \*

В пуховые платки снегов  
По грудь закутана Россия.  
И тонкий звон берёз рассеян  
Вдоль замеревших берегов.

Но слышу я глухой набат  
И гул нещадного сраженья,  
Где от селенья до селенья  
Соборы древние горят...

Война! Из века в век она.  
Россия, в чём твоя вина?!  
И в чём моя в тот прошлый век,  
Где пепел сыпался на снег?!

И кровь я видел сквозь бинты,  
И лица, полные тревоги,  
Усталых беженцев потоки  
И кладбищ серые кресты.

В тех временах судьбу свою  
Связал я с общею судьбою.  
Как на затихшем поле боя,  
У дорогих могил стою.

## Анна СЕНИЧЕВА

Родилась в 1986 году в Хабаровске. Окончила факультет международных отношений Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского.

Автор книги «Бег от цунами». Лауреат I степени в номинации «Автор стихов» Российского бард-фестиваля «Музыка сердец» (2017).

Член Российского союза писателей. Живет в Нижнем Новгороде.

## В КАЖДОМ ФАКЕЛЕ МЕЧЕТСЯ ПРАВДА И СЛЫШИТСЯ СТОН

\* \* \*

Я всегда любил море. Всегда любил, mon amie.  
Ночевал на причалах, укрывшись солёною тиной.  
Я игрался с цунами охотнее, чем с людьми,  
А ещё танцевал полонез на хребте у плотины.

Моя кровь и большой океан по составу едины.

Я учился дышать под водой у морского конька.  
Он знаком с Айвазовским и пил с Сальвадором Дали.  
Он встречал меня возле заброшенного маяка  
И показывал рифы, скелеты пиратов и корабли.

Представляешь, кораллы цветные на них проросли.

Я всегда любил море. Всегда любил глубину,  
И поэтому я превратился в большого кита.  
Я вчера приплывал на комиссию к Нептуну:  
Он одобрил мой клич, плавники и развилку хвоста.

Моя милая, тут такие просторы, такие места.

Ты бы видела мой вертикальный фонтан из воды.  
Я поставил рекорд по метанию пресных медуз.  
В окружении этой весёлой морской чехарды  
Я почти забываю фисташки и манго на вкуч.

Моя гордость – огромный, свисающий с неба ус.

Я дружу с кашалотом – довольно занятный тип.  
Он недавно развелся, уплыл от сварливой касатки.  
Предлагает совместно отправиться на Казантип.  
Ловит криль и планктон, с китобоями любит прятки.

Он азартный чудак и проспорил мне три стерлядки.

По ночам я пишу тебе письма, рисую по илу портреты.  
Я кручу тебя в памяти, словно ты лист оригами.  
Мне дельфины приносят по вторникам чай и газеты.  
Я читаю про санкции, кризис и прочие ваши цунами.

Очень жаль, что на суше гоняются за деньгами.

А я счастлив, родная. Я волен в подводном мире...  
Но когда твоё имя кричат беспардонные чайки,  
Я до боли скучаю по крошечной нашей квартире,  
Где ты утром ходила в моей перекошенной майке.

\* \* \*

Я видел атлас ночного неба  
и Малый Ковш на твоей руке.  
Я помню страны, в которых не был,  
набойкой стёртой на каблуке.

Ты улыбалась легко и тихо,  
и звезды таяли на заре.  
Сусальным золотом облепила  
цвела на брошенном пустыре.

Смеялись грузчики ресторана  
над шуткой старого рыбака,  
и запах жареного каштана  
бродил по улицам городка.

А мне хотелось задёрнуть шторы  
и рисовать на твоей спине  
Пекин, бамбук и большие горы,  
огни сигнальные на Стене.

Я помню страны, в которых не был,  
по вкусу счастья на языке:  
вино из Крыма с домашним хлебом  
и чай калмыцкий на молоке.

А солнце брызгало перламутром,  
и мы искрились в его лучах...  
Я в свой рюкзак запакую утро  
и понесу его на плечах.

\* \* \*

Я безмерно устал.  
Во мне пепел потухших комет.  
Не заштопаны дыры на черном холсте сюртука.  
Я живу в невесомости сотни космических лет,  
И махорка давно отсырела на дне мундштука.

Я скитаюсь по небу с созвездием Гончего Пса.  
Пёс скулит на луну и угрюмо рычит на ракеты.  
Он голодный и старый,  
И снится ему колбаса,  
И галактика снится из ливера или паштета.

Мы на завтрак грызем лунный коржик напополам,  
Собираем кофейные зерна по спящей орбите.  
Иногда к нам приходит помешанный Магеллан  
И твердит без конца про эпоху великих открытий.

Он макает сухарики в Млечный разлившийся Путь  
И рассеянно шепчет: «Туземцы, туземцы, туземцы»,  
А Большая Медведица лапу положит на грудь  
и качает его,  
и жалеет его, как младенца.

Да и мне не забыть беспощадный и глупый Рим.  
В каждом факеле мечется правда и слышится стон.

– Посмотри, Магеллан, она круглая. посмотри!

– Успокойся, Джордано Бруно.  
Ты видишь сон.

\* \* \*

В моём городе спутаны провода,  
Не доходят до станций сигналы.  
Между нами – столпились года,  
На которые нас разбросало.

На которых до жути белым-бело,  
Монотонно и слишком ровно.  
Между нами – следы замело,  
Никогда их и не было словно.

И живём в параллельных мирах.  
Между нами – не ходят транзиты.  
И бывшее скорбит в проводах:  
Обесточено и позабыто.

\* \* \*

Все дороги прекрасны, моя дорогая,  
к чему нам Рим?  
Мы горим, нашу молодость прожигая,  
огнём горим.  
В нашем пульсе клокочет безумное море,  
ревёт тайфун.  
Ты преследуешь ветер, а я беспризорен,  
иллюзорен и вечно юн.

На веснушках твоих зашифрована карта  
волшебных стран.  
Мы проталины нежного робкого марта  
кладём в карман.  
Прорастают согретые нежные листья  
у нас внутри.  
На груди отпечаток оставил лисий  
Экзюпери.

Улыбнись, как умел улыбаться Алисе  
Чеширский Кот,  
а потом растворимся в годах и числах,  
вводи пин-код.  
Мы оставим на память весеннее небо  
и запах трав,  
и тепло от горбушки пшеничного хлеба  
в родных руках.

Наш потрёпанный глобус закружится в пляске.  
Горят сердца.  
Мы герои из нами придуманной сказки...  
где нет конца.

## Из будущих книг

### Владимир СЕДОВ

Родился в 1953 году в Горьком. Окончил Высшее политическое училище МВД СССР имени Ленинского комсомола. Работал на заводе, в органах МВД, в научно-исследовательском институте, юристом, председателем фирмы «Русский клуб», министром культуры Нижегородской области.

Прозаик и драматург. Член Союза писателей РФ, председатель Нижегородского отделения Союза кинематографистов России. Живет в Нижнем Новгороде.

### РАЗДЕТАЯ РОССИЯ

*Повесть*

В первый день холодов Паша пришел в класс в своем новом зеленом пальто и, не снимая его, сел за парту.

Учительница русского языка и литературы, скользнув удивленным взглядом по ученику, попросила его встать и повернуться. Пока Паша крутился, рассказывая, что это пальто сшили ему дома, учительница подумала: «Боже, это скорее гоголевская шинель, чем детское одеяние. Из чего же оно сшито?» – и вслух попросила: «Вот что, Павел, передай родителям, чтобы завтра пришли в школу».

Отцу, горькому пьянице, Паша говорить об этом не стал. Сказал маме. Мама, услышав, что ее опять вызывают в школу, заплакала. Она и так устала от постоянных проблем: пьянства мужа, каторжного труда на заводе и ночных подработок за швейной машинкой.

Кроме мамы в семье было еще три женщины: две сестры и парализованная бабушка. Все жили в одноэтажном сталинском бараке на окраине города, в маленькой комнате без кухни, туалета и холодильника. Правда, холодильник в семье был и не нужен. Все съедобное съедалось раньше, чем оно могло испортиться.

Вот с одеждой было сложнее. Одежду дети носили по очереди.

В раннем детстве сверстники даже и не подозревали, что Павлик – мальчик, потому что с пеленок он носил обноски старшей сестры. Лишь когда Павлик пошел в первый класс, мама из бабушкиной юбки сшила ему первые брюки. В пятом классе Павлик за зиму три раза переболел воспалением легких, тетя-врач сказала маме, что без теплого пальто мальчик следующую зиму

не переживет. Тогда мама сшила Павлу из бабушкиного балахона добротное пальто.

Бабушка, когда еще могла говорить, рассказывала, что этот балахон ранее был великолепной пелериной из зеленого двухслойного французского драпа, который перешел к ней от ее мамы, фрейлины великой княгини Ольги, дочери российского императора Александра II. Вначале пелерина была отделана горностаеями, но со временем их срезали, а драповую основу перешили в зимний балахон для катания бабушки на коньках во дворе Смольного института благородных девиц.

История этого зеленого драпа, то в виде подарочного материала от императорской семьи, то в виде горностаевой пелерины, то институтского балахона, была длинна и многообразна, но сам материал оставался так же крепок и свеж, как сто лет назад. Поэтому первый выход Павла на улицу в обновке произвел настоящий фурор. На фоне ослепительно-белых сугробов он буквально полыхал зеленым пламенем.

Кто-то смеялся, кто-то сочувствовал. Но равнодушных не было.

Со временем Павел стал замечать, что пальто своей необычностью сделало его «иконой стиля». Все местные девчонки были влюблены в Павла. А для парней он стал непререкаемым авторитетом. Даже папа наконец заметил, что носит его сын, и попытался пальто отнять. Впрочем, безуспешно: сам он к этому времени от вина совсем ослаб, а Павел вошел в мужскую силу. Поэтому, получив от сына отпор, отец понял, что его пьяная тирания в семье закончилась. И он, плюнув на порог дома, ушел жить к своим друзьям в заводскую кочегарку.

Мама долго не могла поверить в это. А когда наконец поверила, расплакалась от счастья.

Старшая сестра после ухода папы поняла, что жить в семье можно без скандалов и ссор.

Младшая увлеклась рисованием и нарисовала странный рисунок: в форточку влетает целое облако разноцветных, невероятно красивых бабочек.

Глядя на этот рисунок, Паша невольно задумался о своей жизни и своем будущем. Представил своего отца. От этого ему стало холодно. Он схватил зеленое пальто, накинул и побежал на улицу, повторяя про себя: «Нет, нет, я не буду таким, как он».

В этот же день жизнь Паши резко изменилась.

Вечером в темном переулке Павел и его дружки, окружив толпой случайного мужика, попросили у него закурить. Но мужчина ничуть не испугался. Он переспросил:

– Чего вам, детки, я не понял?

– Чего-чего, курить давай, а заодно и деньги, – повторил басом кто-то из пацанов.

Дядька опять не испугался и, попросив ребят успокоиться, сказал, что курить – здоровью вредить, а деньги надо не просить, а зарабатывать.

От этих непонятных слов ряды друзей Паши сильно поредели. И Паша, чтобы не уронить свой авторитет, решил ударить мужчину. Размахнулся – и мимо.

Мужик стоял и спокойно смотрел на Павла. А тот – удивленно – на свои кулаки.

Наконец дядька устало вздохнул и, сказав: «Эх, ребятки, ребятки...» – резко ткнул Павла в живот кулаком. От удара в глазах у Павла сверкнуло, и он, задохнувшись, рухнул на землю.

Потом Павла подняли за шиворот и приволокли в спортивный клуб, где этот дядька был тренером по боксу.

Так Павел стал боксером.

Пока до армии Павел потел и тренировался в спортивном клубе, дружки его все испарились: кого посадили, кого зарезали, а кто отравился дешевым вермутом. Так что, когда пришло время исполнить воинский долг перед Родиной, Павел один из всего барака оказался к этому готов.

На проводы пришла только девушка из соседнего барака. Она призналась Павлу, что он ей давно нравится, подарила ему свою фотографию с надписью «На вечную память» и поклялась дожидаться его из армии.

Когда Павел уходил из дома на призывной пункт, мама его перекрестила.

Старшая сестренка обняла.

Младшая подарила рисунок с бабочками.

Даже папа ради такого случая пришел на проводы и напился, как всегда, до беспамьятства. Врач скорой помощи, приехавший на вызов, сказал, что отец до утра может не дожить. По всем законам выходило, что Павлу в этом случае должны были дать отсрочку. Однако тренер по боксу, посмотрев на все эти проводы, посоветовал как можно быстрее, почти бегом, идти служить Родине.

Так Павел и сделал: чемодан в руки, зеленое пальто под мышку – и на призывной пункт. Там его зачислили в десантные войска и загрузили в вагон.

В эшелоне, набитом новобранцами под самую крышу, Павел в своем зеленом пальто сразу привлек внимание сержантского состава и был назначен главным экспроприатором домашних булок, колбасок и наливок у новобранцев для начсостава.

Куда их всех везли, было военной тайной, но Павлу как человеку, приближенному к желудкам сержантов, сказали по секрету, что состав идет в Прибалтику, в учебную дивизию по подготовке сержантов ВДВ. А Прибалтика для новобранцев из центра России была той же границей. Настроение сразу поднялось.

Через сутки, темной ночью, весь эшелон пересадили в грузовики и долго везли по дремучим литовским лесам. Остановились на какой-то поляне, где светили прожектора и лаяли собаки. «Покупатели», то есть представители воинских частей, начали отбор новобранцев.

Павла, человека уже отличившегося, сержанты порекомендовали командиру учебной разведроты. Посмотрев на парня в зеленом пальто, на его кулаки и заставив его подтянуться двадцать раз, командир кивнул: «Пойдет».

Так Павел попал в учебную часть для подготовки младших командиров.

Учебная часть стояла в дремучих литовских лесах.

Сержанты и офицеры с первой минуты старались превратить новобранцев в настоящих защитников Отечества. Передвижение только бегом, стрельба, прыжки с парашютом, газовые атаки, рукопашные бои и днем и ночью. Проглотить еду – первое, второе и третье – полагалось за две минуты.

Командир роты, гвардейский капитан, прохаживаясь перед строем и постукивая шомполом от пулемета по своему идеально гладкому сапогу, учил уму-разуму будущих сержантов:

– Курсанты, пока вы еще сопливы, прыщавы и немощны. Но я обещаю, что через полгода вас не узнает никто, даже родная мать. Вы будете сильны, быстры и отважны, как ваши доблестные отцы, деды и прадеды – воины несокрушимой русской армии. Пусть до этого пока далеко. Но это будет. Вы станете такими же. Потому что служба здесь для вас будет просто лучшими днями вашей жизни. И я клянусь, что вы станете настоящими десантниками – страшным кошмаром для всех врагов нашей великой Родины.

Время шло. Бывшие новобранцы получили звание сержантов, и их направили в войска. Исчезли в прошлом и шомпол, и капитан, и жуткий холод ночных учений. Новоиспеченных сержантов литовский народ провожал надписями: «Прощай, Иван!» Не хотела прощаться лишь одна молодая литовка – гарнизонная буфетчица, к которой регулярно ходил за пирожками Павел, надевая для конспирации вместо солдатской шинели свое зеленое пальто.

В Каунасе на сборном пункте всех сержантов группами распределили по дивизиям: кого в Фергану, кого в Молдавию, кого в Рязань. Павла – в Азербайджан.

Его группа до Тбилиси доехала без приключений. В Тбилиси паек закончился, и Павла, как единственного владельца гражданки, отправили за едой.

Он, накинув поверх тельняшки свое зеленое пальто, вышел на площадь перед вокзалом.

Вокруг – никого.

Ночь.

Все закрыто: и магазины, и буфеты.

Только слева от вокзала, под пальмой стоял одинокий старик в бурке с большим горбатым носом, длинным посохом и козой на веревке.

Павел подошел к нему, снял пальто, поприветствовал и спросил: «А скажи, отец, где бы мне, воину, купить продукты в этом прекрасном городе, где, я слышал, живут самые приветливые и щедрые люди на свете?»

Вскоре Павел, едва соображающий от выпитой чачи и окруженный толпой поющих грузин, загружался в свой вагон с тремя огромными бурдюками вина, жареным барашком и целой корзиной фруктов и овощей. И еще долго слышались под стук удаляющихся колес мелодичные песни щедрых грузин.

Поутру прибыли в Баку. Поезд умчался, а сильно уставших от такой дороги сержантов к вечеру доставили в их воинскую часть.

Разведрота, в которой пришлось служить Павлу, была расположена на краю небольшого городка в ста километрах от Баку. Половина жителей этого городка были азербайджанцы, а половина – армяне, и жили они очень дружно.

Вокруг части в воздухе все время висела одна и та же песня с тягучей однотонной мелодией с непонятными словами. Павел никак не мог понять, почему местные жители называли «это» песней? Понял потом, со временем, когда по-настоящему разглядел природу этой страны, ощутил величие и красоту этих мест.

Утром из-за гор в молочно-серебристой дымке медленно-медленно поднималось солнце, обная пологие склоны, освещая долины. Первые лучи, как музыкант пальцами, нежно трогали аккорды таинственных звуков. Торжественно, не спеша просыпалась, отряхиваясь ото сна, вся природа. Горы, вспыхивая бликами, тянулись к небу. И в этой,

только что абсолютной, тишине, от которой резало уши, все громче и громче сама собой начинала звучать музыка, протяжная и тягучая, как утренний туман в долине.

Это пели горы, долины, реки...

В воинской части пели совершенно другие песни: «Щечки словно снегири, снегири. Губки-ягодки горят».

У каждого воина под подушкой хранилось фото любимой девушки, ну а если таковой не было, то фото Фиделя Кастро или Юрия Гагарина.

Фотография же Пашиной соседской девушки месяц как была обведена траурной лентой. Она его обманула, не дождалась. Вышла замуж за парня из своего барака. Пашино горе было так велико, что штатные стукачи тут же доложили об этом замполиту. Замполит как душевный человек пригласил Павла к себе домой, в семью, чаю попить, военный блок НАТО поругать.

Семья его состояла из скучающей молодящейся жены и дочки.

Павел скромно сидел за столом, пил чай и улыбался жене и дочке. Замполит наизусть цитировал принципы Морального кодекса строителя коммунизма. Но чаепитие прервала тревожная сирена в части. Начались учения по Южному военному округу.

Учения были тяжелыми, со сложным десантированием и длительным выживанием. И оказывается, учения были объявлены не зря: разразился международный конфликт на Синайском полуострове. Глава государства объявил по телевизору, что в СССР есть добровольцы из воздушно-десантных войск, которые хотят оказать содействие одной из сторон конфликта. Павла как отличившегося на учениях включили в состав батальона добровольцев, погрузили в самолет и отправили в сторону конфликта. Павел едва успел отправить свое пальто домой, маме.

После успешного завершения военной операции добровольцев, уже героев, вернули не в Баку, а в Каунас. Там, на плацу перед строем, им вручили правительственные награды, что давало возможность поступить в любой вуз страны вне конкурса. И после дембеля Павел поехал не домой, а в город-герой Ленинград.

С орденом, полученным за защиту интересов Родины на Синайском полуострове, Павел легко поступил в Ленинградский юридический университет. Получив приказ о зачислении и место в общежитии, он отбыл наконец-то к себе – на малую родину.

Тем более что перед тем как отправиться добровольцем на войну, он отослал зеленое пальто маме. И теперь решил забрать его с собой на учебу.

Дома произошли кое-какие изменения. Умерла бабушка.

Папа после проводов сына остался дома.

Мама перестала шить на соседей и принялась за изготовление самопальных джинсов из крашеного брезента.

Старшая сестра помогала ей, успешно продавая эти джинсы местному мужскому населению. Младшая стала помогать и сестре, и маме.

Упаковав зеленое пальто в чемодан, Павел поцеловал маму, с порога помахал сестренкам, папе и умчался в город-герой Ленинград.

В университете учиться было интересно.

Экономику преподавал ветхий профессор с клюшкой, выходец из какой-то полудикой народности, обитающей в Нерчинске. Туда некогда ссылали декабристов, а затем большевиков и троцкистов.

Профессора этого студенты прозвали Шаманом. С детства одна нога у него была короче другой, и поэтому на охоту соплеменники его не брали. Вот он и читал единственную на весь Нерчинск книгу «Капитал» Карла Маркса, забытую кем-то из ссыльных революционеров. А читая, так полюбил это чтение, что выучил его наизусть. И когда этот парень вырос, он приехал в Ленинград. Здесь ему без диссертации как представителю малой народности присвоили звание профессора и направили в университет преподавать политэкономия загнивающего капитализма.

Павлу тяжело давалась политэкономия, и поэтому бесконечные пересчеты приходилось сдавать уже не в университете, а на дому у профессора. А так как это происходило часто, то он подружился с профессором. Тот поил Павла крепким нерчинским травяным чаем и с ностальгией рассказывал о крае, где он родился. О красоте тех мест, об огромном городе Нерчинске и о замечательных людях, проживающих там, об охотниках, золотодобытчиках и безвинно ссыльных. Павел слушал и верил, что есть такое сказочное место. Он мечтал попасть туда. Увидеть все своими глазами. И попал, и увидел, но это было уже в другой стране и при другом государственном строе.

После второго курса предмет профессора закончился, и Павел за ненадобностью отошел от встреч с чаепитием.

После третьего курса Павла и еще двух студентов отправили на месячную практику в город Ригу. Руководитель практики принял студентов в своем кабинете и вместо практики отправил их в Юрмалу, к себе на дачу, полоть и поливать грядки. А поскольку Юрмала была курортной зоной с огромным количеством ресторанчиков, никто не стал возражать против такой повинности.

Дочь руководителя практики, коренная рижанка, в выходные устраивала практикантам экскурсии по столице, красивому древнему городу. Начинала она с центра Риги. Там она произносила длинные патетические речи о свободе малых народов. От столь длинного и туманного предисловия экскурсанты скучали и расходились кто куда.

Через месяц эта практика закончилась, и Павел вез в Ленинград бутылочку «Рижского бальзама» и сувенир – открытку с видом Домского собора.

На последнем курсе, перед самым распределением, будущим выпускникам вдруг назначили лыжный кросс в двадцать пять километров.

Может, кому-то эта дистанция и могла показаться смертельной, но только не Паше. Он был уверен на все сто процентов, что с кроссом проблем не будет. И не было бы. Если бы накануне забега к Паше не подошел его давний университетский друг, который попросил помочь перевезти мебель своей знакомой, заведующей детским садом, со старой квартиры на новую.

Другу Павел отказать не мог. Поэтому, надев зеленое пальто, поехал грузить мебель.

Когда мебель привезли к новой квартире, там помощников ждала подруга хозяйки, тоже заведующая, но гастрономическим отделом магазина.

Павел от счастья, что попал в одно дело с женщиной из гастронома, таскал мебель как ломовая лошадь, то и дело уговаривая свой голодный желудок немного потерпеть.

Наконец, перетаскав и расставив всю мебель, сели за стол. Хорошо выпили и закусили.

Очнулся Паша под самое утро и понял, что до кросса осталось не более часа. В две минуты он покинул теплую компанию и помчался на кросс.

На старте быстро надел лыжи и рванул что было сил. Пробежав километров пятнадцать, Павел потерял темп, и за спиной стало раздаваться требование:

– Лыжню!

Павел не уступал, а прибавлял.

Но проходило какое-то время, и сзади опять слышалось настойчивое:

– Лыжню!

Павел знал, кому принадлежал этот голос. Одному въедливому и настырному парню из параллельной группы.

Наконец Паша сдался и уступил лыжню.

И тот, жилистый, промелькнул мимо Паши как тень.

Потом, на распределении, икнулся Паше этот кросс и этот обгон.

Комиссия рассматривала две заявки: одну, из разведки, в германскую группу войск – мечта каждого студента; вторую, из милиции, в Нижнеокск – ужас каждого студента. Ну и, конечно, кто-то в комиссии вспомнил, как настырный и жилистый обошел Пашу на лыжном кроссе, и того, настырного и жилистого, распределили в Германию, а Пашу – в Нижнеокск.

В Нижнеокске Павел попал на работу в районный отдел милиции. Начальник отдела, приняв во внимание то, что Павел не был женат и жилья у него тоже не было, поставил его на вербовку женской агентуры. Работая там, Павел мог жить на одной из конспиративных квартир у своей резидентши.

Только Павел оформил заявку на деньги для оплаты агентурных сообщений, как грянула перестройка. Финансирование прикрыли, агентура разбежалась, конспиративные квартиры поотбирали. Милиционерам стало непонятно, чем заниматься.

Бандиты превратились в уважаемых людей.

Начальник отдела милиции был честным ментом. Он послушал радио, посмотрел телевизор, собрал личный состав милиции и сказал: «Вот что, ребята, стране пришел конец. Идите, куда хотите, я так жить не могу», вынул пистолет и застрелился.

Павел стреляться не хотел. Хотелось еще пожить. После похорон начальника Павел написал рапорт о своем увольнении из отдела милиции. Сдал оружие, удостоверение и остался без работы и без денег. А так как за столь короткую трудовую деятельность в милиции особых капиталов не нажил, то решил продать свое зеленое пальто.

Приехал на центральный рынок, встал в ряд барахольщиков. Но тут его узнал один из оперативников, дежуривших на рынке. Он подошел к Павлу, пригласил к себе в кабинет. Они разговорились, выпили коньячку, и оперативник предложил ему стать директором рынка. Бывшего директора два дня назад застрелили. Павел посмотрел на свое зеленое пальто, на опера, на коньяк с хорошей закуской на столе и согласился.

Директорствовать было нетрудно. Рынок работал как большой хорошо отлаженный механизм.

Внутри и вокруг рынка кормились сотни и тысячи людей, начиная от цеховиков-миллионеров, кончая собирателями ящиков, коробок

и мусора. Но карманников, гадалок и прочих аферистов было ровно столько, сколько надо. Ни одного лишнего.

К весне Павел довел работу рынка до совершенства. Власти это заметили и создали на базе Пашиного предприятия торговое объединение, доверив ему обслуживать продуктовыми пайками партийную элиту города. Но длилось это недолго.

В августе по телевизору вдруг стали каждый день с утра до вечера показывать балет «Лебединое озеро». Когда, наконец, балет прекратился, диктор объявил, что запретили Коммунистическую партию. Партийная элита исчезла. Пайки раздавать прекратили.

Началась приватизация.

Однажды Павлу позвонил знакомый железнодорожник и сказал, что у него в тупике стоят два вагона из Москвы, битком набитые ваучерами для Татарстана. Казань получать их отказалась. Они там решили жить независимым государством, отдельно от России и Москвы. Свой президент, свое правительство, свои ваучеры. А ему, железнодорожнику, позарез нужны пустые вагоны. Вот он и предложил Паше разгрузить эти никому не нужные казанские ваучеры на рынке. Может, он их цыганам, торгующим семечками, предложит под пакетики.

Вагоны Павел освободил. Но цыгане от ваучеров отказались. Бумага на пакетики не годилась, жестковата.

Тогда Павел дал команду запихать эти тюки с ваучерами в самые дальние подземные склады рынка, чтобы не мешали. И совсем про них забыл.

А через полгода начались аукционы, где за ваучеры продавали весьма интересные объекты казенной недвижимости.

И только за ваучеры.

За большое количество ваучеров.

За тысячи, миллионы.

У простых людей один, два, иногда десять ваучеров – не более.

А у Павла целых два вагона.

На эти ваучеры он купил Центральный универмаг, ликероводочный завод, женскую хоккейную команду с тренировочной базой в Югославии, тюрьму, вернее, один из ее корпусов, и главную башню Нижнеокского кремля. На весь кремль ваучеров уже не хватило. Закончив оформление новой собственности, Павел вызвал в Нижнеокск всю свою семью. И каждого определил в совладельцы вновь приобретенных объектов недвижимости.

Самым прибыльным оказался бизнес, связанный с тюремным корпусом. На верхних этажах Павел обустроил камеры люкс: с баром, телевизором, джакузи, водяными матрасами, музыкой для релаксации, едой из лучших ресторанов города.

Была там и дополнительная услуга – бронирование камер.

Городская элита: политики, бизнесмены, силовики, воры – стала дружить с Пашей. Каждому хотелось забронировать (так, на всякий случай) камеру класса люкс. Все прекрасно понимали, что если кто и не сидит в тюрьме, то это пока. Так что лучше подстраховаться и заранее обеспечить себе место за решеткой получше, помягче и посытнее.

Вторым доходным предприятием оказалась кремлевская башня. Проход через башню Павел сделал платным. Расчет был прост: власть была и всегда будет, и ей положено сидеть в кремле. И все, кто захочет к этой власти попасть, будут платить.

А пока на верхнем ярусе башни организовал музей. Правда, с единственным экспонатом: своим зеленым пальто. Оно висело в стеклянном шкафу с бронзовой табличкой: «Зеленое пальто, из которого вышла вся элита новой России».

Люди из любопытства стали заходить в музей. Приходили и иностранцы. Одни смеялись, другие удивлялись.

Швейцарец, который приходил чаще всех, постоянно рассказывал про свою Швейцарию, и до того красиво, что Паша усомнился в радости проживания на своей исторической родине. Видя Пашино замешательство, швейцарец пригласил его к себе в Швейцарию: «Приезжайте. Мы вас встретим, накормим, напоим, все покажем, все расскажем». Вдруг и у Паши появилось желание стать гражданином этого сказочного государства.

– С гражданством при ваших капиталах проблем не будет, – заверил он Пашу, – но для того чтобы у вас все прошло быстро и гладко, надо все ваши деньги перевести на наши, швейцарские, счета.

Послушал Павел его, послушал и поехал в эту сказочную страну, посмотреть, что да как.

Визу получил в течение часа.

В аэропорту Цюриха Пашу встречали на роллс-ройсе у самого трапа самолета.

Затем был переезд до города Лугано. Там недалеко располагалась русская колония, которая была основана русскими в начале девятнадцатого столетия, когда в эту страну никто не ехал. Тогда Швейцария набирала переселенцев со всего мира.

Благообразный староста провел для Паши экскурсию по этой русско-швейцарской деревне. Говоря ровно и не торопясь, он показывал прудик с красными карасями, баню с березовым веником и хлебным квасом.

Паша еще немного подышал горным воздухом этой нарисованной страны, понял, что это не его, и вернулся к себе в Нижнеокск, в свою любимую Россию, где всё непонятно, но свое, родное.

В городе как раз начались выборы в городскую думу. Первые демократические. Павел как настоящий патриот города, страны и демократии решил стать депутатом.

Свою избирательную кампанию вместе с пятью кандидатами по выбранному ими округу начал мирно и спокойно. На встречи с избирателями они все ходили обнявшись. И во всем поддерживали друг друга.

Но вдруг всех кандидатов в депутаты собрали в избиркоме. И там американские консультанты по внедрению демократии в недемократической России стали учить, как проводить настоящие свободные выборы. Оказывается, все всё делали неправильно.

– Вам, кандидатам в депутаты, надо не помогать и поддерживать друг друга, а, наоборот, ругать друг друга, оскорблять и даже обзывать. В этом истинная западная демократия.

Наиболее понятливые начали прямо там, на этом обучении, спорить, ругаться и поливать друг друга водой и соком.

Все хотели научиться настоящей демократии.

Научился и Павел. Он стал ходить на встречи с избирателями в своем зеленом пальто, говорить проще, драться и ругаться со своими конкурентами. Электорату это очень понравилось. И Павла с огромным отрывом от остальных кандидатов избрали депутатом в первую городскую демократическую Думу.

На следующий день после выборов было торжественное собрание с вручением депутатских значков и удостоверений. Всех вновь избранных депутатов перед началом сессии пригласил к себе сам губернатор.

Когда-то, в советские времена, губернатор был простым аспирантом в закрытом химическом институте. Жил до перестройки тихо и смиренно. Но, наслушавшись «Голоса Америки», решил, что самым правильным и лучшим в мире государством являются Соединенные Штаты. И когда объявили гласность и демократию, он быстро надел майку с американской статуей Свободы, джинсы и стал устраивать митинги и пикеты со своими единомышленниками с требованиями, чтобы в России все было точно так, как там, в его любимой Америке.

Милиция его как организатора несанкционированных митингов и пикетов задерживала. Его единомышленники, которые подрабатывали у Паши на рынке грузчиками, прибежали к Павлу и просили вытащить их товарища из милиции. Павел звонил своим знакомым милиционерам, аспиранта отпускали. И так было несколько раз.

И не стать бы нашему химику никогда губернатором Нижнеокской области, если бы не его величество случай.

Через год после путча первому президенту России во время посещения воинской части Нижнеокского гарнизона срочно надо было подписать государственные бумаги. Все тогда было на ходу. Рядом ни стола, ни стула.

Президент покрутил головой туда-сюда и подозвал проходившего мимо «партизана», чтобы использовать его спину как стол. Этим «партизаном» и был химик, находившийся в этой воинской части на краткосрочных армейских сборах.

Он не посмел отказать президенту. И, полусогнувшись, подставил свою спину.

Президент стал подписывать бумаги. Среди этих бумаг был и указ о назначении губернатора в Нижнеокскую область, но без фамилии. Там, где должна была стоять фамилия будущего губернатора, был пробел. Уже год область была без главы, никто из его президентского окружения в провинциальный Нижнеокск ехать не хотел.

Наш первый президент был человеком неординарным и скорым на решения. Он снова покрутил головой туда-сюда и вдруг спросил свой временный «стол»:

– Как твоя фамилия?

«Стол», то есть наш химик-аспирант, ответил.

Президент взял да и вписал в бланк своего указа фамилию этого временного «стола». Да еще так ткнул ручкой, ставя точку, что новоявленный губернатор подскочил от боли.

Сунув указ «партизану» в руки, президент сказал:

– Властвуй!

Новоиспеченный губернатор не растерялся, не смутился. Он тут же стащил с себя армейскую форму, натянул джинсы и майку со статуей Свободы и помчался из воинской части в Нижнеокск.

Приехал и давай показывать драгоценную бумагу друзьям по митингам, предлагая им идти и брать власть в свои руки. Друзья читали, но мало кто верил, что эта бумага настоящая. Было непонятно, с какой это радости президент России поставил пацана в джинсах во главе целой области. Все это было очень подозрительным. И поэтому идти с ним в

кремль никто не соглашался. Одно дело просто шуметь на митингах, а другое дело – отвечать за судьбу многомиллионной области.

Тогда химик-аспирант и решил навестить Павла. Пришел и спрашивает:

– Как ты относишься к нашему президенту?

Павел уже слышал эту невероятную историю с назначением химика губернатором и осторожно ответил:

– К президенту-то я отношусь хорошо.

– А раз так, то читай...

И протянул Павлу указ президента.

Указ был коротким: такой-то, то есть наш химик, назначается губернатором Нижнеокской области со всеми вытекающими из этого указа последствиями и полномочиями. Ниже следовала дата и подпись президента.

Павел прочитал. Посмотрел на химика.

– Настоящий?

– Обижает, президент сам лично на мне подписывал. Я ему для этого спину свою подставил. Он меня даже ручкой ткнул. Вот, смотри.

Химик, ловко изогнувшись, задрал футболку. Паша увидел на тощей спине будущего губернатора, справа от позвоночника, слабое красное пятнышко.

– Видишь?

Паша не стал спорить, что он видит – след от президентской авто-ручки или всего-навсего пятно на спине, просто сказал: «Вижу».

– А раз видишь, помоги мне власть взять, и уж тогда...

Что «тогда», он не договорил. Может, не знал, что «тогда», а может, уже знал, но говорить не хотел. Но глаза его горели.

Павлу стало жаль этого парня, который, в общем-то, ничего плохого не хотел, а хотел только свободы, равенства и братства для жителей Нижнеокской губернии.

Многие этого хотели в России, и много раз. Вот только никто не знал, как этого добиться. Как правило, все получалось наоборот: свобода становилась тюрьмой, равенство – спецпайками, а братство превращалось в коррупцию.

Павел, глядя на этого вертящегося у зеркала парня в футболке со статуей Свободы и джинсах, опять замаялся. Уж больно дело необычное. И как власть «брать», Паша не знал. В кино видел, что власть брать – дело, конечно, полезное, но опасное. Можно за это или пулю в лоб получить, или петлю на шею.

Но все же Павел решил рискнуть:

– Идем, – сказал он химику. – Только прикрой американскую футболку хотя бы вот моим пальто.

Химик Пашино зеленое пальто надел, статую Свободы прикрыв, и они уже вдвоем спустились из башни на территорию кремля. Решительно подошли к парадному входу обкома партии Нижнеокска.

В здании обкома после запрета Коммунистической партии никого не было, кроме одного-единственного постового, старшины милиции. Тот, пользуясь ситуацией, за отдельную плату проводил экскурсии и потихоньку распродал мебель из пустых кабинетов. Правда, мебель была не ахти какая, сделанная в колониях заключенными. Павел тоже купил у него кресло бывшего первого секретаря обкома КПСС. Почему-то оно было очень тяжелое. Паша еле донес его до своей башни, а затем отправил это кресло к себе, на малую родину, в свой старый барак.

При подходе к зданию обкома будущий губернатор с шага перешел на бег. Подбежал к двери. Дернул ее. Дверь оказалась закрытой. Он стал руками, а затем ногами стучать в нее.

Из-за двери выглянул милиционер. Увидев Пашу, он заулыбался, подумал, что тот пришел прикупить очередной стул. Но химик тут же сунул ему в руки указ президента.

Старшина улыбаться перестал. Посмотрел на человека в джинсах, в майке с американской статуей Свободы и зеленом пальто. Указ взял, еще раз оглядел химика в странном одеянии и спросил:

– И что?

– А то. Ты нашего президента признаешь?

– Признаю, – растерявшись от напора странного человека, сказал старшина.

– А раз признаешь, тогда читай.

Старшина медленно прочитал указ. И даже перевернул его несколько раз. Посмотрел на свет.

Химику не терпелось. Он достал свой паспорт:

– Вот я и есть тот самый назначенный губернатор.

Старшина взял паспорт, указ, сравнил фамилии, неожиданно нырнул назад, в здание, и, резко хлопнув дверью, заперся.

Будущий губернатор бросился за ним и стал с остервенением дергать дверь, потом стучать, настойчиво повторяя:

– Товарищ милиционер, товарищ милиционер...

Но дверь не поддавалась. Поняв, что ему не откроют, химик сник. Снял зеленое пальто и бросил под ноги Паше:

– Ну вот, и пальто не помогло.

Павел пальто поднял, встряхнул и повесил на ручку обкомовской двери.

– Не спеши, – и, приложив ухо к двери, прислушался. Там, за дверью, что-то происходило. Паша поднял кверху палец, дав знак химику: «Замри». Химик замер. Так они стояли минут пять. Тишина. Прошло еще пять минут.

Наконец они поняли, что захват власти не удался. Потоптавшись еще немного, Паша снял пальто с ручки, бросил себе на плечо и, не глядя на химика, собрался уходить.

Но тут дверь здания обкома партии распахнулась, и милиционер, отутюженный, побритый, в полной парадной выправке, отбивая подошвы, строевым шагом подошел к химику. Взглядом споткнулся об изображение американской статуи на футболке новоиспеченного губернатора, но, покосившись на пальто в руках Паши, рывкнул во все горло, приложив руку к козырьку:

– Товарищ... то есть господин губернатор, здание бывшего обкома КПСС находится под охраной, – и, покосившись теперь на Пашу, добавил уже тише: – За мое дежурство происшествий не случилось.

Новоиспеченный губернатор, поняв, что произошло что-то невероятное, отдал честь старшине и тут же назначил его начальником всей охраны кремля, а заодно присвоил ему звание майора.

Вот двери власти распахнулись, и губернатор, пока еще робея, вступил в свои владения.

Лифты не работали, и они втроем, петляя по лестницам и гулким коридорам, пешком поднялись на пятый этаж здания. Погребев связкой ключей, только что назначенный начальник охраны открыл кабинет первого секретаря обкома партии.

Губернатор тут же прошел за письменный стол и стал глазами искать себе кресло. Павел переглянулся с новым начальником охраны и подвинул губернатору простой стул. Тот недовольно поджал губы. Старшина, то есть уже майор, увидев недовольное лицо шефа, стремглав бросился в коридор и через пару минут притащил кресло из соседнего кабинета.

Губернатор, оглядев стройный ряд телефонных аппаратов с гербами Советского Союза, поднял одну из трубок спецсвязи и представился:

– С вами говорит губернатор Нижнеокской области, недавно назначенный лично президентом Российской Федерации... Да, именно... господин генерал. Так что прошу ко мне на доклад в кремль, немедленно.

Положил трубку, задумчиво посмотрел на старшину и устало махнул ему рукой:

– Охрана свободна.

Милиционер, пятясь, вышел. Химик опять взял трубку, но с другого гербового телефона, услышав голос, зажал рукой динамик трубки, посмотрел на Павла и сказал:

– Ты тоже свободен. Да, вот еще что... Ты это, того, Паша, пальто-то выкинь куда-нибудь. А то оно какое-то несерьезное. Еще узнают, что я, губернатор, его надевал, разговоры пойдут нехорошие... В общем, ты меня понял... Я тебе потом другое подарю. Модное и не зеленое. Хорошо?

– Конечно, выкину, не волнуйтесь, – ответил Паша, почему-то перейдя на «вы». И вышел из кабинета. Спустился вниз. Попрощался со старшиной, который уже пришивал майорские погоны, и направился к себе, в башню.

Пальто, конечно, Паша не выкинул. Убрал пока с глаз подальше.

И вот теперь уже заматеревший губернатор вышел к народным избранникам из своего кабинета модно подстриженным и в пиджаке от Юдашкина. Сказав речь о будущем торжестве демократии под его руководством в Нижнеокской губернии, он, сославшись на важные государственные дела, отпустил депутатов, а депутата по двадцать девятому округу попросил задержаться и прийти к нему в кабинет.

Двадцать девятый был у Павла.

Войдя в кабинет, Павел с полупоклоном обратился к первому лицу области:

– Слушаю вас, господин губернатор.

– Да брось ты все эти штучки – «губернатор», поклоны. Мы же друзья.

– Конечно, – вяло согласился Паша.

– Скажи, а почему у тебя на башне нет моего портрета?

От столь неожиданного вопроса Паша растерялся.

А губернатор добавил:

– Скоро к нам приедет делегация из Америки. У тебя на башне, у входа в мой кремль, нет моего портрета. Там исторически всегда висели портреты, а у тебя – тарифы. Непорядок.

И точно, над самым входом в башню, в нише размером метр на полтора, Павел повесил тарифы на вход и въезд в кремль. Когда-то в этой нише была размещена православная икона хранителя города, после революции икону убрали и повесили портрет Троцкого, потом Ленина, затем Сталина, Хрущева, Брежнева и Горбачева.

– Виноват, исправлюсь, – быстро отреагировал Павел, – повесим ваш портрет, господин губернатор, завтра же.

На следующий день рабочие, сняв тарифы в нише на кремлевской башне, повесили портрет губернатора на фоне звездно-полосатого американского флага.

Приехавшая американская делегация заметила и портрет, и флаг и выразила губернатору свое одобрение. Он, счастливый, повез их на экскурсию на крупнейший оборонный завод страны, расположенный в Нижнеокске. До перестройки там производили атомные подводные лодки. Эти гигантские субмарины во время холодной войны наводили панический ужас на американцев. Теперь на этом заводе резали на куски эти атомные подводные крейсера, а из их титановых корпусов клепали питьевые бачки на полтора ведра для сельских поликлиник. С краниками и кружками на цепочках.

А губернатор еще долго объяснял рабочим завода, что теперь воевать нам не с кем, армия нам не нужна, корабли порежем, самолеты перделаем, танки переплавим. И американцы сделают то же самое: перделают все свои атомные подводные лодки на питьевые бачки, а все эсминцы – в круизные лайнеры...

Народ слушал и ничего не говорил. Кто его знает? Может, и правда все будет так, как утверждает этот молодой симпатичный губернатор. Может, наконец сбудется мечта человечества, все станут братьями, и не будет ни войн, ни голода, ни горя.

Молча люди расходились по своим рабочим местам клепать питьевые бачки. Но что-то не клепалось. Так ли все это? Как бы не остаться в очередной раз в дураках. Сколько раз слушали, верили, а потом опять начинали по новой строить заводы и создавать армию, только уже кровавым потом и каторжным трудом.

Пока Павел занимался выборами, портретом, делегацией, исчезла младшая сестра.

Оказалось, она уехала в Забайкалье по зову какой-то секты. Там при необъяснимых обстоятельствах ее задержала милиция и отправила в Нерчинский спецлагерь. Оттуда сестра прислала Павлу весточку с просьбой о помощи. Павел тут же выехал Нерчинск.

Пока добирался, сердце его трепетало: город-легенда. В сознании его проносились ссылка, декабристы, их преданные жены.

Хромой профессор, уроженец этих мест, на своих лекциях очень часто рассказывал студентам-романтикам об этом удивительном интеллектуальном крае, где уже четыре века в местах заключения куются свободолобивые идеалы и лучшие люди общества.

Еще на подлете к Нерчинску Павел был неприятно удивлен скучной и неряшливой природой этих мест. Бесконечные сопки монотонно тянулись под вертолетом, изгибаясь вверх и вниз. Леса были все сожжены напрочь и торчали обуглившимися полусгнившими шпалами из безжизненной земли. Ни птицы, ни зверя на сотни километров. С вертолета все это напоминало лицо небритого полупьяного бомжа, всеми забытого – и родней, и Родиной.

В душу стало закрадываться нехорошее предчувствие обмана, гибели прекрасной легенды.

Подлетели. Вертолетчики скинули его на землю на центральной площади у покосившегося памятника Ленину, показали на пальцах: через сутки здесь же, и, как от зачумленного места, шустро улетели.

Первым живым существом, которое Паша встретил в абсолютно безлюдном и безмолвном городе, была тощая, едва передвигающая копыта корова. Кожа ее, больше похожая на древний пергамент, плотно обтягивала скелет, и ребра проступали как обручи.

Это животное оценивающе посмотрело на Павла, помотало своим выжатым, как мочалка, выменем и, поняв, что это объект для него несъедобный, поплелось дальше по центральной улице города.

Неожиданно подул ветер и вместе с пылью выволок откуда-то старую, полусгнившую желтую газету.

Чуть живая корова вдруг встрепелась и, разбрасывая копыта в разные стороны, рванула за газетой. Догнала. Высунула свой шершавый язык, неторопливо подобрала газету и, медленно ее зажевывая, поплелась за угол, махнув на прощание своим жидким, как нитка, хвостом.

Павел еще долго ходил по безлюдным улицам Нерчинска среди полуразрушенных и недостроенных зданий, нигде больше не встречая никаких признаков жизни.

Наконец Паша набрел на спецлагерь, где, по всем сведениям, должна была находиться его младшая сестра. Но он был пуст. Не хватало только патриотической надписи: «Все ушли на фронт».

Темнело, и Павел решил искать жилье для ночлега. Долго ходил по поселку, пока не уперся в стену какого-то странного сооружения, похожего на православный храм и на буддийскую пагоду одновременно. В это сооружение вела дверь. На двери была вывеска «Музей».

Паша открыл дверь и вошел в здание.

Здесь, внутри, было все как во всех музеях: окошечко с надписью «Касса» и женщина, сидевшая рядом на стуле, очевидно, родственница профессора Шамана, с таким же разрезом глаз.

Посмотрев на Пашу своими прекрасными раскосыми глазами, она спросила, улыбаясь:

– Вы на экскурсию?

– На экскурсию, – машинально ответил Павел.

– Проходите, – сказала она, все так же приветливо улыбаясь. Паша купил билет и она провела его по залам. После экскурсии эта милая женщина, жившая, кстати, прямо в здании музея, поставила кипятить чайник, достала варенье и ввела Пашу в курс нерчинской жизни.

Оказалось, что спецлагерь, в котором должна была находиться сестра, давно не финансируют, вот поэтому там нет ни света, ни тепла, ни телефона, ни охраны. А всех, кого сюда присылали, начальник лагеря, местный житель, направлял работать на частные золотые прииски. И младшая сестра Павла наверняка на каком-нибудь из этих приисков. Хранительница музея пообещала сходить к начальнику домой и все разузнать о сестре.

Кстати, оказалось, что музей живет за счет пожертвований того же начальника местного спецлагеря. Когда Паша поинтересовался, зачем «это» начальнику надо, женщина, немного помявшись, повела его в какое-то дальнее помещение.

Едва переступили порог и зажегся свет, Павел очутился в огромном сказочном дворце. Все вокруг сияло и светилось так, словно вдруг зажглись тысячи ламп. Стен не было. Вместо них стояли гигантские зеркала от пола до потолка и от угла до угла. Они занимали весь периметр зала, делая его бесконечным.

– Что это?! – воскликнул Паша.

– Это сокровище, из-за которого и существует наш музей, – ответила хранительница.

И рассказала, что зеркала эти привезли сюда в девятнадцатом веке с Парижской выставки нерчинские золотопромышленники, когда здание еще только начали строить. Два года везли эти зеркала в Нерчинск на санях и телегах через всю Европу, Урал, Сибирь, и довели. Вначале поставили зеркала, а уже затем достроили здание. Музей давно бы лишился этих реликвий, но никто, в том числе и начальник колонии, до сих пор не придумал, как их вытащить из музея и на чем вывезти.

Зеркала были невероятно тяжелыми, на свинцовой основе, в ажурных бронзовых рамах. Размеры зеркал поражали: метров десять в ширину и три в высоту.

Павел неспешно обошел зал. Было что беречь и чем гордиться.

Потом они попили чаю, и хранительница музея ушла разузнать, где сейчас находится сестра Павла. Вернувшись, сообщила, что сестра точно работает поварихой у местных золотодобытчиков. Завтра утром начальник ее привезет.

Заодно она сказала, что начальник мужик хороший, и если с ним договориться, он вообще сестру отпустит домой прямо с Пашей.

Поутру начальник привез младшую сестру, похудевшую и уставшую. Пока хранительница отпаивала ее целебными настоями, Павел с начальником сели выпить. Начальник рад был новому человеку. Разговорились. После третьей рюмки начальник отдал документы на сестру Павлу и сказал, что освобождает ее, а через полчаса стал уверять Павла, что упадок этого края временный.

– Зо... золота здесь – во!.. – и начальник провел рукой себе по горлу. – И я верю, что придут другие времена, и опять будут добывать золота так много, что вся жизнь этого края возродится. Тогда и спецлагерь мой снова заработает. А мне зачем это предпринимательство, я заключенных хочу охранять. Мой прадед, дед и отец были начальниками лагерей, и я хочу продолжать семейную династию.

И начальник вдруг вскочил, выбежал в зеркальный зал и там стал отдавать себе строевые команды, многократно отражаясь в зеркалах. Замаршировал, как на плацу, поворачивая направо и налево. И так ловко у него это получалось, что, казалось, по залу ходит целая конвойная рота.

Смотрительница спокойно глядела на все это, видимо, привыкла, а Паше сказала:

– Вы собирайтесь потихоньку. Он будет долго маршировать. А вертолет ждать не будет.

Прилетел вертолет, и Павел с сестрой покинули это историческое место.

Вертолетчики доставили их в Улан-Удэ. Там они пересели на самолет. На следующий день были дома.

В Нижнеокске к этому времени произошло радостное событие. Губернатора-химика наградили орденом «...за успехи в становлении демократии и успешное построение капитализма в отдельно взятой губернии».

По этому случаю губернатор давал бал в Гербовом зале кремля. Павел тоже был приглашен.

Играл оркестр.

На подиуме в центре зала рядом с губернатором роилась его свита. Почти вся она состояла из новых лиц. Его бывших соратников, с которыми он вместе когда-то строил палаточные городки на центральной площади, борясь за демократию и гласность, здесь не было.

После тронной речи губернатор сошел с подиума в зал, и на сцене началось представление. Вначале выступили «маленькие лебеди» из театра оперы и балета. Затем хор из глубинки спел три песни о родном крае. И наконец, приглашенный столичный музыкант исполнил свою музыкальную фантазию на барабане.

Затем начался банкет.

Паша, потоптавшись в общем зале, пошел в буфет. И там обнаружил столичного гостя, музыканта-барабанщика. Вместе выпили. Маэстро после третьей рюмки обнял Пашу и стал рассказывать, что у него есть заветная мечта написать симфонию для органа с барабаном.

Они выпили за симфонию, и маэстро пожаловался, что из-за перестройки накрылось бюджетное финансирование музыкальных проектов. А новые русские не дают денег на искусство, дают только на футбол, хоккей и теннис. Вот если бы нашелся такой патриот, который профинансировал бы его мечту, то маэстро первый в истории России получил бы в Америке мировую музыкальную премию «Золотая нота».

– А что для этого надо? – наивно спросил Паша.

– Нужен орган.

– Да... – загрустил Павел, – органа у нас в городе нет.

Но тут к ним подошла буфетчица, извинилась и сказала, что до перестройки была не буфетчицей, а преподавателем в консерватории, где теперь находится боулинг. Так вот, еще ее бабушка, профессор все той же консерватории, рассказывала ее маме, что перед самой революцией 1917 года на деньги прогрессивной музыкальной молодежи был куплен в Голландии орган и собран в особняке Дворянского собрания Нижнеокска. Потом в это здание большевики решили заселить аптекоуправление. Любители музыки до того, как в Дворянское собрание заехали революционные фармацевты, успели сколотить перед органом глухую фанерную перегородку и, как им казалось, надежно спрятали орган от уничтожения.

Время от времени в аптекоуправлении делали ремонт. Фанерную перегородку рабочие то красили, то наклеивали на нее обои... И перегородка с годами превратилась в капитальную стену. Буфетчица предположила, что орган так и стоит там, за перегородкой.

Маэстро даже подпрыгнул от радости. И они поехали в аптекоуправление.

Но в этом бывшем дворянском особняке аптекоуправления уже не было. Здание было пустым, без окон и дверей. Там бродили местные бомжи в полуобморочном состоянии.

Но стенка стояла нетронутая.

Павел тут же взялся за дело. Через неделю выкупил здание. Потом рабочие сломали стену. И изумленным взорам присутствующих открылся великолепный орган.

Маэстро подбежал к органу и стал нежно гладить великолепный инструмент. Гладил и твердил: «Орган и барабан, орган и барабан...» Потом заставил Пашу крутить какое-то колесо, а сам стал играть одной рукой и одной ногой на органе, а другой ногой и другой рукой стучать по барабану. Музыка звучала странная, но за душу брала!

Все были в полном восторге.

Маэстро как опытный человек разъяснил, что получение американской премии – это очень сложный процесс и что кроме таланта и органа нужны деньги. А у него денег нет. Поэтому ему нужен продюсер с деньгами.

Продюсером сразу же согласился стать Павел.

Вначале все шло великолепно. Павел отремонтировал здание. Купил новый барабан. Вызвал из Голландии мастеров, те настроили орган. Дело двигалось.

Как-то, слоняясь по башне в творческом безделье, маэстро обнаружил шкаф, а в нем зеленое пальто. Мама рассказала ему историю этой семейной реликвии. Маэстро удивленно вынул пальто из шкафа и примерил. И, пораженный оригинальностью его покроя и удивительной историей драпа, заявил, что будущая симфония будет называться «Зеленое пальто». Так как он в этом пальто видит всю Россию. Россию прошлого, настоящего и будущего.

Через год маэстро написал свою органно-барабанную симфонию «Зеленое пальто». Пришла пора собираться в Америку на всемирный музыкальный конкурс в Лос-Анджелесе.

Перед самым отъездом маэстро привел американца, бывшего одессита, представляющего одну известную японскую корпорацию, и заявил, что серьезные люди предложили поставить главным продюсером их проекта этого американца. А Павла перевести в ассистирующие продюсеры. Иначе, мол, не видать участникам проекта первой премии как своих ушей.

Павел, не колеблясь ни минуты, согласился. В то время ни Павел, ни маэстро не представляли разницы между главным продюсером и ассистирующим продюсером.

С помощью нового продюсера им быстро открыли американские визы, и они полетели в Америку.

Америка встретила их солнечным днем, официальными таможенниками и русскоязычным таксистом армянской национальности.

Одна за одной пошли встречи. Дни были очень насыщены мероприятиями.

Наконец в огромном лимузине их подвезли ко Дворцу музыки для вручения премии «Золотая нота» в номинации «Самое оригинальное иностранное произведение».

На бордовой дорожке под вспышками сотен фотоаппаратов в смокинге красовался сам маэстро.

Когда ведущая церемонии вскрыла конверт и объявила имя победителя, им оказался маэстро с его симфонией «Зеленое пальто». Зал дружно зааплодировал, и все бросились обнимать маэстро.

На Павла никто не обращал внимания.

Павел немного потолкался среди звезд и незаметно покинул Дворец музыки. Пошел купаться в Тихий океан. Разделся догола и стал плавать. Плавал долго. Когда же приплыл к берегу, то сразу понял, что эта «продвинутая» Америка мало чем отличается от «темной» России.

Во-первых, у него украли всю одежду, а во-вторых, добирался Павел до гостиницы, прикрывшись лопухом, который сорвал в припляжной американской канаве.

На следующий день маэстро исчез.

Оказалось, его повезли в гастрольное турне по всему миру. А Павла организаторы фестиваля посадили в Лос-Анджелесе в самолет и отправили назад, в Россию.

Вернулся Павел, конечно, с впечатлениями, но уже бедным, так как все свои деньги потратил на создание симфонии маэстро.

Пришлось продать свою кремлевскую башню и всю остальную собственность.

На вырученные деньги Павел заплатил налоги и оплатил работу голландских мастеров за демонтаж органа, который увезли вслед за маэстро в неизвестном направлении.

Слава богу, старый барак на малой родине, где Паша вырос, не сломали. Туда Паша с семьей и вернулся. В их старой комнате о счастливых временах Нижнеокска напоминало лишь обкомовское кресло, которое Павел когда-то переслал сюда во избежание неприятностей. Кресло было добротное, большое и занимало почти полкомнаты.

Решили кресло вынести. Но первые попытки закончились ничем. В дверь оно не проходило. В окно не пролезало. Как его вообще сюда занесли, осталось загадкой.

Папа, недолго думая, предложил разрубить кресло и вынести его частями.

Он нашел топор и, вспомнив армейскую молодость, попытался одним ударом разнести кресло в щепки. Но после сильнейшего удара топор отскочил, отколов от спинки только одну маленькую щепку. На лезвии же топора обозначилась внушительная зазубрина, словно удар пришелся по металлу.

Все удивились и стали тщательно осматривать кресло.

Нет, кресло, конечно, было деревянное.

Но внутри него оказался металл. Стало понятно, почему оно было таким тяжелым.

После долгой, кропотливой работы обухом топора кресло все же развалилось. Деревянная часть его была превращена в щепки, а под щепками обнаружены два десятка металлических брусков толщиной с детскую руку и длиной с четверть метра.

Что это такое – никто не знал. И для чего – тоже.

Папа предположил:

– Для солидности – чем кресло тяжелее, тем начальник солиднее.

Младшая сестра выдвинула свою версию: это обкомовское кресло было чем-то вроде бронекресла. Защита от террористов.

Можно было еще придумывать версии, но факт оставался фактом. На полу среди щепок лежали металлические бруски. Солидные и тяжелые. Одной формы. Но разного цвета.

Желтого и серебристого.

Пригласили безработного инженера-технолога из соседнего барака взглянуть на эти бруски. Тот быстро определил, что это золото и платина. Общий вес оценил килограммов в пятьдесят.

Едва услышав это, Паша, прихватив по одному бруску разного цвета, побежал к скупщику, чтобы проверить заключение технолога.

Павел примерно догадывался, откуда в этом кресле взялись драгметаллы.

В советские времена в дремучих лесах Нижнеокской области на секретных заводах за колючей проволокой было налажено производство атомных и водородных бомб, электронная начинка которых содержала

большое количество драгоценных металлов. И там же, на этих же заводах, только в других цехах, выполняя указание партии, параллельно делали товары народного потребления – табуретки, стулья, кресла. Вот эти кресла, то есть товары народного потребления, надо думать, и были тайным каналом хищения драгметаллов.

Но тут грянула перестройка. Началось разоружение. Заводы в лесах закрыли. Лагеря ликвидировали. Все разбежались: и те, кто воровал драгметаллы, и те, кто их покупал. Наступил хаос.

И, очевидно, в этот период всеобщего хаоса кресло с начинкой из похищенных драгметаллов попало не по адресу.

Павел припомнил, что, когда покупал кресло у старшины, интересовался, почему оно такое тяжелое. А старшина ему:

– Бери-бери, на нем сидел сам первый секретарь обкома партии, оттого оно и тяжелое.

Наконец Павел добрался до скупщика, которого знал с детства, тот работал в пункте приема вторсырья, а заодно скупал краденые вещи у пацанов и жуликов.

Он Павла узнал. Бруски оценил и денег дал столько, что они едва поместились в рюкзак. Но Паша случайно увидел в зеркале, каким алчным взглядом скупщик провожает каждую упаковку перекладываемых в рюкзак денег, и понял, что надо бежать с уютной родины, пока скупщик не сообщил бандитам.

Дав сестрам приличную сумму денег, Павел посоветовал им быстро раствориться на необъятных просторах Родины.

За маму и папу Павел не беспокоился. Их знали на родине как голь перекатную, с которой взять было нечего.

А сам, забрав из дома остальные бруски, быстро улетел через Москву на Кипр.

Приземлился в Ларнаке. Поселился в тихой гостинице, где и познакомился с замечательным человеком, настоящим донским казаком, губернатором Краснорайского края. Оказывается, тот знал маэстро и очень любил его симфонию «Зеленое пальто», а здесь отдыхал после длительной борьбы за власть с краевым прокурором.

За разговором и кипрским вином Павел подружился с краснорайцем и, проникшись к новому знакомому доверием, показал ему свой груз и рассказал историю появления драгметаллов.

Губернатор сразу поверил в Пашину историю с кладом в кресле. В советские времена драгметаллы в больших количествах использовались на оборонных заводах.

Осмотрев бруски, новый товарищ принял самое активное участие в операции по превращению драгметаллов в деньги. Когда они вышли из банка с четырьмя чемоданами долларов, он предложил Паше спрятать деньги у его землячки здесь, на Кипре. Она жила и работала на территории госпиталя английской военно-морской базы недалеко, под Ларнакой. «Там надежнее», – уверил он. Павел согласился.

Сдав на хранение ей три чемодана с деньгами, Павел с губернатором загуляли. По-русски, с размахом. Устав пить и гулять, казак-губернатор предложил вернуться на родину и посетить его вотчину – Краснорайский край. И они, собрав вещи, покинули этот средиземноморский рай.

Надо отдать должное новому другу Паши: он не забыл про него и не потерял случайно по прилете домой, как обычно бывает у людей после курортного знакомства.

В аэропорту Краснорайска губернатора и Пашу встречали с почетом. На следующий день друг-губернатор предложил ему купить самый шикарный гостиничный комплекс «Даголыс». Павел спросил о цене. Губернатор ответил, что деньги не самое главное, а главное – дружба и взаимопонимание между хорошими людьми.

Паша подумал и согласился. Пора было заводить свое новое дело. Душа творчества просила. Да и деньги зря лежали на английской базе.

К тому же Паше пообещали поддержку все московские чины – гости в Краснорайске. А это многое значило.

Пока оформлялись документы, казак-губернатор отправил Павла на вертолете в самое заповедное место Кавказа – Салах-Абул, отдохнуть, насладиться природой горного края.

Вертолетчики высадили Павла у одинокой избушки старика-пасечника. Кругом тишина, горы и сказочная природа.

Хозяин Салах-Абула встретил его как родного. В избушке были очаг, шашлык, вино. В программе: прогулка на конях, купание в хрустальной ледниковой реке, отдых и еще раз отдых.

Но только присели по приезде за стол, как бешено, взхлеб, залаjali два сторожевых волкодава. К избушке не спеша спускались с гор бородатые люди, все одетые в походное обмундирование и в полной военной экипировке.

Спускались они молча, не обращая на выбежавших из избушки людей никакого внимания. Когда их количество достигло сотни, волкодавы с лая перешли на вой и уползли под телеги. А бородачи по-хозяйски поставили палатки и разожгли костры.

К пасечнику подошел их командир и вежливо поздоровался. Сказал, что он и его товарищи идут помочь абхазцам в их справедливой войне за независимость.

– Беда, ой, беда! – запричитал пасечник и позвал командира в дом. Тот, что-то крикнув своим нукерам, принял приглашение.

За столом разговорились. Оказалось, что этот бородатый служил в десантных войсках в Азербайджане.

Паша внимательно пригляделся. Попросил снять тельняшку и, когда увидел вытатуированные на его груди все этапы укладки десантного парашюта, понял, кто перед ним. Только у одного человека во всех воздушно-десантных войсках была такая татуировка: у чеченца-пулеметчика из Пашиной разведроты.

Теперь стал понятен внимательный взгляд командира чеченских воинов. Он-то сразу узнал Павла. А Паше его узнать борода помешала.

Они обнялись. Стали вспоминать армейскую жизнь, не забывая при этом про вино. Честно сказать, пулеметчик пил мало, чего нельзя было сказать о Паше.

Тост, еще тост... а потом провал.

Потру об отряде напоминали только темные пятна костров и следы армейских ботинок. Дед-пасечник, спасибо ему, отпоил Пашу горячим чаем.

Но неожиданности еще не закончились. Только Павел стал настраиваться на эту тихую, спокойную пасечную жизнь, как в небе затрепало – и на поляне приземлился личный вертолет казака-губернатора.

Но самого его в вертолете не было. Вертолетчики сообщили, что губернатора день назад перевели в Москву, назначив главой администрации президента. Перед отъездом он велел своему преемнику доставить Павла в Краснорайск. Правда, зачем – не пояснил.

Павел бодро запрыгнул в вертолет и в хорошем настроении стал прикидывать, что теперь их с губернатором кипрская дружба распространится не только на «Даголыс», но и на всю Россию.

Но надо было еще долететь до Красноарайска. А с вертолетом что-то происходило. Он то нырял вверх, то вниз, то вправо, то влево. Пашу замутило. Он открыл иллюминатор и высунулся из вертолета.

А вертолет вошел в пике. И через секунду машина, ломая вековые сосны, рухнула на камни.

Паша вылетел наружу через открытый иллюминатор.

Скатившись по косогору ниже вертолета, застрявшего среди стволов, он плюхнулся в омут, образованный поворотом горной речушки. И не успел Паша вынырнуть, как наверху что-то сильно грохнуло, и вертолет огненным шаром, сжигая все на своем пути, промчался мимо вниз по ущелью.

Паша вылез из воды. Огляделся. Вертолет догорал в ущелье. Экипажа нигде не было видно. Павел выломал толстую палку и осторожно, с камня на камень, стал спускаться с гор.

Спускался двое суток. На третьи он вышел на милицейский блокпост.

Милиционеры посадили Пашу в уазик и повезли в Красноарайск. Оказывается, его разыскивала вся милиция Красноарайска по личному поручению нового губернатора.

Павел умылся, поел и из Красноарайска поехал в «Даголыс».

Отдохнув там несколько дней, он уже хотел лететь в Москву, как по телевизору сообщили трагическое известие, что его друг-казак скоропостижно скончался от сердечного приступа в Москве, прямо в своем кремлевском кабинете. Не успел Павел переварить новость, как к нему приехали какие-то серьезные люди и выдворили его из «Даголыса». Павел не стал сильно расстраиваться из-за этой потери. Сел в самолет и улетел на Кипр.

Землячка покойного губернатора оказалась умницей и отдала Паше деньги. Но половину. А вторую, как она поведала Павлу сквозь слезы, завещал ей их общий покойный друг.

Паша не стал возражать. Забрал то, что дали. Два дня отдохнул и, придя в форму, решил вернуться в Нижнеокск. Деньги у него были. Надо восстанавливать свой потерянный бизнес. Павел полетел в Нижнеокск.

Город сильно изменился за время отсутствия Павла.

Губернию заполонили бандиты, крышевавшие весь бизнес.

Предприниматели стали закрывать свой бизнес и разбегаться в те губернии, где был порядок.

Поняв, что и как, Паша пошел к губернатору. Предложил идею, как побороть преступность: «Надо вооружить газовым оружием всех бизнесменов. Если он, губернатор, поможет, то Павел не только на свои деньги закупит, но и привезет это оружие из Германии. Но нужен самолет».

Самолет губернатор дал, обещал помощь и в остальном.

Когда Ил-18 приземлился во Франкфурте-на-Майне, посмотреть на него сбежался весь летный и технический персонал аэропорта. Такой древней рухляди они никогда не видали. Ходили вокруг самолета, стучали по корпусу, цокали языками и не понимали, как он долетел, не развалившись на части при таком длительном перелете.

В аэропорту самолет уже ждали. Быстро организовали загрузку газового оружия. Самолет набили, что называется, под завязку ящиками с оружием и патронами.

Павел расплатился, и Ил-18 побежал по взлетной полосе. Надо отдать должное мастерству пилотов: самолет четко и красиво взлетел под бурные аплодисменты франкфуртских зевак. Сделал круг почета и, покачав на прощание крыльями, взял курс на Россию.

Через пять часов приземлились в Нижнеокске. Груз вначале арестовали, но после долгих разбирательств и вмешательства друзей из Москвы весь груз был возвращен Павлу.

Паше пришлось из-за непредвиденных расходов увеличить продажную цену единицы товара вдвое. Несмотря на это, у магазинов, которые торговали газовым оружием, образовались огромные очереди из предпринимателей.

Торговля шла бесперебойно. Народ, занимавшийся бизнесом, вздохнул. Крышевальщики уши поприжали.

Газовое оружие бесплатно получили бригады скорой помощи, директора школ, интернатов и почтальоны, разносившие пенсии. В городе стало спокойнее.

Но все чаще и чаще к Паше стали захаживать в гости ребята, которые в перестройку, перестреляв воров, подмяли под себя нелегальные финансовые потоки в Нижнеокске, а потом перебрались жить в Москву. Но Нижнеокск не забывали.

Вот этих ребят губернатор боялся больше местных бандитов. Когда они приезжали в Нижнеокск, он прятался в своей загородной резиденции «Зеленый бор», где чувствовал себя в безопасности. Туда эти ребята, вооруженные пистолетами, не ездили, зато свободно гуляли по кремлю, заходили запросто в пустой кабинет губернатора, рылись в его бумагах.

Милиция в эти дела не вмешивалась.

Павел же был со столичными гостями в приятельских отношениях и по просьбе губернатора исполнял роль парламентаря при их наездах.

Когда столичным гостям вдруг стало понятно, что торговля газовым оружием приносит Паше большие деньги, они просто этот бизнес у него отняли. Ничего личного.

Но и их, этих ребят, накрыли с украденным у Паши бизнесом уже другие, более влиятельные люди.

Неожиданно был принят закон о свободной продаже травматического оружия. Газовое оружие стало неконкурентно. И отнятый у Паши бизнес тут же рухнул.

Тем временем в Нижнеокске ситуация все же стабилизировалась. Павел вернул себе кремлевскую башню. А губернатор-химик стал думать о том, чтобы перебраться на повышение в Москву. Для решения этого вопроса к нему прилетел один очень влиятельный кремлевский олигарх с дамой – советницей самого президента. Они закрылись в «Зеленом бору» и двое суток о чем-то разговаривали. В резиденцию не велено было пускать даже самых приближенных.

Ясно было одно: происходит что-то серьезное.

Через неделю после этого визита губернатор умчался в первопрестольную, а вечером из новостей нижеокцы узнали, что их губернатор занял большой пост в российском правительстве.

Несмотря на то что все ссылались на волю президента, отъезд больше походил на побег.

Но Нижнеокск не был брошен: губернатор-химик оставил вместо себя временно исполнять свои должностные обязанности главу одного из северных районов. Человека «из народа», который когда-то носил русскую рубаху с пояском, ходил в кирзовых сапогах, смазанных дегтем, и в разговоре ворочал на «о» не хуже Алеши Пешкова. Бывший губернатор выбрал его своим преемником за предприимчивость: тот первым в области и, как потом выяснилось, в России после объявления приватизации продал все земли своего района в частные руки.

Через месяц бывший губернатор, теперь большой человек в российском правительстве, позвонил Паше из Белого дома и неожиданно предложил стать министром в российском правительстве. И ответ надо давать немедленно. Паша подумал, подумал и согласился.

Купил билет в Москву. Собрал чемодан, уложил в портфель документы и вызвал такси, чтобы ехать на железнодорожный вокзал.

Уже уходя, остановился перед шкафом, где висело его зеленое пальто.

На мгновение задумался: «Брат, не брат?»

Решил не брать...

Спускаясь по лестнице с башни, почувствовал себя как-то неуютно, одиноко. Ноги не шли. Вернулся.

«Как же я буду без него? – подумал Павел, глядя на свое зеленое пальто. – Нет, без него нельзя. Без него я помру, как эмигрант без родины. Оно всегда спасало меня: в детстве тело, а затем душу. Оно как Россия: кроили его – перекраивали, использовали, как хотели, и я в том числе, но вот оно висит и ждет, когда я опять о нем вспомню, – и снова роднее его нет». Даже слезы выступили на глазах у Паши, и стало стыдно за себя, за свое поведение.

Вынул он пальто из шкафа и аккуратно уложил в чемодан. После чего сразу ощутил в душе уверенность, а в ногах – легкость.

Спустился с башни, сел в такси и поехал на Московский вокзал – покорять столицу.

## Николай СВЕЧИН

Родился в 1959 году в Горьком. Окончил экономический факультет Горьковского госуниверситета. Работал нормировщиком на заводе, инструктором горисполкома, занимался бизнесом.

Первая книга, объединившая две повести («Завешание Аввакума» и «Охота на царя»), вышла в Нижнем Новгороде в 2005 году. Плодотворно работает в жанре исторического детектива.

Живет в Нижнем Новгороде.

## ПЕРВАЯ ЖЕРТВА

*(Глава из романа «ТИФЛИС 1904»)*

Утром, бреясь, Лыков заметил, что его нательный крест потемнел. Не сразу он сообразил, что эта патина выступила после посещения им серных бань. Пришлось отчищать золото зубным порошком.

Из-за этого коллежский советник прибыл в полицейское управление с опозданием. Двухэтажный дом красного кирпича с характерным тифлисским балконом стоял на углу Слепцовой и Анастасьевской улиц. Ковалев уже уехал, питерца встретил его помощник. Коллежский асессор Шмыткин по виду был из казаков: борода пегая, взгляд хитрый. Ну, в полиции бесхитростным делать нечего... Шмыткин вызвал поручика Абазадзе.

Явился молодой стройный офицер с Владимирским крестом на груди. Крест был с мечами. Командированный спросил:

– Как вам удалось получить такую награду? Война с Японией едва началась. Или за поход в Китай?

– Это за другое, – охотно пояснил поручик. Он говорил по-русски почти без акцента, что редкость в Грузии. – Я еще в полку служил, в Сто сорок пятом Новочеркасском императора Александра Третьего. Под столицей, в Медвежьем стане есть пороховой погреб номер одиннадцать Петербургского окружного склада огнестрельных припасов...

– Знаю его, – кивнул сыщик. – Двадцать тысяч пудов пороха там хранят.

– Вот эти двадцать тысяч пудов едва не взлетели на воздух. Загорелся лес поблизости, пламя подступило к складу. Наша рота стояла на карауле, я был помощником начальника.

– Неужели спасли склад от взрыва?

– Все удрали, кто был поблизости. А караульный начальник... ну, не было его, одним словом. Пришлось мне вести роту на борьбу с огнем.

Чуть-чуть мы там не подорвались. Но спасли порох, и свои жизни заодно. Государю было угодно наградить меня.

Алексей Николаевич представил себе, как это выглядело. Пламя надвигается на склад, вот-вот все взорвется к чертям. Старшие офицеры драпанули. А этот парень не побежал. Собрал роту и бросился в огонь. Молодец.

Коллежский советник описал поручику их задачу. Надо арестовать штабс-капитана Кавказского стрелкового артиллерийского дивизиона, что стоит в Гомборах. Сделать обыск в его квартире. И доставить его в Тифлис в штаб округа. Все просто, обычная полицейская рутина.

Задача Абазадзе не понравилась. Понятно, что арест товарища-офицера не мог прийти ему по душе. Но Лыков сразу рассказал о подозрениях в отношении Багдасарова и о том, что предстоит быть предельно вежливыми и не унижать подозреваемого. Они сели в фаэтон и отправились в путь.

Когда выехали из города, Алексей Николаевич спросил:

– Арчил Константинович, а почему вы ушли из полка?

– По семейным обстоятельствам. Матушка заболела, а сестра уехала с мужем в Уссурийский край, – объяснил поручик. – Я холостой, мне проще.

Помолчал и добавил с грустью:

– Матушка умерла два месяца назад. Не выходили ее доктора.

– Сочувствую вам. А почему не вернулись в полк?

– Здесь оказалось интересно, – рассмеялся загрустивший было парень. – А потом я вроде как пошел по стопам отца. Он у меня был хевистав. Знаете, кто это?

– Да, – кивнул питерец. – В Кутаисской губернии так называют деревенских сыщиков, которых нанимает сельское общество бороться с ворами.

– Точно. Отец хорошо ловил эту сволочь. Смелый был, никого не боялся. Его застрелили – подло, в спину.

– Значит, вы круглый сирота?

– Увы, Алексей Николаевич. Но грустить некогда. У нас тут идет война, самая настоящая!

– С кем? – удивился коллежский советник.

– С абреками. Их что-то много развелось, приходится убавлять. Вот три недели назад я схватился с бандой Туха, главного закатальского головореза. Их шестеро было, а нас трое. Едва справились.

– Но одолели, судя по всему? – улыбнулся сыщик.

– Туха в пропасть улетел. Мы с ним на кинжалах бились. Двоих еще прикончили, остальные сдались. А у нас один убит, и мне плечо продырявили. Но быстро зажило.

Питерец был поражен. На Кавказе храбростью никого не удивишь. Лыков сам был человек бывалый и не робкого десятка. Но этот молодой офицер говорил о своих подвигах как о чем-то обыденном. Гвардейский трынчик распустил бы хвост, но Арчил искренне полагал, что не сделал ничего выдающегося.

– Полицейстер рассказал, что вы и вчера кого-то задерживали, – припомнил сыщик. – Гратиашвили его фамилия.

Парень усмехнулся:

– Ну не то чтобы задерживал... Крови на нем много. Пришибить его – да, хотел. Мамдзагли!\* Жаль, не получилось. Сбежал Пидо, успел в последний момент. Как будто его кто-то предупредил.

---

\* Мамдзагли! – Собачий сын! (груз.)

Они некоторое время ехали в безмолвии, глядя по сторонам. Но поручик, видимо, не мог долго молчать.

– Вот третьего дня объявился в Сигнахском уезде брат Тухо, тоже абрек. Зовут Динда-Пето. Он хоть и младший, а сволочь похлеще старшего. Заправлял в Бакинской губернии, попался, бежал из тюрьмы. Скрывался два года в Персии, где тоже отличился в дурном смысле. И вот приехал, чтобы найти меня.

– Найти вас?

– Да. Мы с ним теперь кровники, он поклялся отомстить.

– Откуда вы знаете?

– В горах такие вести расходятся быстро, – ответил Абазадзе.

– И... вы не боитесь?

– Нет. Грузину не пристало трусить. Вот схватимся, тогда и пойдем, кто чего стоит. Если Динда так хорош, как о нем говорят, то будет интересно. С храбрецом биться – большая честь!

– Зная абреков, легко предположить, что он постарается подстрелить вас из-за угла, украдкой, как убили вашего батюшку, – возразил сыщик. – А не в открытом бою.

– Может быть и такое, – согласился поручик. – Что ж, кисмет! Это значит: от судьбы не уйдешь. А бояться – недостойно мужчины.

Он ехал, беззаботно улыбаясь, и говорил, не выбирая слов. Было видно, что человек не рисуется. Лыков знал немало храбрецов, но этот был особенный. В бой хорошо с ним идти, надежно, подумал сыщик.

Фаэтон между тем катил и катил. Гомборы находятся на Кахетинском шоссе, соединяющем Тифлис с Телави. Движение было бойкое: в оба конца ползли арбы с грузами, военные фуры, частные дрожки и линейки с дачниками. Урочище славилось хорошим климатом, и тифлисцы уже начали, не дожидаясь жары, перебираться за город. Дорога шла вдоль живописного русла Иоры. Полицейские проехали Мухровань. Слева тянулись бесконечные леса, над ними возвышалась коническая вершина Вераны. Скоро перевал, а оттуда до селения рукой подать, сообщил Абазадзе. Он снял фуражку, взъерошил волосы и напевал тихонько: «Как увижу балкон белый, сердце бьется еле-еле...».

Вдруг поручик осекся на полуслове. Лыков удивленно оглянулся на него: лицо парня сделалось бледнее мела.

– Что с вами?

– Вы, Алексей Николаевич, главное, ничего не делайте, просто стойте.

– Да что случилось?

– Может, тогда они вас не убьют.

Когда до коллежского советника дошел смысл последних слов, он лихорадочно полез в карман. Но вынуть револьвер не успел: Абазадзе схватил его за руку и не отпускал.

– Прошу вас, не надо! Постарайтесь спасти хотя бы себя.

Алексей Николаевич легко мог вырвать руку, но не сделал этого. В тот момент он сам не понял почему. Осознал лишь потом. Но тогда замешкался, а когда повернул голову, коляску уже окружили конники. Девять человек взяли полицейских в кольцо и навели на них винтовки.

Вперед выехал туземец с крашеной бородой, весь обвешанный оружием.

– Ну, собака, узнал меня? Узнал свою смерть?

– Да, я тебя узнал, Динда-Пето.

Поручик встал в фэртоне во весь рост. Голос его не дрогнул; он смотрел на абрека с вызовом.

Несколько разбойников полезли в экипаж, грубо обыскали седоков. У Лыкова забрали револьвер, часы, бумажник и полицейский билет. Сопrotивляться было бесполезно.

– Кто это с тобой? Тоже полицейский?

– Он не при чем в нашей распре, отпусти его.

Абрек взъярился:

– Ты еще будешь мне указывать?! Ты, мертвец!

Ему подали документы сыщика, и он прочитал вслух по слогам:

– Де-пар-та-мент по-ли-ции. Шайтан, я так и подумал.

Коллежский советник лихорадочно соображал. Дело плохо: они окружены и обезоружены, бандиты держат их на прицеле. Дорога, только что оживленная, вдруг опустела. Повозки, завидев издали, что делается, разворачивались и улепетывали. Помощи ждать было неоткуда.

Тут Абазадзе заговорил, так же спокойно, без дрожи в голосе:

– Динда-Пето! Если ты мужчина, то дерись как мужчина. Я убил твоего брата в честном бою. Верни мне шашку, и мы сразимся. Пусть твои товарищи рассудят наш поединок.

Разбойники одобрительно загудели: храбрая речь поручика понравилась им. Но главарь без предупреждения нажал на курок. Раздался выстрел, пуля угодила Абазадзе прямо в сердце. Он свалился из фэртоне на дорогу. Ахнув, сыщик бросился ему на помощь. Посадил, прислонил к колесу. Кровь хлестала из раны фонтаном, заливая мундир и шаровары. Посмотрев питерцу в глаза, умирающий успел сказать:

– Только ничего не делайте... себя спасайте...

В глазах у Лыкова потемнело. Он распрягнулся над мертвым, сжал кулаки. Кочи\* смотрел на него с седла, играясь дымящимся маузером.

– Что, хочешь за ним следом? Гляди у меня... Кто такой, зачем ехал?

Скулы у сыщика свело, ноги едва держали. Кажись, отбегался... Кто же оставит свидетеля убийства полицейского в живых? Но вдруг Динда-Пето сказал:

– Передай там, что это сделал я. Казнил кровника, как обещал. Передашь?

Сыщик кивнул, не в силах вымолвить хоть слово.

– Язык проглотил, нечистое животное?

– Пе... передам.

– Еще раз попадешься – шкуру спущу!

Абрек скомандовал что-то по-татарски, и его люди сбились в отряд. Мигом распрягли полицейских лошадей, оседлали их, а своих сповоженных взяли за уздечки. Сыщик смотрел на них и ждал выстрела в упор... Между тем Динда-Пето гикнул, после чего шайка скрылась в ближайшем лесу. Все произошло в считанные секунды. Только что Лыков стоял под дулами винтовок и молился – и вот уже никого нет. Лежит мертвый поручик, причитает перепуганный кучер, высоко в небе поют птицы. Жизнь продолжается. И он, Лыков, тоже живой, ни царапины на нем. Вот только как теперь объяснить людям, почему он цел и невредим, а его спутник умер? И питерец ничего не сделал, чтобы помочь товарищу.

Потом сознание сыщика спасительно отключилось. Напряжения последних минут, когда жизнь висела на волоске и зависела от каприза

\* Кочи – главарь шайки татарских разбойников.

дикого горца, нельзя было дальше переносить. Он опустился на землю и затынул, как ему казалось тогда, про себя, старую солдатскую песню:

– По фронту наш полковник  
Отважный проскакал.  
«Ребята, не робейте», –  
Он ласково сказал.  
Кавказские вершины,  
Увижу ли вас вновь?  
Вы, горные долины,  
Кладбища удальцов.

Сколько так бубнил питерец, он не знал. Но потом сознание вернулось. Алексей Николаевич сидел на пыльной дороге и пялился на конус Вераны. И пел, судя по всему, вслух. Вокруг стояли люди, много людей, и смотрели на него. Крестьяне в синих чухах\*, какие-то разряженные господа, солдатик с артиллерийскими погонами... В душе вспыхнула надежда: а вдруг ему померещилось, вдруг это просто затмение? Однако стоило Лыкову повернуть голову, как он увидел у своих ног труп поручика Абазадзе. Кровь уже застыла, лицо, недавно такое красивое и мужественное, потемнело.

Дальше началось трудное возвращение в Тифлис. Экипаж привязали к арбе, погрузили в него тело офицера. Рядом сел коллежский советник; возница перебрался к крестьянам. И скорбный поезд тронулся. Они едва плелись и оказались возле полицейского управления только под вечер. Но там уже знали про нападение. Губернатор Свечин и помощник полицмейстера Шмыткин выбежали к подъезду, на руках внесли убитого в общую комнату и положили на диван. Явились все свободные от дежурства и окружили покойного. Было тихо, никто не мог вымолвить ни слова... Потом Свечин подошел к питерцу, неожиданно обнял его и с чувством сказал:

– Слава богу, хоть вы живы! Абрек оставил вас, чтобы передать сообщение?

– Да. Не думал...

– С жизнью уже простились?

– Именно так.

– Вы, Алексей Николаевич, не интересовали Динда-Пето. Он мстил кровнику, а вы лицо постороннее. Мог убить за то, что полицейский, но решил использовать как почтальона. Да... Вот так мы здесь и служим.

Лыков крепко взял полковника за руку и сказал, глядя в упор:

– Иван Николаевич. Я ведь даже не попытался сопротивляться. Пальцем о палец не ударил, не заступился за мальчишку. Как так? Георгиевский кавалер...

– Но...

– Хотел достать наган, так Абазадзе схватил меня за руку и держал.

– Вот! – обрадовался Свечин. – Что вы могли поделать?

– И мог, и должен был! – ожесточенно выкрикнул сыщик, не обращая уже внимания на то, что подумают окружающие. – Сражаться – вот что я должен был сделать! Но тогда лежал бы сейчас рядом с поручиком. И это, понимаете, это меня остановило. Я испугался за свою жизнь. И позволил убить мальчишку безнаказанно.

– Ваше геройство ничего бы не изменило, только погубило бы еще и вас.

– Хоть умер бы с честью.

---

\* Чуха – черкеска.

– И что потом? Мертвый есть мертвый. Нет, живите. Помните об Арчиле, однако живите. Богу виднее, сколько отмерено вам на этом свете. Пока живой, вы можете сделать немало хорошего. Вот и делайте. А мусолить свою слабость... Думаете, я не трусил? Да нет такого человека, который никогда бы не отступал.

– Абазадзе держался храбро.

– Он вовсе не мальчишка, а офицер. Сознательно сделал выбор.

– Он-то сделал, а я?

Свечин осторожно высвободил руку и ответил:

– А вы теперь живите с этим. Понимаю, трудно. Но куда деваться? И поверьте, все мы рады, что хоть вы уцелели. Никто вас не осудит, разве какой дурак. Никто!

– Он, умирая, сказал то же самое, – вспомнил Лыков. – «Себя спасайте».

Тут сыщик сообразил, что это звучит как оправдание, и смутился. Но Свечин сам взял его за плечо, тряхнул и произнес:

– Видите, Арчил думал так же. Подвиг тоже должен знать время и место. Бессмысленная смерть – это не храбрость, а глупость.

Алексей Николаевич понимал, что его уговаривают, но все равно стало чуть легче. И тут пришло решение, определившее дальнейшие поступки сыщика.

– Господа, мне надо с вами поговорить!

Свечин и Шмыткин послушно двинулись за ним. В кабинете полицейстера Лыков обратился к его помощнику:

– Мне нужны винтовка с патронами и лошадь.

– Кузьма Степанович, не вздумай! – тут же вскинулся губернатор.

– А и не вздумая, я себе не враг, – ответил Шмыткин. – Командированного убьют, а грех на мне будет.

– Господа, вы не поняли. Я все равно это сделаю. С вами или без вас.

– Возьмите казаков, тогда я помогу, – предложил Иван Николаевич.

– Чтобы поставить на кон и их жизни? Нет, увольте.

– Алексей Николаевич, прошу вас взять себя в руки, – рассудительно начал коллежский асессор. – Ну, случилось так. С кем не бывает? Месть, что вы задумали, добром не кончится. Застрелят и вас, без всякой пользы. Что вы сделаете? Динда-Пето в горах как у себя дома. Полиция и конная стража столько времени уже не могут его поймать. Тут вдруг полковник из Петербурга приехал и поймал... Разве так бывает?

– Я бывший пластун, турецких языков взял без счету.

– Это когда было? Двадцать пять лет назад?

Лыков повернулся к губернатору:

– А вы? Тоже не захотите меня понять?

Тот машинально сел, озираясь. Нашел возле себя пепельницу, вынул пачку папирос и закурил. На это у полковника ушло минуты две. Потом он сказал:

– Поехали к Чачибая.

Свечин и Лыков отправились на угол Ермоловской и Конюшенной, в казарму конвоя главноначальствующего. Там в богато обставленной служебной квартире они нашли ротмистра.

Тот, как оказалось, тоже знал о происшествии на шоссе. Он обхватил питерца длинными сильными руками, словно они были давние товарищи, и сказал с сильным акцентом:

– Хорошо, хоть ты остался живой!

Сговорились они, что ли, подумал с раздражением сыщик. Ему казалось, что тифлисцы над ним издеваются. Но начальник конвоя выглядел искренне взволнованным. С кавказской непосредственностью он перешел с коллежским советником на «ты»:

– Мы, когда услышали, испугались за тебя. Арчил грузин, он знал, что делает, когда резал брата того абрека. А ты? Приехал по службе, обычаев не знаешь. Прости, что говорю... как это по-вашему? Фамильярно? Но у нас на Кавказе так.

– Арзакан Георгиевич, Лыков просит винтовку, – обратился к ротмистру губернатор. Тот без раздумий кивнул:

– Дадим. Я понимаю, он решил мстить. Все дадим, вай, нельзя отказывать джигиту в таком деле!

– Винтовку, пятьдесят патронов, коня, – начал загибать пальцы сыщик. – Еще горскую одежду, самую простую, ношеную. Я заплачу.

– Зачем сказал «заплачу»? – рассердился Чачибая. – Все так получишь, ни абаса не возьмем.

– Еще мне нужны сведения, где скрывается Динда-Пето.

– Это не ко мне, – развел руками ротмистр.

– Трембель все знает, пусть скажет, – встрял полковник.

– А если он не захочет? – расстроился питерец.

– Я попрошу – сразу захочет, – уверенно заявил начальник конвоя. – Эту душонку беру на себя.

И тут же, без перехода, обратился к Лыкову:

– Только возьми моих джигитов. Шестерых могу дать, больше не могу.

– Он собирается один, – пояснил Свечин.

Эмоциональный ротмистр накинулся на питерца:

– Вай, зачем один? Что ты там сделаешь один? Гор не знаешь, обычаев не знаешь...

– Арзакан, я скажу, а ты прими, – оборвал его Лыков. – Во-первых, спасибо за помощь. Никогда не забуду. А во-вторых, я пойду один. И это не обсуждается.

– Но почему, слушай?

– Хватит смерти Арчила Константиновича. Не стану я рисковать жизнями других людей.

– Но они на службе, им полагается рисковать.

– Тут личные счета. Если хочешь – моя амбиция. Почему кто-то должен из-за нее подставлять голову?

Чачибая подумал и ответил:

– Это я могу понять. Но один! Бесполезно и глупо. Сколько у абрека людей?

– Там было восемь, он девятый.

– Ты же не сможешь перебить их всех в одиночку!

– Начну с кочи, а там посмотрим. Они еще не поняли, с кем связались. Чачибая со Свечиным переглянулись и одинаково покачали головами.

– Ай, плохо... Что мы скажем Плеве, когда ты пропадешь в горах?

– Вячеслав Константинович меня знает, он поймет. Если вы боитесь взыскания, то напрасно.

– Мы не взыскания боимся, Алексей Николаевич, – возразил губернатор. – Что оно, когда речь идет о жизни и смерти... Нам с Арзаканом Георгиевичем совестно отпустить вас одного. Извините, на верную погибель!

– Шайку ловят уже давно, – напомнил Лыков. – И без толку. Приду я с казаками или конвойными джигитами. Как поступит Динда-Пето? Опять укроется в Персии.

– Скорее всего.

– То-то и оно! А один я шуму не наделаю, пролезу незаметно. Что-то да разузнаю. Логово вычислю. Тогда сразу приду к вам за помощью!

Последний аргумент убедил тифлисцев. Сыщик простился с полковником Свечиным и пошел в арсенал. Но на пороге остановился:

– Иван Николаевич, совсем забыл. А что Багдасаров?

– Куда он денется! – отмахнулся полковник. – Я телеграфировал начальнику дивизиона. За штабс-капитаном присмотрят. Возьмем его сами, не тратьте на это время.

В арсенале конвоя питерец выбрал себе винчестер с магазином на семнадцать патронов – излюбленное оружие, хорошо ему знакомое. Еще взял простой, но надежный кинжал и наган-самовзвод. Позаимствовал также патроны и молодую кобылу по кличке Лала. Горский костюм Лыков решил купить утром на Армянском базаре.

Спал он плохо: снился поручик Абазадзе, который просил его беречь себя. Едва встал с большой головой, как в дверь постучали. Вошел Скиба.

– Алексей Николаевич! Я узнал, что вчера случилось. Как вы?

– Хуже некуда, Максим Вячеславович. Стыдно...

– За что стыдно? За то, что живы остались?

– Конечно. Застрелили парня на моих глазах, а я стоял по стойке смирно и помалкивал.

– А кому было бы лучше, если бы убили еще и вас?

– Пустые слова, Максим Вячеславович. Вы же понимаете мои чувства.

Скиба осекся. Подумал, наверное: а что чувствовал бы я на его месте?

– Хорошо, не будем об этом. Хочу вот что предложить: переселяйтесь ко мне. Комната свободная есть. Маша будет об вас заботиться. Семейный уют и все такое...

– Спасибо, но я завтра уезжаю.

– Куда? В Петербург?

– Нет, по делам в уезд. Когда вернусь, навещу.

Они спустились в ресторан, выпили чаю. Скиба пытался отвлечь питерца от дурных мыслей, но это плохо ему удавалось. Лыков уже планировал свою, как он ее назвал про себя, карательную экспедицию. При этом думал: действительно ли он готов мстить? Вот так, любой ценой, невзирая на опасность? Притом за смерть поручика, с которым едва успел познакомиться. А что будет с Варенькой, если его убьют в горах? Принцесса Шурочка укатила в Париж и сейчас в положении; в конце лета должна родить. Сыщик может так и не узнать, кто у него появился, внук или внучка. Один в горах – это почти верная погибель. И все ради амбиции? Но он вчера столько накудахтал, что сейчас сдавать назад было уже поздно. Особенно неловко становилось за фразу «они еще не поняли, с кем связались»...

Скиба ушел. Алексей Николаевич простился с ним рассеянно: он размышлял. Краснобай! Когда убивали поручика, стоял и смотрел. Мог же вырвать руку с наганом. Мог. Три-четыре секунды у него было, и за них сейчас особенно стыдно. Когда понял, что на дороге засада, и полез за револьвером, а парень перехватил и держал – вот тот самый роковой момент. Он, Лыков, георгиевский кавалер и бывалый человек, струсил. Понял, что если вырвет руку, тогда придется стрелять и умереть вместе с Абазадзе. И упустил эти секунды, сознательно дождался, когда уже будет поздно. Сделал вид, что не сообразил... Нет, так дальше не пойдет. Надо смыть позор. Стыдно перед тифлисцами, но еще больше перед самим собой. Значит, надо идти в горы. И пусть сыщик так и не

узнает, кто у него родился, но хоть умрет с честью. Если же сейчас отступит, проглотит унижение, то как потом жить?

Разобравшись в своих чувствах, Алексей Николаевич успокоился. Решение принято, и оно правильное. Он начал действовать. Пересек Эриванскую площадь и оказался на Армянском базаре.

Если Татарский Майдан после обеда пустеет, то Армянский базар шумит с утра до вечера. Здесь можно купить все. На пяти улицах есть любые предметы, которые могут потребоваться человеку, – от золотых изделий до подштанников. Лавки представляют из себя три стены, открытые наружу. На столах или прямо на земле разложены товары. В бакалах\* предлагают раннюю черешню и сушеные фрукты, в пурнях\*\* – лепешки и лаваш; на синей бумаге красуются горки табака; рядом хурда-мурда\*\*\*, где вперемешку с жалким барахлом попадают настоящие древности. Шампанское из Цинандали продается бочками! Серебряники выставляют украшения с прекрасной бирюзой так называемого «старого завоза» – ее почти не осталось, и предметы стоят дорого. По соседству бахмачи\*\*\*\* шьют сапоги прямо по ноге заказчика. Портные на швейных машинках строят платье на туземный вкус. Женщин на рынке почти нет, только иногда пройдет грузинка под вуалью. Поэтому заказчики без смущения раздеваются прямо на улице и примеряют обновки. Тут же торгуются посуда с русских фабрик, контрабандные специи, мануфактура и – из-под полы – боеприпасы. За полтысячи можно купить и винтовку. Толкотня невероятная, и такое же дикое смешение рас. Рыхлый армянин, татарин с красной бородой\*\*\*\*\*, стройный перетянутый грузин и перс в аршинной смушковой шапке – все кричат и спорят о цене, отчаянно жестикулируя. То и дело слышны крики «хабарда!\*\*\*\*\*». Муша – переносчик тяжести – тащит на спине огромный тюк, а следом семенил покупатель. Жуликоватый кинто с подносом на голове предлагает рыбу и яйца. Его теснит на своей бочке тулухчи\*\*\*\*\*. Настоящий Восток...

Коллежский советник приобрел полный набор горской одежды: черкеску, бешмет, суконные шаровары, наборный пояс, мягкие ноговицы, вязаные чулки, башлык и бурку. Еще взял походное снаряжение: переметные сумы, котелок, чехол для винтовки, чай, сахар, консервы, спички, галеты. Нанял мушу и велел отнести все это в гостиницу. Пора было идти на совещание к Трембелю.

В приемной сыщика ждал полицеймейстер Ковалев. Он, как и остальные вчера, первым делом заявил:

– Слава богу, что вы уцелели!

– Будет вам, Георгий Самойлович, – не сдержался питерец. – Что я за ценность такая?!

– Ну как же... – растерялся Ковалев.

Тут распахнулась дверь кабинета, и вышел Трембель.

– Хоть вы живы, Алексей Николаевич, – бухнул он с порога. – Очень рад! Плеве за вас голову бы мне отвернул.

– Позвольте перейти к сути дела? – тактично спросил сыщик.

– Да-да, конечно. Заходите.

---

\* Бакал – фруктовая лавка.

\*\* Пурня – пекарня.

\*\*\* Хурда-мурда – старье.

\*\*\*\* Бахмач – сапожник.

\*\*\*\*\* Мусульмане красили бороду хной для молодежьего вида.

\*\*\*\*\* Хабарда! – Посторонись!

\*\*\*\*\* Тулухчи – водовоз.

Чиновники расселись, и статский советник тут же сообщил новость: – Только что пришла телеграмма из Гомбор. Штабс-капитан Багдасаров убит.

– Убит?! – опешил Лыков. – Как, кем?

– У себя дома, в собственной постели. Вместе с женой и трехлетним сыном.

– Звери какие... – пробормотал полицмейстер. – Не пожалели малютку. Но чьих рук дело? Удалось установить?

– Пропал денщик штабс-капитана рядовой Плотников. А также ценности и деньги. Замок не взломан.

– Он один орудовал? – не поверил Ковалев. – Что дал осмотр места происшествия?

– В Гомборах только полицейский урядник, не очень опытный. Он сообщил, что улики никаких. Подозревает Плотникова. Денщика ищут, пока не нашли.

– А не может быть так, что заматают следы? – подал мысль Алексей Николаевич. – Я выехал его арестовывать, агенты «большой постирочной» каким-то образом узнали об этом и убрали Багдасарова.

Трембель строго посмотрел на сыщика поверх очков:

– Каким-то образом узнали... Вы на что намекаете? Что тут у нас измена?

– Да по-другому было, – категорично заявил полицмейстер. – Мы же сообщались с командованием дивизиона? Вот оттуда и утекло. Лейба-телеграфисты\* выдали, они за деньги мать-отца продадут!

– А ведь точно... – пораженный догадкой, вице-директор стукнул кулаком по столу.

– Либо Плотникова подкупили, – подхватил сыщик, – либо он тут вообще ни при чем.

– То есть? – не понял полицмейстер.

– Семью Багдасарова вырезали агенты «постирочной», а свалили на денщика. Прикончили беднягу, труп спрятали в горах. Инсценировали ограбление.

– Допускаю и такое, – скривился Карл Федорович. – Но о чем это говорит? О том, Алексей Николаевич, что ваша единственная ниточка оборвана. Как теперь искать то преступное сообщество, кое вы именуете «большой постирочной»?

– Теперь никак, – опять же категорично изрек Ковалев.

Питерец молчал. Да и что тут скажешь? Ниточка и впрямь была одна. У мертвого не спросишь...

– Что думаете делать, Алексей Николаевич? – сочувственно спросил Трембель. – Может, вам вернуться в Петербург? Мы возьмем эту историю на особый контроль. Чуть что узнаем – сразу сообщим. Агентуру мобилизуем, всю полицию на местах. Рано или поздно они попадутся.

– Сначала я отыщу Динда-Пето, – ответил Лыков. – А там будем решать.

Трембель нахмурился. Он буквально сверлил питерца взглядом.

– Я слышал о вашем намерении и отношусь к нему крайне отрицательно. Вынужден телеграфировать вашему начальству. Поймите, если с вами что-то случится, мы тут все ответим. Погоны полетят! А губернатор с начальником конвоя вчера позволили себе лишнее. Прошу вас

---

\* Лейба-телеграфисты – ироничное прозвище солдат-евреев, которых особенно много было в военно-телеграфных парках.

передумать и не создавать нам дополнительных проблем. И без того голова кругом идет.

– Никакие погоны никуда не полетят, Карл Федорович, – отрезал сыщик. – Вы ни в коей мере не отвечаете за мою безопасность. Мне поручено министром вести дознание. Вот я и буду его вести – так, как считаю нужным.

– Не понял, – вскинулся начальник особого отдела. – Какая связь между убийством поручика Абазадзе бандитом Динда-Пето и вашим дознанием? Вы что, думаете, это звенья одной цепи?

– Нет, я так не думаю, – терпеливо ответил Лыков. – Там, на дороге абрек поджидал именно поручика. Обо мне он ничего не знал, пока не прочитал полицейский билет. Видимо, те же лейба-телеграфисты выдали несчастного Абазадзе. И вы правы, я готовлю вульгарную месть. Но это мое право, Карл Федорович. Мое! Вы там не стояли под дулами винтовок, и на вас не лежит вина за смерть молодого человека...

– И на вас не лежит! Что вы тогда могли сделать?! – хором вскричали тифлисцы.

– Мог, но не сделал, – твердо ответил сыщик. – Но сделаю теперь. Дайте мне все, что у вас есть на Динда-Пето. Где его искать? Имеются у негодея сообщники или укрыватели?

Статский советник, неодобрительно качая головой, полез в стол. Достал папку, извлек из нее единственный листок.

– Ничего у меня нет, Алексей Николаевич. Почти ничего. Динда-Пето... Настоящее имя – Елизбар Чолоков. Уроженец селения Белоканы Закатальского округа...

– Так он джарский лезгин? – вскричал Лыков.

– Именно.

Джарские лезгины, населявшие Закатальский округ, имели на Кавказе самую дурную репутацию.

– Так, с корнями ясно, – констатировал Лыков. – Но где Динда-Пето может находиться сейчас? Есть сведения?

– Есть, – неожиданно обрадовал его статский советник. – По агентурным данным, абрек укрывается в селении Бочорма Тионетского уезда. А именно в доме крестьянина Фолат Гаджи Солтан-оглы, известного притонодержателя и местного разбойника.

– Почему же власти допускают Фолата жить спокойно у себя дома, если он известный разбойник?

– А у нас в горах каждый второй – разбойник. Прикажете всех перearестовать?

– Ну хоть самых наглых.

– Тюрем не хватит, и полиции тоже, – желчно парировал Трембель.

– Хорошо, я понял. Поеду и проверю, правду ли сообщил ваш агент. Спасибо за наводку.

На этом совещание закончилось. Лыков ушел, а полицмейстер остался. Когда Ковалев явился к себе в управление, оказалось, что питерец там его дожидается.

– Что-то еще, Алексей Николаевич?

– Так, пара вопросов, Георгий Самойлович. Скажите, что от вас потребовал Карл Федорович?

Полицмейстер смутился:

– Хм... Он просил держать в секрете...

– Трембель хотел, чтобы вы за мной проследили. Так?

– Так.

– Не надо этого делать, Георгий Самойлович. И не получится у вас, и вообще ни к чему.

– Но как же я не исполню приказ начальства?

– Скажете, что упустили из виду. Горы, то да се... Лучше покажите мне сейчас по карте, как добраться до этой Бочормы.

Два коллежских советника попросили чаю и сели за подробную карту губернии. В Грузии, как и в любой горной стране, мало дорог. Вот и в Тионети вел единственный тракт от Кахетинского шоссе. Других вариантов попасть туда не было.

– Ну, пожелайте мне удачи, – сказал на прощание Лыков. – Я сегодня съезжаю из гостиницы и ночую на квартире у Скибы. Это мой приятель, вместе служили в Петербурге.

– Я знаю.

– Завтра утром выступаю в Тионети. Не поминайте лихом, ежели что.

– С Богом!

Полицмейстер крепко пожал сыщику руку. Видно было, что он мало верит в успех карательной экспедиции. Но боится высказывать свои мысли вслух.

Ближе к вечеру Лыков переехал на Третью Водосточную улицу, вместе с кобылой. Лалу поставили во дворе, там нашлось пустое стойло. Алексей Николаевич посекретничал с хозяином квартиры. И когда стемнело, Максим Вячеславович вышел прогуляться – один, без гостя. Обогнул дом и быстро вернулся.

– Ну что? – налетел на него питерец.

– Один стоит на углу с Террасным переулком. Второй караулит на Крайнем подъеме.

– Значит, обходным маневром можно?

– Вроде бы да.

– Ну, Пресвятая Богородица, выручай!

Коллежский советник, одетый в горский костюм, спустился по черной лестнице во двор. Нагрузил на кобылу переметные сумы, вскочил в седло. Скиба тихо открыл заднюю калитку и вывел всадника в переулок. Там было темно и пусто. Стараясь не шуметь, Лыков двинулся в ночь. Он объехал своих караульщиков и долго пробирался на Бебутовскую улицу. Потом спустился по ней к Татарскому Майдану, безлюдному в это время. Справа над ним нависали скалы Сололаки, на фоне неба едва угадывались башни Нари-калы. Улицы ночного Тифлиса были плохо освещены, но сейчас это играло на руку сыщику.

Он не решился пересечь Куру по Метехскому мосту – слишком людное место. Спустился ниже, к Мнацакановскому, и уже по нему попал на левый берег. Собачья деревня встретила одинокого всадника такой темнотой, что хоть глаз выколи. Сообразно названию, из-за каждого забора доносился заливистый лай. Лыков пришпорил кобылу. Несколько раз он сбивался с пути, плутая по темным проулкам. Спросить дорогу было не у кого, а те, кто попадался, смахивали на бандитов. Свистки паровозов подсказали направление, и в конце концов сыщик увидел справа казармы Драгунского Нижегородского полка. Здесь они проезжали тогда с Абадзде... Отсюда лежал прямой путь через Гомборы в Кахетию.

На выезде из города, миновав казачью заставу, Алексей Николаевич оглянулся. Позади переливался огнями Тифлис. Впереди были темнота и возможная гибель. Он вынул винтовку из чехла и повесил за спину. Потом сжал шенкеля:

– Вперед, Лала!

## Стихи по кругу

**Игорь СИВАК**

*Одесса – Луганск – Симферополь*

### Горловка

Прилетело и в больницу, и в клуб,  
И в хрущёвках по убитым скорбят,  
А с экрана деловой «правдоруб»  
Говорит, что это сами себя.

И опять на блокпосты мужики  
Потянулись, кто откуда, кто с чем,  
Карабины, топоры, кулаки,  
Супротив артиллерийских систем.

По ком, по ком, по ком  
Звонит от осколков колокол?  
В горле – кровавый ком –  
Гор-ло-вка.  
За что? – За вольное слово!  
За то, что не шапито,  
Когда мы дойдём до Львова  
Не спрашивайте: «За что?»

Четверть века нам ломали хребет,  
Лезли в душу и плевали в лицо.  
И лишить хотели славных побед,  
Нашу память от дедов и отцов.

В этих пушках, что стреляют по нам,  
Есть наш уголь и металл, и труды.  
Но сума у мародёров полна  
Пятаками кредиторов беды.

По ком, по ком, по ком  
Звонит от осколков колокол?  
В горле – кровавый ком –  
Гор-лов-ка.  
За что? – За то, что другие!  
За то, что не шапито.  
Когда мы пойдём на Киев,  
Не спрашивайте: «За что?»

А на площади у них – карнавал,  
А над площадью – кровавая пыль,  
Обещает нашим детям подвал  
Коронованный вслепую упырь.

Миномётами разрытый детсад –  
Разве выдержит людская душа?  
С постамента неизвестный солдат  
В ополчение сошёл с ППШ.

## Прима

Ропщет сквозняк, как старый.  
Здесь по порядку зван  
Хриплый аккорд гитары  
Или хмельной баян.

Здесь, отродясь стреножен,  
Жался рояль к стене  
Но засветился, ожил,  
Строит... струна – к струне!

Прима в холодном зале,  
В плече из лёгких нот,  
Ей бы сиять в Ла Скале,  
Что ж она здесь поёт?

Зритель суров и слажен,  
С Примы не сводит глаз,  
Оперу в камуфляже  
Слушает в первый раз.

Верность сдаёт экзамен,  
Жизни не ставя в грош.  
Гаубичными басами  
Арию не сорвёшь.

Варвары к стенам Рима  
Вышли, не их вина.  
Стойте на сцене, Прима –  
Первая... и одна...

**Денис ЛИПАТОВ**

*Нижний Новгород*

\* \* \*

Целлюлозой несёт с Балахны,  
Из Игумнова тянет хлоркой,  
Сладковатый свинец слюны  
Уживается даже с махоркой.

Это запахи здешней весны,  
Пусть земля не богата злаком –  
Целлюлозой несёт с Балахны,  
Из Дзержинска чадит аммиаком.

Этот воздух тягуч, как смола,  
Здешний дождь соляным туманом  
Выедает металл дотла,  
Оседает в башке дурманом.

Здесь встречаются мужей: дыхни! –  
Как проверенным, старым флиртом.  
Целлюлозой несёт с Балахны,  
А мужья выдыхают спиртом.

Усреднённый фабричный пейзаж  
Мутноватым слезится оком,  
Синтетический этот купаж –  
И не хочешь – вдохнёшь ненароком.

Я и сам здесь родился и рос,  
В школьном мог написать сочиненье:  
Небо синее, как купорос,  
Как понятное всем сравненье.

\* \* \*

мы сидели на батумской  
пили водку в три горла  
почтальонша с толстой сумкой  
телеграмму принесла

где-то в дальнем захолустье  
среди лесов полей и рек  
от тоски или от грусти  
умер тоже человек

мы его совсем не знали  
нам по сути всё равно  
те кому ту смерть прислали  
с хазы съехали давно

но как будто кто незримый  
положил конец гульбе  
жизни ход неотвратимый  
вновь напомнил о себе

так вот где-то околеешь  
и не скажешь никому  
как ты здесь овечкой блеешь  
волком воешь на луну

**Лариса АФНАСЬЕВА***Белогорск, Крым*

\* \* \*

Пытаемся создать уют  
Душе под вешние капли,  
А настроенье создают  
Сырые поздние метели.

Пытаемся поймать успех  
За хвост обугленной жар-птицы,  
Но охлаждает колкий снег  
Несостоявшихся амбиций.

А в мыслях кажемся себе  
Мудрей, значительней, моложе...  
Но ускоряет время бег.  
И только солнце в небе то же,

Что миллион веков тому.  
И тот же ветер с древней кручи  
Срывает призрачную тьму –  
Сухой травы клочок колючий.

**Валерий КРЕМЕР***Саратов*

\* \* \*

Мы только выучились жить  
И от судьбы не ждать подвоха.  
Пока мы вышли покурить,  
Сменились ветер и эпоха.  
Мы дверь толкнули в темноту  
И думали, нам черт не страшен,  
Входя в страну уже не ту,  
Совсем не ту. Совсем не нашу.  
И долго привыкали к ней  
Душой озябшей и ослепшей,  
Не узнавая и теней  
Вчерашней жизни, нами певшей.  
Все стерлось, все сошло на нет  
В игре летящей вихрем пыли.  
И нас окликнул только Свет.  
Свет, о котором мы забыли.  
Лишь он не признает Игры,  
Не предает, не убывает  
И нежно льется изнутри  
Во мрак, что лжет и убивает...

\* \* \*

Над миром зреет тишина  
И звёздами щекочется.  
Ночь ожидания полна,  
И спать совсем не хочется.  
Доверься этой тишине,  
Мерцающим горошинам,  
Ведь что-то ждёт на самом дне  
Хорошее-хорошее.

### Сон

Когда сомкнётся холода кольцо  
И завьюжит – не выйти на крыльцо,  
Уснув земля в снегу, вода в оковах.  
Когда сомкнётся холода кольцо,  
Я буду вспоминать твоё лицо,  
Волос траву и голос родниковый.  
Ты мне не дашь застыть, окостенеть,  
Ты будешь так в душе моей звенеть,  
Что станет жарко и утихнет вьюга.  
Пусть мы на разных берегах реки,  
Солжёт, кто скажет: «Как они близки!»  
Мы не близки – мы проросли друг в друга.  
Здесь, на далёком мёртвом берегу,  
Я от безумств усердно берегу  
И лёгкие, и печень, и аорту.  
Вокруг обманно-мёртвые слова  
И рифмы, как пароль: трава – мертва,  
Чтоб знали: я – как все, такой же мёртвый.  
Но ты толкнёшься вдруг, и я смогу,  
Смеясь, остановиться на бегу  
И ощутить: растёт в гортани слово.  
Я оживу на несколько минут,  
И все меня с опаской обойдут,  
Издалека почувствовав живого.

\* \* \*

...И стала тишина навесом.  
И нас укрыл безлистный лес.  
И отдаленный ночи всплеск.  
И птичий взгляд звезды над лесом.  
И ночи медленной река  
Все приближалась, все густела.  
И мы вошли, в руке рука,  
В ее мерцающее тело.  
Сожми ладонь. Нам по пути  
С рекою ночи, полной жажды,

Пусть дважды не дано войти  
И выйти не дано однажды.  
Ведь ночь – река, а не глоток  
Расплавленного солнцем снега.  
Сожми ладонь. Ночной поток  
Впадает в утреннее небо...

\* \* \*

Нежное небо. Полоска заката.  
Рыже-лимонная тянется нить.  
Странно представить, что жил здесь когда-то.  
Странно представить, что буду не жить.

Что перестану любить и касаться  
Всей этой нежности. Просто уйду  
В тёмное небо. Чтоб где-то остаться,  
Будто ребёнку в детском саду.

Мама, отец – где вы, где вы, родные?  
Смотришь в окно, ничего не любя.  
Думаешь, завтра опять выходные,  
И ни к кому не отправят тебя.

\* \* \*

Ночная улица поката,  
Как будто падает куда.  
Ну да. Я был на ней когда-то.  
Да, был. В давнишние года.

Цвела сирень. Фонтаны били,  
Разбрызгивая синеву.  
Мы были. Помнишь, точно были,  
И не во сне, а наяву.

Ты помнишь? Главное, что помнишь,  
Всё остальное – ерунда.  
А что нам в помощь, что нам в помощь?  
Лишь крест, надежда и звезда.

## Юрий ПРЯДИЛОВ

*д. Юрьевец, Нижегородская область*

### Две правды

Я был и судим, и оправдан.  
Надолго ли этот уют?  
Как сёстры, две странные правды  
Со мной постоянно живут.

Одна – половодье речное.  
А та – снеговая струя.  
Поток половодья – чужое.  
Струя снеговая – моя.  
Моя – по овражкам да ямкам.  
Другая – по руслу реки.  
И держит сермяжная лямка  
Порой и судьбе вопреки.  
Всё ближе шумы ледостава.  
Мутнеет в моём ручейке.  
Простая наивная правда  
Исчезнет в могучей реке.  
Она растворится, как небыль,  
В широких просторах речных.  
Темнеют, как серое небо,  
Притоки, что создали их.  
И ждёт постоянной подпитки  
Бурлящий, бесформенный бес,  
Одних раздевая до нитки,  
Других возводя до небес...  
  
...Играя волной своей пенной,  
Несёт меня эта река.  
То ль к раю, то ль к краю вселенной.  
Куда? Неизвестно... пока.

\* \* \*

Эти не знали,  
Эти не помнят.  
Те, что и знали, –  
Знать не хотят.  
В темном подвале  
Мало ли комнат?  
В них и венчали  
Всех наугад.

Вьётся дорога –  
Тьма да тревога,  
Пни да ухабы,  
Горечь межи.  
Тут у порога  
Истиной Бога  
Свято и строго  
Кто дорожит?

То, что имели –  
Не пожалели.  
Что получили –  
Некуда класть.  
Что заслужили –  
Этим и жили,  
Будто кормили  
Черную пасть.

**Настя МАХОВА***Москва*

\* \* \*

Время кожаных курток, большой непонятной любви,  
Обещаний в который раз все начать сначала.  
Так по-детски капли сегодня ловить на язык!  
Впрочем, я никогда, по сути, и не вырастала.

Все становится старше, но старше не значит мудрей,  
Очертанья иные ветер придаст предметам.  
Загорается спичка как символ простых вещей,  
И становится в мире чуть больше тепла и света.

\* \* \*

Ветер шумел строптивый,  
Пыль поднимал столбом.  
А мне все казалось – ивы  
Перешептывались за углом.  
Дождь горевал, как пьяный,  
Оплакивал нашу жизнь.  
Но виделось мне – океаны  
По улицам разлились.  
И вторили люди: были  
Времена!.. А теперь – не то.  
...Но мне показалось – крылья  
Под серыми скрылись пальто.

\* \* \*

Дом на краю. Здесь слышно любую мышь.  
Деревянные стены хранят отпечатки солнца.  
За калиткой болото. Тревожно глядит камыш.  
Мне б уснуть до зари, да спать абсолютно не хочется.  
Выхожу в темный сад. Недавно была гроза.  
Луна отражается в мокрых осенних листьях.  
Я раньше не знала, что у Бога такие глаза,  
И о чем колдовские слова «и ныне, и присно»...  
Возвращаюсь. Ты спишь, закутавшись в теплый плед.  
Под цветным абажуром остывшая чашка чая.  
Старый сад подсказал мне: старайся найти ответ  
В том, что рядом с тобой распускается и отцветает...

## Публицистика

### Маргарита ПАЛЬШИНА

Родилась в Архангельске, окончила Московский современный гуманитарный университет.

Поэт, прозаик, сценарист. Публиковалась в литературных журналах: «Нева», «Новый берег», «Пролог», «Белый ворон», «Зарубежные задворки», «Млечный путь», «Гостиная». Лауреат Всероссийского конкурса «КИНО-Хит», Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», Международного фестиваля «Русский STIL» (Германия), лонг-листер Бунинской премии.

Живёт в Москве.

### НАД СЕДОЙ РАВНИНОЙ МОРЯ

В последний день зимы выйти из аэропорта Неаполя навстречу весеннему ветру...

Вдохнуть в себя далёкое пока ещё море...

Затянуться первой, по-весеннему горькой сигаретой.

У входа – солдат с автоматом наперевес и таким видом, что невольно прижимаешься к пепельнице: не дай бог окуроч уронить на мостовую – пристрелит. С кем воюет Неаполь?

– Очередной наплыв эмигрантов, – отвечает женщина на автобусной остановке.

Нам вместе ехать до Сорренто. Она там живёт. Два года как. Обездоленные дети Донецка разбрелись по всей земле.

– Такой город был! Всё уничтожили. А вы нам не помогли. В Европе коричневую чуму остановили, а нас бросили...

Раньше бежали на север, теперь на юг. Кто куда. Кто-то неплохо устроился, кто-то моет полы. У всех в голосе слёзы при упоминании родного города. Потерянного для них навсегда. Страшно, когда некуда возвращаться. То есть «куда» – теперь точка обратного отсчёта в прошлое, белое пятно на перекроенной карте Украины. Не к чему возвращаться.

– В первую очередь разбомбили больницы. От нашего дома остался один подвал. Там мы молились, чтобы сразу, чтобы не мучаться, медикаментов нет никаких, даже обезболивающего, – рассказывал мужчина в мурманском поезде за год до того.

Мы вышли покурить в тамбур, и он вдруг присел на корточки, спрятав голову между коленями. Моя неисправная зажигалка. Свистящий звук. Как от пули.

– Привычка, – объяснил он.

Взял с меня обещание, что напишу о его семье. Тогда я ещё верила, что можно вот так, со слов, записать чью-то исповедь и она станет всеобщей памятью. Папа встречал на перроне с грустной улыбкой: «Что, опять не спала всю ночь?» Последнее место, где может заснуть писатель, – это поезд на север, хотелось ответить мне.

Думала написать рассказ на разные голоса из нескольких живых историй, повторяющих и дополняющих друг друга. Заглавие, конечно, «Поезд на север», ибо север тогда казался мне последним пристанищем человека.

Я не выполнила обещания. Не смогу. Потому что поезда мчатся в разные концы света. А ещё летят самолёты. Тоже по кругу, вокруг земли.

\* \* \*

Сорренто – город из моих снов. Высоко над морем. Апельсиновый рай над бездной, окружённый горами. Воздух пахнет началом начал. Так пахнет новый год, новая жизнь. Цитрусовый аромат особенно ярок после дождя, озон – как чистое стекло бокала, где плещется свежесжатый апельсиновый сок. Рекламная картинка, открытка.

Приехала, как всегда, в грозу. Как всегда, заблудилась. С чем-то это связано. Точно так же, как существует связь между тем, что апельсиновые и лимонные сады разрастаются у подножий вулканов. Так и мои блуждания в лабиринтах смысла... Моя классная руководительница преподавала геометрию и люто меня ненавидела. С тех пор с пространственным мышлением и ориентацией на местности у меня всё плохо, а конфликт между физиками и лириками разрешён ещё в школе в пользу последних. Я не чувствую сторон света. Всё, что могу: в ясную ночь указать на север, ранним утром – на восток, на закате – на запад. И никакие карты не спасают от того, чтобы не поплакать на чьей-то чужой лестнице с мыслью, что придётся ночевать на улице в грозу.

Никто в городе не знал, где искать улицу Святого Бернандино. Петляешь, петляешь, кажется, что по кругу, потому что отовсюду виден Везувий как напоминание: *temento mori*. Дыши! Вышла на пустынную набережную. Высоко-высоко над морем. Летишь в пропасть, и никакие перила не удержат. Громадный альбатрос на перилах долго смотрел на Везувий, потом поднял голову, будто собирался молиться, и издал страшный клич на разные голоса всех пернатых. Почудилось: заговаривает вулкан. После грозы начнётся извержение.

Только не впадать в отчаяние. Надо найти себе временный дом. Язык доведёт...

Помог таксист: «Там находится офис полиции». И добавил с улыбкой: «У нас тихий город, поэтому никто и не знает где».

Уже в постели подумалось: «Какой долгий день!» В путешествии жизнь растягивается, потому что выбиваешься из привычной колеи, вечно влипаешь в приключения и вынуждена думать о самых простых вещах: где поесть, как найти ночлег, укрыться от дождя. Так, наверное, живут кочевники. И паломники, или странствующие монахи. Божьи птицы.

\* \* \*

Утром окно распахнулось в стену.

Стена зелёная, увитая плющом. Живая, скребётся, копошится: ящерики, мелкие грызуны, птички. Над окном кто-то ухает. Ночью сквозь сон решила, что ухают наши ушастые совы. Они на зимовку в Италию прилетают, как и я.

Но солнце уже высоко, синее-синее небо над головой, а сова заливаётся, будто в безвременье.

Когда открываешь новые пространства, меняешь сторону света, вдруг сознаёшь, скольких имён ты не знаешь. Как на самом деле зовут сову? А вон то дерево пиния или ливанский кедр? Каждая страна начинает ассоциироваться с деревьями или цветами. Греция для меня, например, олеандры, Сицилия – гибискусы, Мальта и Тунис – оливковые деревья. Названия, которые я увидела там впервые.

– Ты всегда меня удивляешь.

– Значит, я – твоя вечная юность. Говорят, человек начинает стареть, когда перестаёт удивляться.

...читать стихи у раскрытого окна. Свежесть утра – новые смыслы.

...изобрести двадцать первый способ прикурить без зажигалки в номере отеля для некурящих. На этот раз – от фена. Современная Робинзонада. Не бежать же из-за какой-то зажигалки с утра в супермаркет.

...протянуть руку, сорвать апельсин с ближайшей ветки и съесть. Апельсиновые деревья в Сорренто – даже не берёзы, а тополя. Апельсины валяются под ногами – бери не хочу. С голоду точно не помрёшь, но зачешешься. И тут до меня дошло: ирония Джона Фанте имеет двойное дно. Мой любимый герой, писатель Артуро Бандини, приезжает покорять Лос-Анджелес. Безденежье. Писательская судьба. Голодает. Питается одними апельсинами – они у него тоже там за окном растут. А кто Бандини по происхождению? Уроженец юга Италии. На его родине апельсины – сорная трава. М-да... город песков Нового Света испытывает его на прочность не просто жестоко, а изощрённо жестоко. Гениальная попытка судьбы. Человек бы такого не выдумал, хоть по образу и подобию сотворён. У нас столько времени нет на сочинительство. А у Бога – вечность.

Подумалось, что жестокость не свойственна только по-настоящему ленивым. Чтобы ненавидеть или мстить, нужна сила воли. А я, лёжа на диване с книжкой в руках, просто вычёркиваю или стираю названия, имена. Моя маленькая вселенная полна чёрных списков и белых пятен.

«Простить – значит забыть», – писал Борхес.

Из тех, кого я забыла, можно составить... нет, не город, но деревенька на берегу озера вполне заселится. Пусть живут дружно и счастливо!

\* \* \*

Поезд до Неаполя останавливается в Помпее. Солнечный полустанок. Горный ветерок.

Направо – музей Геркуланума. Передёрнуло. Памятник природному крематорию. Поразили картины в книге музея: непристойное порно небесной чистоты. Они так жили, безо всяких запретов, восхищались человеческой плотью, испытывали радость бытия – и ничего не боялись.

Впервые в жизни захотелось украсть. До страсти, до головокружения. Юный и бедный Артюр Рембо воровал книги, чтобы стать поэтом...

«И в музей, и на Везувий вы не успеете, выберите что-то одно», – посоветовал гид.

Я выбрала.

Извилистые дорожки лавы по склонам Везувия – застывшая во времени смерть. Кажется, наблюдаешь пути в небесный город. С вершины смотришь на неаполитанский залив: как на ладони всё побережье, вгрызающееся в море – и внезапно отступающее перед вечностью. Ибо сила её в непрерывном движении. Вода точит камень.

Туристы ставят посохи у прилавка кафе и залпом осушают бокал воды или красного вина. Празднуют восхождение. Победу над горой. Говорят: «Покорили вершину». Вешают замки на перила, точно защёлкивают на запястьях пленного вулкана наручники.

Альпинисты бы им рассказали, к чему на настоящих горных тропах приводят такие романтические штампы. С горой можно только слиться. Покориться ей – и унаследовать частицу её силы.

На вершине Везувия мне подарили браслет из кусочков кораллов и лавы.

Слились в нём море и горы!\*

\* \* \*

Странное совпадение: успела на Везувий, но не успевала в Геркуланум; прошла пешком всё побережье Капо Ди Сорренто, где гулял Максим Горький, написала стихотворение, может быть, в том же кафе, где он писал «Сказки об Италии», но так и не нашла виллу с именной табличкой, где он жил.

И будто кто-то шепнул на ухо: «Мемориальные таблички – ложь. Потому что пишутся в прошедшем времени: жил, работал. А поэты, писатели воскресают в своих текстах. Бесконечное настоящее. Вечное время».

В Капо Ди Сорренто меня отправил хозяин лимонного сада. Пробовала лимончелло. Разговорились. Оказалось, у него есть друг, влюблённый в Россию. Каждый год в феврале он приезжает в столицу погулять по Красной площади вокруг Кремля под падающим снегом. Утверждает, что ничего красивее в жизни не видел. Хотела сказать: «Езжайте лучше в Петербург, имперская, европейская столица. А Москва – “золотая дремотная Азия”», но передумала. Солнце встаёт на востоке.

Друг, читающий и Горького, и Достоевского, и Толстого...

С грустью поняла, что удаётся найти общий язык за пределами России только с читающими русскую классику. Родной язык определяет всё: мысли, чувства, действия, мироощущение, сознание, бытие. И потому английский как международный эсперанто мне кажется вытертым до дыр, итальянский – бравурной музыкой, французский – языком не любви, но гурманов, мурлыканьем довольной кошки. А русский шипит, как грешник на сковородке, и огненные капли летят во все стороны, обжигая души. Так же жарко горит и жжёт в переводах? Вопрос...

\* Артюр Рембо: «Что обрели? Вечность! Слились в ней море и солнце!»

«Поэт – средство существования языка», пишет Бродский в речи для Нобелевской премии. Не важно, сколько на нём говорит человек, важно – сколько и как написано книг.

Человек состоит из библиотеки прочитанных и написанных книг. А язык – отправная точка во времени и пространстве.

«Позиция», – тут же поправили бы меня в редакции зарубежного литературного журнала, где когда-то работала. И спросили бы: почему до сих пор не устраиваем майдан на Болотной площади? Книги как средство просвещения должны отстаивать демократические идеалы.

А мне кажется, книги никому ничего не должны. Они – «шелест времени». И единственная задача писателя сохранить *своё* время, а оно – в деталях: шуршание шин по асфальту, солнечный ветер, поцелуй в сомкнутые веки... Живу в башне из чёрного дерева и даже не знаю точно, кто у нас сейчас президент. Потому что Россия для меня – есенинские берёзки, восковые свечи и московские узкие улочки. И книги. О том, что на какой бы войне человек ни родился, единственное, чего он по-настоящему хочет, – это работать, строить дома, сажать деревья, любить и растить детей.

Согласна, неразрешимый спор. Как и о личном выборе: Толстой – Достоевский, Пушкин – Лермонтов, Гоголь – Горький...

Понятно, который мой.

«Шинель» – бесконечная цепь постыдных унижений, а Русью-тройкой правит нерусский. Русский человек – созерцатель, он на печи лежит, думает, а не суетится, скупая чужие мёртвые души.

Личный выбор строится на эмоциональном восприятии мира, а не логическом, концептуальном. Выбираешь сердцем, не разумом.

Идеал же – вообще сказка.

Но даже сказочники знают: «Нет сказок лучше, чем сама жизнь»\*. Жизнь, а не смерть. Созидающий Эрос, который строит города, пишет книги или плодит детей. И это – красная песня, потому что красный – живая кровь и огонь домашнего очага.

Красный – всегда рассвет, рождение солнца.

\* \* \*

А ещё красный цвет – это красота.

Я могла бы рассказать о путешествии на сказочный остров Капри или в город миллионеров Позитано. О причудливых скалах над морем и красоте, которую хочется обнимать глазами...

Но не стоит. Профессиональные фотографы не ценят пейзажные открытки, потому что их красота всем очевидна – и тем испорчена. Первозданность – сестра открытки. Заново созданная красота – мать бесконечных открытий. А мир создан словом.

Название Vallone de Moline переводится как «Долина мельниц». И я создаю её заново – на своём языке. На скандинавском севере, откуда я родом, существует легенда о мельнице Сампо.

Сампо выковал кузнец Ильмаринен, герой эпоса «Калевала», вместо свадебного выкупа за дочь хозяйки Похьялы, или Севера. Мельница намолотила всем счастья, но люди не смогли поделить его между собой, каждый хотел волшебный подарок только себе. В результате борьбы

---

\* Эпиграфом ко всему циклу «Сказки об Италии» М. Горький поставил слова Андерсена: «Нет сказок лучше тех, которые создаёт сама жизнь».

мельница утонула. С тех пор Онежское озеро считают морем изобилия. Мельница на дне много веков мелет и мелет общее счастье.

Долина мельниц раньше вела к морю, в современном Сорренто она разделена площадью и мостами, и в неё уже не спуститься. Помните растиражированные в интернете открытки с затерянным в горах средневековым замком, увитым плющом? Это мельница девятнадцатого века – в пропасти под мостом. Прямо под ногами у тех, кто по-прежнему верит в сказки.

На мосту расположился лучший ресторан города. Я вспомнила о нём, когда утром в кошельке обнаружилась пустота...

Черноглазый жрец долины мельниц. Боги взяли ровно столько, сколько смогла пожертвовать.

Тем же вечером я открыла для себя три вещи:

Нет ничего вкуснее библейского ужина: хлеб и вино.

Деньги не подушка безопасности, а поток энергии. То, что было отнято, с лихвой возвернулось: пришло письмо от заказчика с новым контрактом.

Счастливым и благодарным судьбе можно и должно быть в любой ситуации.

Так что теперь для меня Долина мельниц – храм богов плодородия. Даже слова «площадь» по-итальянски и название «Сампо» латинскими буквами пишутся одинаково: *Sampro*.

Интересно, кому всё-таки принадлежит легенда: создателю или всем, кто в неё поверит?

...В день отъезда подул влажный ветер, в город возвращалась гроза. Я забрала солнечную весну Сорренто в Москву. Ранним мартом у нас плюс двенадцать.

Вернусь ли ещё раз?

Нет.

Новой жизни – новые правила. Слишком она коротка, чтобы возвращаться даже туда, где была бесконечно счастлива и свободна. Следующей весной меня ждёт другая страна и другое солнце. Новое.

Потому что за граница для меня – картонные декорации к сериалу под названием «Странник», а фестивальное кино со смыслом надо снимать на родине.

*Февраль–март 2017. Сорренто, Италия*

## Вехи памяти

### Сергей КРИВОРОТОВ

Родился в 1951 году. Образование высшее, работал врачом-кардиологом. Автор многочисленных литературных публикаций в российской и зарубежной русскоязычной периодике. Серебряный лауреат Второго Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» в номинации «Сказка» (2006), а также конкурса журнала «Нива», Астана, Казахстан (2010) в номинации «Короткий рассказ». Живёт в Астрахани.

### ЗЕМНОЙ ШАР НА ЛАДОНИ

*Коллаж воспоминаний о Леониде Енгибарове (1935 – 1972)*

Он приезжал в Астрахань с цирком, но чаще без – скорее всего, у него здесь проживала дальняя родня. Впрочем, именно в этом южном городе ещё в августе 1960 года во время гастролей армянского цирка произошла сенсация: начинающий коверный клоун Леонид Енгибаров внезапно сделался гвоздём программы, он один, а не привыкшие задавать тон гимнасты или дрессировщики зверей со стажем. Полный аншлаг на каждое представление, и именно из-за него! Билеты оказалось невозможно достать, у входа толпились настойчивые желающие «приобрести лишний билетик». Впервые после полосы неудач, начиная с обидного провала дебюта на манеже Новосибирска, к нему пришёл оглушительный успех, который постоянно сопутствовал ему в дальнейшем до самой смерти. В областной партийной газете напечатали первое в его жизни объёмное интервью. Те первые удачные гастроли в Астрахани оказались для него творческим стартом в будущее. Потом последовали триумфы в Москве, Ленинграде, Одессе, Ереване, Баку, Кракове, Варшаве. Всего через четыре года, в двадцать девять лет, на международном конкурсе в Праге его назвали лучшим клоуном Европы и вручили первую премию – Кубок имени Э. Басса (известного чешского писателя, автора знаменитого «Цирка Умберто»).

Астрахань тогда являлась одним из городов, в котором со времён «хрущёвской оттепели» имелся свой постоянный «бродвей», в просторечии «брод» – несколько сот метров на пересечении центральных улиц, где по вечерам, как много позже стали говорить, «тусовалась» молодёжь. Своего рода бесплатный клуб для всех под открытым небом.

Там встречались со знакомыми и заводили новые знакомства, ходили себя показать и на других посмотреть. Прогуливались перед тем, как идти на танцы или отправиться на боковую. Все редкие вечерние водители знали о стихийной пешеходной зоне и старались объезжать её стороной.

В центре «брода» находилось демократичное кафе «Лотос», упорно именуемое в народе «Белой лошадьё» или просто «Лошадьё». Но многие предпочитали для общения всяческие стихийно образуемые «временные кафешки», где можно было перед тем, как идти куда-то на танцы, распить с приятелями бутылку-другую креплёного вина и закусить плавленным сырком «Дружба». Самыми популярными из них долго оставались «Зубок» (вечно открытый вестибюль стоматологической поликлиники), «Сквозняк» (ближайший проходной двор, через который удобно было убежать от милиции), магазин автоматов с газированной водой, да и два сквера с лавочками всегда были рядом.

Каждый вечер там собирались сотни молодых людей, в праздники и выходные счёт шёл за тысячу. Не каждый город мог похвалиться подобным. Уже ближе к середине 70-х в столичной «Комсомолке» появились две большие статьи про астраханский «бродвей» под названием «Стометровка», вовсе не ругательных, в которых просматривалось больше восторга и зависти к такому явлению. Тем не менее, они подтолкнули местную власть установить две камеры видеонаблюдения и провести операцию с использованием милицейских «луноходов» и десятков сотрудников для массовых задержаний. После чего за одну-две недели от «брода» остались только воспоминания, молодёжь отныне стала прятаться по дворам и подъездам.

Разумеется, Леонид не мог миновать местную достопримечательность. Там я его и увидел впервые вживую.

Ещё будучи учеником пятого или шестого класса, видел по местному телеканалу несколько пантомим Енгибарова, потрясших исполнением и скрытым смыслом. Мы с одноклассниками несколько дней сходили с ума, пытаясь повторить на переменах то, что необычный мим легко творил в сценке «На вокзале», известной потом как «Обнимашки». Разумеется, не получалось, гибкости не доставало, хотя руки у многих выглядели намного длиннее относительно собственных тел, чем у молодого удивительно пластичного артиста с голубого экрана...

Он пришёл на местный «брод» то ли со знакомыми, то ли с родственниками. Вокруг немедленно собралась группа, сначала десятка в полтора человек, угощал всех он – поставил несколько бутылок вина. Потом кто-то неизбежно уговорил Леонида показать что-то своё. Как же без этого!

Врезалась в память знаменитая стойка на одной руке – «крокодил». Утверждали, никто в мире так не может. Он вывел всю компанию в центр «брода» на перекрёсток самых важных улиц города, на одной из которых размещались администрация и обком партии, а на другой областное управление МВД. Без разминки неожиданно сделал стойку на двух руках, затем одну отвёл в сторону и, удерживаясь на второй, плавно, без напряжения, распластал тело параллельно асфальту. На манеже цирка в таком положении он прикладывал свободную ладонь козырьком ко лбу, пылливо и внимательно озирая окрестности. Здесь же принял в неё услужливо поднесённую открытую бутылку вина и, оставаясь всё в той же позиции на одной руке, запрокинул голову, на-

сколько было возможно, и выпил без отрыва из горлышка. Жаль, тогда не было возможности заснять подобное.

Делюсь этим не ради какой-то «клубнички», а как свидетельством его подготовки и способностей. Каждый следующий вечер мы выходили на «брод» с надеждой увидеть Леонида, пока кто-то не сообщил, что он давно уехал.

Только через год-другой повезло снова увидеть его на нашем «бродвее» в сквере с памятником Кирову. Не заметить Енгибарова, вокруг которого моментально собиралась молодёжь, оказалось невозможно. Каждый стремился приблизиться к нему, о чём-то спросить, высказать восхищение, и у него всегда находилось время и терпение выслушать и ответить шуткой или просто пожать руку всякому желающему, никто не оставался обделённым. Если это и доставало его, то внешне раздражение никак не проявлялось. Ни на кого не смотрел он свысока и вовсе не его невеликий рост был тому причиной, но с каждым общался как с равным, и при том не чувствовалось никакой разницы в возрасте, хотя обычно он оказывался старше собравшихся завсегдатаев «брода».

Леонид приносил с собой атмосферу праздника. Стоило ему изобразить мимоходом лишь намёк на сценку из своего мимического репертуара, окружение взрывалось восторгом. Надо было видеть, с каким благоговением смотрели на него даже не видевшие его выступлений прежде. Это не походило на безумие почитателей эстрадных звёзд, лезущих урвать лоскут одежды или клочок волос с головы своего идола. Хотя время было другое, но и наш провинциальный городок успел познать психоз фанатов рок-групп из Польши и Венгрии, которых приходилось защищать кордонам местной милиции. Енгибаров точно обладал тем, что позже определили «харизмой», и запросто мог бы стать лидером молодёжного движения, но ему это было совершенно неинтересно.

Ни тогда, ни после он диссидентом не был, даже на полдиссидента не тянул, хотя к этому упорно толкали внешние обстоятельства и чиновники. Он просто делал то, что считал для себя наиболее важным.

«Цирк – самое честное искусство, – его собственные слова, – стойку на одной руке по телефонному звонку из райкома не сделаешь».

Одному из немногих своих друзей Леонид недвусмысленно признался: «Для меня легче убить человека, чем совершить революцию».

Понять философские взгляды Енгибарова невозможно, если не перечитать его лирические рассказы-притчи, которые печатались в журналах «Волга», «Москва», «Урал» и вошли в авторский сборник «Первый раунд», изданный в 1971 году в Ереване. Вторая его книга «Последний раунд» увидела свет уже посмертно.

«На гибких ветвях человеческих жизней – узорчатые зеленые листочки.

Листья Добра – их больше всего, нежные листья Любви и листья Страха – они обычно растут где-то внизу, их мало.

Листья Верности, может быть, не самые красивые, но наверняка самые необходимые...

Есть листья не похожие на другие, ни в каких гербариях не описанные, они встречаются редко, и их надо особенно беречь. Качаются под ветром живучие гибкие ветви, но рано или поздно приходит осень, облетают пожелтевшие от времени листья, и очень важно, чтобы узор

ковра, который они выстелят на земле, был светлым, звонким и чистым.

Это очень важно для будущей Весны»\*.

«На закате, под деревом, у реки кто-то поцеловал девчонку.

Потом были племена, государства, войны, олимпиады, восстания, Освенцим, свобода, гении, миры, вселенная. Это всё было потом.

Но вначале во вселенной, в одной из галактик, на планете около солнца, у реки, на закате, под деревом кто-то поцеловал девчонку»\*\*.

Будучи в Праге, Енгибаров удрал с певцом Карелом Готтом, «золотым чешским соловьём» на границу с Австрией и оттуда позвонил прикрепленному сотруднику КГБ: «Я в Австрии! Мне сейчас приезжать обратно или оставаться?!» Таким эпатажем он наверняка хотел показать надзирателям, что у него и в мыслях нет предавать или покидать родину. Разумеется, после этого его сделали «невъездным».

Конечно, из-за своей непредсказуемости при почти магическом воздействии на зрителей, особенно молодёжь, он не мог не представляться опасным для власти предрежащих.

Наверняка за каждым его шагом пристально следили, слишком он был заметен. А цирковые мэтры, поначалу снисходительно к нему относившиеся, а затем немало обеспокоенные его оглушительным успехом, постоянно пытались направить его самобытность в «нужное» русло, пригласить новаторство реприз, а то и просто не давали ему хода.

Когда впервые увидел миниатюру «Катушки», сразу подумалось: это же насмешка над Брежневым! Так сказать, не в бровь, а в глаз. Она появилась в репертуаре Енгибарова в конце шестидесятых, наградной «звездопад» генсека уже начался. Если звезда Героя Советского Союза на его выпяченной груди смотрелась одиноко, поджидая трёх младших сестёр, уже в 1971 году компанию ей составили пять из будущих восьми орденов Ленина.

И всякий раз, просматривая позже записи того номера, убеждался в правильности первого впечатления.

И вдруг такая внезапная, неожиданная для всех смерть в 37 лет...

С учётом странных расхождений в описаниях причин и подробностей происшедшего закралось подозрение: а может, автора-исполнителя блестящей жёсткой сатиры попросту устранили? Техническое исполнение могло не составить труда, пресловутый «укол зонтиком» случайно прохождение или ещё что. Арсенал средств, вызывающих фибрилляцию или паралич сердца, и тогда был избыточен: от ядов определённых змей и пауков до курареподобных, да и мало кому известная горная трава, вызывающая инфарктоподобное поражение миокарда, существует в реальности. Долго не мог избавиться от подобных сомнений, хотя во времена СССР, в отличие от постсоветских 90-х, решение о ликвидации кого-либо могло быть принято только на самом высоком уровне.

Возникал неизбежный вопрос: а видел ли эту пародию на себя сам Леонид Ильич, и как к ней отнёсся в таком случае? И вот совсем недавно нашёл в Интернете свидетельство Иосифа Петросяна, бывшего художника, затем директора Ереванского госцирка, основателя цирковой

\* Леонид Енгибаров, миниатюра «Листья» из сборника рассказов «Последний район» (изд-во «Советакан грох». Ереван, 1984).

\*\* Леонид Енгибаров, миниатюра «Вначале» из сборника рассказов «Последний район» (изд-во «Советакан грох». Ереван, 1984).

династии и профессора, защитившего в ГИТИСе диссертацию именно по творчеству Енгибарова. Когда-то Леонид сам пригласил его в свою труппу. Не верить словам Петросяна нет никаких оснований:

«В 1970 году на торжества в честь 50-летия Советской Армении труппу Енгибарова вызвали в Ереван. На главном концерте в Театре оперы и балета должен был присутствовать Брежнев.

– Енгибарова попросили выступить. “Бери катушки, поехали!”, – сказал он мне. Ты помнишь этот номер – когда клоун “вручает” себе медали, и в конце они вываливаются у него из пиджака, из шляпы? День до концерта. На репетицию приходит министр культуры Армянской ССР, смотрит номер и в ужасе машет руками: “С ума сошли! Это показывать нельзя! Вы знаете, что Брежнев весь в наградах? Обидится!” Енгибаров непреклонен: “Буду делать только этот номер... Сос, забирай реквизит, поехали”. Мы вернулись в цирк. Вечером, перед спектаклем, снова пришел министр: “Прошу вас, сделайте что-нибудь другое”. – “Только это!”

Назавтра концерт. Выступают именитые артисты из всех союзных республик. В правительственной ложе рядом со сценой – дорогой Леонид Ильич. На арене – клоун-тёзка. За кулисами – Сос Петросян.

– Одну катушку подаю, другую забираю. Бросаю – ловлю. А сам глаз не свожу с Брежнева. Минута, другая... И вдруг он так начинает хотеть! Ты не представляешь, как понравился ему номер!»\*

Вспомнился анекдот:

«– Леонид Ильич, какое у вас хобби?

– Собираю о себе интересные анекдоты.

– И как успехи?

– Уже три с половиной лагеря собрал».

Утверждения родственников Брежнева, что Леонид Ильич очень лояльно относился к анекдотам о себе, не вызывают особого доверия, странно было, если бы они утверждали другое.

Но свидетельства посторонних заслуживают внимания:

«– ...Значит, Брежнев знал об анекдотах, над которыми рыдала вся страна?

– Знал, конечно. И говорил: “Если рассказывают обо мне, значит, любят меня...”» (Из беседы П.Е. Шелеста с историком Ю.В. Аксютиним.)

«– В советскую эпоху о Брежневе ходило немало анекдотов. Как он относился к этому?

– Анекдоты о себе Брежнев слушал с удовольствием. К слову, он и сам был хорошим рассказчиком. Свои выступления перед прибывшими с визитом делегациями часто начинал с какого-нибудь анекдота. Все развеселятся, ну а потом начиналась серьезная работа». (Из интервью личного фотографа генерального секретаря Владимира Мусаэльяна Ольге Сметанской.)

Впрочем, далеко не факт, что у Леонида Ильича хватило тогда самокритичности отнести эту репризу на свой счёт. Да и герой Енгибарова навешивал на себя не звёзды и ордена, а просто безликие символические медалки, и сатира та заведомо адресовалась не одному человеку, а обличала тщеславие и кичливость раздутыми успехами всего сословия чиновников-бюрократов. Однако цензоры и цирковые администраторы всё прекрасно поняли, в дальнейшем номер странным образом исчез из репертуара Леонида.

---

\* Из интервью Иосифа Петросяна Татьяне Улановой «Мимо мима не пройдешь» (газета «Культура», 13.03.2015).

Правда, в 1972 году реприза вошла эпизодом в телевизионный предновогодний фильм «Карнавал» творческого объединения «Экран», представлявший по сути набор клоунских номеров.

Определённо, до крайности дело дойти не могло, не те уже были времена. Ну могли пожурить, провести беседу, что, видимо, не раз и происходило. Даже для судебного преследования не имелось никаких оснований. И всё же, «...он делал баланс на катушке. Сначала падал, потом сам себя награждал медалью – раз на грудь! К концу трюка он уже весь был в медалях, и даже на спине висела здоровенная медаль! В те времена это был весьма небезобидный трюк».\*

Тем не менее, его прессовали по полной, буквально перекрывали кислород. «Катушки» при этом оказались всего лишь незначительным эпизодом. У Леонида имелись репризы и похлеще, от которых строгие блюстители социалистической морали впадали в ступор. Их стараниями подобное обычно не показывалось на арене. Но те, кто смог увидеть эти миниатюры в малых аудиториях, в узком кругу или вообще в стенах обычных квартир, буквально рыдали от смеха.

«...Лёня выступал не только на манеже. Он выступал и на сцене с номерами пантомимы. Были у него и пантомимы только для “домашнего” исполнения. Он их показывал в кругу друзей, когда собирались дома компаниями (шестидесятые!).

Была, например, пантомима “скульптор”. Леня “выносил” две глыбы глины и “лепил” из одной фигуру женщины, а из другой – мужчины. Постарайтесь представить, что и как “лепил” Леня и что отражалось при этом на его лице. И на наших лицах.

Была еще пантомима: “Кто как ходит в туалет”. В туалет “ходили” фашист, антифашист, партизан и старик. Представили? Хорошо.

Другая пантомима: “Что делают памятники, когда мы спим”. Изображались московские памятники: “Юрий Долгорукий” перед Моссоветом. Ночью Юрий слезал с коня и убирал из-под него навоз. “Маяковский” на площади Маяковского на Садовом кольце. Ночью Маяковский доставал из широких штанин... бутерброд. Всего лишь бутерброд, завернутый в газету. Разворачивал его и ел, старательно пережевывая маяковскими челюстями. “Максим Горький” на площади Белорусского вокзала. Всю ночь нет покоя от спящих пассажиров. Терпению памятника приходит конец. И Горький суковатой палкой, на которую опирался, с высоты своего положения побивает суетящихся пассажиров, как тараканов. “Карл Маркс” на Охотном ряду лицом к Большому Театру. Рука сжата в кулак. Сам он как трибун на трибуне. Он грозно оглядывает то, что получилось, гневно поднимает кулак и произносит “слова”, которые можно произнести только в пантомиме без слов...»\*\*

И чем больше нарастала всенародная любовь и признание, тем большему давлению он подвергался.

Увы, не только бюрократы-чиновники и цензоры разных уровней принимали в том участие. Известные клоуны Олег Попов и Юрий Никулин не могли смириться с победами талантливого, во многом превосходившего их и обладавшего завидной работоспособностью смелого новатора. Енгибарову всячески мешали, его просто изводили. Особенно усердствовал Олег Попов, в то же время, используя своё положение, не гнушался заимствовать идеи молодого конкурента.

\* Юрий Никулин, «Почти серьёзно...» (М., Изд-во «Молодая гвардия», 1979).

\*\* Жан Давидян, «Клоун», эссе («Литературная Армения», сентябрь 2002).

Остаётся фактом, что Олег Попов без спроса присвоил находку Енгибарова – «охоту на солнечный луч», именно благодаря этой сценке Попова стали называть «солнечным клоуном». Правда, использована была только сама техническая идея, при этом вышла удачная, но всего лишь «хохма», передать же глубокую суть и лиричность енгибаровского номера не было под силу никому.

Вот как это выглядело в оригинале у Леонида:

«...На арене на скамейке сидит девушка. Она нравится Клоуну. Но он робеет, ему нечего подарить ей. Она его не замечает.

Клоун ловит на арене солнечный зайчик – луч прожектора, “собирает” его в кулак и преподносит его девушке. Девушка равнодушно берет его, этот свет и... уходит, не обернувшись. Клоун остается на арене растерянный, одинокий...»\*

Щепетильный в таких вопросах Леонид навсегда исключил репризу из своего репертуара и только махнул рукой: «Я Создаю Номера, пусть берёт...»

Старший «товарищ по цеху» не только не посчитал нужным поблагодарить, но и никогда и нигде не упоминал, что отчасти обязан своим успехом и фирменным прозвищем недавнему дебютанту. Впрочем, такое происходило не единожды. Леонид жаловался своему близкому приятелю, что ещё на выпускном экзамене в училище, когда он демонстрировал придуманный им номер «свободная проволока», присутствующий там мэтр запомнил находку безвестного выпускника и сам беззастенчиво использовал в дальнейшем.

Уже работая в одном цирке, Леонид не раз уничижительно отзывался о старшем коллеге: «У Попова дома всего семь книжек, да и те сберегательные».

Сам же он всегда стремился к оригинальным, наполненным глубоким смыслом ролям и сольным выступлениям.

«Леонид Енгибаров настолько одарён и так органичен для цирка, что он уже представляет опасность для других номеров программы!» – точно подметил известный в то время писатель-сатирик Виктор Ардов.

«Как правило, коверный своими репризами заполняет паузы между выступлениями других артистов, – вспоминал тот же И. Петросян. – У Енгибарова было наоборот: мы заполняли промежутки между его миниатюрами. Поистине уникальное явление. Зрители в те годы ходили в цирк специально “на Енгибарова”, и мы этим искренне гордились. Помню, в 1969 году в Московском цирке на Цветном бульваре шло вообще уникальное представление: в программе, кроме Енгибарова, было всего несколько артистов! Представляете, какая это нагрузка?»\*\*

В одном из своих последних интервью Леонид признался:

«Мне не раз говорили, одни – констатируя, другие – злясь, третьи – возмущаясь, что, когда я работаю на арене, это становится чуть ли не главным в программе. Говорили, что так нельзя, не принято, не годится... С одной стороны, меня это радовало. Выходит, я не просто заполнитель пауз, а артист со своей ролью, развивающейся от репризы к репризе, со своим характером, образом.

Однако я не мог не соглашаться и с критикой. И выход из этого положения я вижу именно в создании своего театра с моноспектаклями,

\* Там же.

\*\* Из интервью Иосифа Петросяна Татьяне Улановой «Мимо мима не пройдешь» (газета «Культура», 13.03.2015).

где останутся мои репризы, клоунады, где появится масса новых трюков, но где все будет объединено одной идеей».\*

Справедливости ради надо заметить, что и сам Енгибаров немало вредил себе своим вспыльчивым характером, на обиды и провокации интриганов отвечал незамедлительно и с «открытым забралом», не раздумывая особо, но резко и точно по адресу, невзирая на чины и звания.

«...армянский цирк впервые решили отправить на гастроли в скандинавские страны. Из Москвы к артистам приехал управляющий Союзгосцирка. Посмотрев программу, собрал всех, сказал немало добрых слов. Отметил особую роль Енгибарова и в конце попросил его: «Это скандинавские страны, для них вы – русский цирк. Леня, сделай какую-нибудь репризу в русском народном стиле». Ответ Енгибарова был как ножом: «Да пошел ты...» Управляющий, конечно, обиделся, и в результате вместо армян на гастроли поехал цирк Олега Попова. Таков был Енгибаров – никогда ничего не делал на заказ, не принимал вмешательства. И не мог промолчать».\*\*

В своей краткой «Автобиографии» он бескомпромиссно признаётся: «Заповедь “ударили по правой щеке, подставь левую” считаю в корне ошибочной». Ну чем не настоящий гасконец?! И на арене, и за пределами цирка он жил одной жизнью, всегда оставаясь самим собой. Поэтому в отличие от других клоунов «доенгибаровской» школы он не нуждался в создании придуманного для представлений искусственного образа, не прятался за хитроумно слепленной маской. Именно поэтому безошибочно находил дорогу прямо к сердцам зрителей.

Однако, словно по гипотетичному закону людской подлости, с каждым успехом Енгибарова и ростом признания нарастал и этот прессинг, функционеры создавали ему всё более невыносимые для работы условия.

О его малейших проступках, действительных или мнимых, тут же докладывали во все доступные инстанции.

Свидетельствует Юрий Белов:

«– У него были нервные срывы. Но скажите, у артиста, звезды, которого не выпускают за границу соцлагеря, могут быть срывы? Могут. Или распускали сплетни, что он хронический алкоголик. А мы в это время в гастрольных поездках пишем сценарии для новых спектаклей, и тут я увидел, как некоторые коллеги, которые завидовали ему, просто его сжирали. Вот только один эпизод – его обвинили в изнасиловании.

– Расскажите.

– Он работает в Баку, в цирке. Я уезжаю в Москву на три дня по делам. Возвращаюсь и не узнаю его – ходит как сомнамбула, бормочет про себя: “Они убьют меня, убьют...” Оказывается, пока меня не было, за кулисами появилась его поклонница – девушка лет двадцати. Причём армянка, плохо говорила по-русски. Потом Лёня мне рассказал, что утром к нему в номер постучались. Он открыл. Стояла эта девица и пыталась войти. Он её не пустил, а оставил в коридоре. Она не ушла. В это время из своего номера вышел один из ведущих артистов. “Почему ты здесь?” – спросил её. Она молчит. “Ты была у него в номере?” Молчит. “Он тебя выгнал?” Она заплакала. Со словами: “Ах, какая сволочь, выгнал девушку”, – артист ушёл.

\* Из интервью Владимиру Шахиджаняну в 1972 г., опубликованного уже после смерти Леонида Енгибарова («Как важно быть серьезным». «Смена», 1973. № 13).

\*\* Эдуард Аляян, Герберт Багдасарян, «Волшебное молчание клоуна» (журнал «Ереван», 2005, № 5).

Артист тут же позвонил в главк и сообщил, что стал свидетелем, как Енгибаров выгнал девушку из своего номера, и, по всей вероятности, это изнасилование. Слава богу, в этот момент ко мне приехал мой ученик Сосо Петросян. Он-то и разобрался в этой истории. И тогда она рассказала, что ничего между ними не было. Просто этот артист, с очень большим именем (не хочу называть его фамилию), хотел насолить Лёне. И таких случаев в его жизни было множество. И его это убивало. Лёню, надо сказать, это выматывало. “Всё, я устал, надо уходить из цирка”, – часто повторял он. И в один прекрасный день ушёл\*.

К сожалению, такого рода случаев хватало... Как же надо было довести Леонида, чтобы его отчаянный крик, выплеснувшийся миниатюрой на бумагу, выглядел после его смерти завещанием?!

«Не обижайте человека.

Зря, просто так обижать человека не надо. Потому что это очень опасно. А вдруг он Моцарт? К тому же ещё не успевший ничего написать, даже “Турецкий марш”. Вы его обидите – он и вовсе ничего не напишет. Не напишет один, потом другой, и на свете будет меньше прекрасной музыки, меньше светлых чувств и мыслей, а значит, и меньше хороших людей.

Конечно, иного можно и обидеть, ведь не каждый человек – Моцарт, и всё же не надо: а вдруг...

Не обижайте человека, не надо.

Вы такие же, как он.

Берегите друг друга, люди!\*\*

Когда его учителя, друга и партнера Юрия Белова не выпустили вместе с ним на зарубежные гастроли, Енгибаров покинул «Союзгосцирк». Такая несправедливость переполнила чашу терпения талантливого артиста, как никогда прежде жаждавшего всемирного признания и чувствовавшего, что это ему по силам и он того заслуживает по справедливости.

«Я многим обязан Юрию Павловичу Белову. Этот человек сделал меня. Я ему во всем доверяю», – так честно определил Леонид роль старшего товарища в своей творческой карьере.

Никто точно не знает и никогда уже не узнает, скольких душевных сил и здоровья стоило Леониду добиться осуществления мечты всей своей жизни – создать собственный эстрадный театр пантомимы, труппу которого составили бы его ученики и последователи. Вместе с Ю. Беловым они поставили моноспектакль «Звёздный дождь», показанный в Ереване и в Москве.

В Министерстве культуры встретили это начинание уже известного во многих странах артиста со скрежетом зубным. Никак не вписывалось ломающее строго регламентированные цирковые каноны искусство Енгибарова в социалистическую культуру. А ну как ещё и деньги потребует на обустройство этого чуждого для советских граждан предприятия? Назвать свой коллектив «Театром Енгибарова» сразу не позволили. «Какой ещё может быть театр? Назовите просто – ансамбль». Выбора не оставили. На первых афишах так и стояло: ансамбль. Пропагандировать спектакль запретили. Уже законченный восторженный

\* Из интервью Юрия и Татьяны Беловых Марине Райкиной «Грустная дата грустного клоуна» («Московский Комсомолец», 24.07.2006).

\*\* Леонид Енгибаров, миниатюра «Не обижайте человека» из сборника «Первый раунд» (Ереван, 1972).

отзыв-рецензию на «Звёздный дождь» обозревателя газеты «Советская культура» не пропустили с кратким пояснением: «Тема сейчас нежелательна».

Выходит, причин надорваться даже такому физически тренированному и уверенному в своей правоте и в конечной победе борцу, как Енгибаров, имелось с избытком.

Но как же быть с непонятным разнобразием версий его трагической кончины? Даже популярный тележурналист Андрей Караулов в своей передаче «Леонид Енгибаров» почему-то посчитал возможным заявить:

«До сих пор считаю, что официальные источники писали неправду о смерти Енгибарова, то есть, что он умер дома».

Что же писали официальные источники и писали ли они о смерти артиста вообще?

Наибольшую сумятицу и шум внесла Марина Влади. До сих пор чаще всего в Сети встречаются цитирования и перепосты её эмоционального свидетельства. В своей книге о Высоцком\* она описала, как кто-то позвонил им домой и сообщил, что Енгибаров умер «от сердца» прямо на улице в центре Москвы и никто не пришёл к нему на помощь.

Правда, видимо, только то, что кто-то, оставшийся до сих пор неизвестным, ввёл в заблуждение намеренно или нет народного барда, восхищавшегося талантом Енгибарова. Это привело к рождению лучших строк о Леониде из всего написанного о нём. «Шут был вор: он воровал минуты...»\*\* К сожалению, тот, кому адресовались эти великолепные, просто выстраданные стихи, уже не мог их ни прочесть, ни услышать. Получился своеобразный поэтический венок таланту от таланта.

Претендующую на «оригинальность» версию высказал Арчил Гомиашвили, ресторатор, бывший киноактёр:

«— ...Самого Лёньку Енгибарова я вытолкнул в славу. Он был моим дружкой.

— Невероятно, ведь Енгибаров непревзойденный клоун, гений. И вы начинали вместе?

— В нём сочеталось что-то такое, чем он без слов попадал прямо в человеческую душу. Как он это всё придумывал удивительно. У него был потрясающий номер под громовые аплодисменты. Когда он уходил с манежа и просто становился спиной к залу, он то замирал, то дергался, и ни словечка. Ни одного фальшивого движения. А в зале гром. Я даже не обижаюсь на него за то, что он сказал моей Танечке, будущей жене, чтоб она не выходила за меня замуж. Все его шутки были безобидными.

— Как вы думаете, отчего же он умер — молодой, гениальный, любимый?

— Да, смерть его трагична. Думаю, что его довёл Олег Стриженов. Енгибаров был искренним парнем, но ему почему-то казалось, что ему не хватает своей славы, и он тянулся к знаменитым людям. И он пил и загуливал с Олегом. В ту ночь они сильно набрались и, видимо, ширнулись. Утром Лёня кого-то послал за молоком. Выпил стакан, и тромб остановил его сердце»\*\*\*

Хотя неоднократно поминаемая непосредственная причина смерти — «тромб» тут не оспаривается, возникает сомнение, насколько правди-

\* Влади М., «Владимир, или Прерванный полет». М.: Прогресс, 1989.

\*\* Владимир Высоцкий, стихотворение «Енгибарову — от зрителей».

\*\*\* Из интервью А. Гомиашвили корреспонденту «Факты и комментарии» от 15.07.2004.

вым и объективным может быть актёр-неудачник, знакомый многим лишь как исполнитель роли Остапа Бендера в фильме Л. Гайдая, притом и не им озвученной?

По различным свидетельствам, Олега Стриженова в то время в Москве не было, он возвратился со съёмок уже после смерти Леонида. Именно из-за активного участия его и Ролана Быкова Енгибарова удалось достойно захоронить на Ваганьковском кладбище. Интересно, где тогда находился и чем занимался «дружок» (как он сам себя назвал) Арчил Гомиашвили?

В своей публицистической книге в главе о Енгибарове Фёдор Раззаков приводит воспоминания самого Олега Стриженова:

«Однажды, когда я вернулся в Москву из очередной экспедиции в семьдесят втором году (Стриженов снимался во Львове в фильме “Земля, до востребования”. – *Ф.Р.*), раздался звонок Юры Белова, работавшего режиссером у Енгибарова в коллективе:

– Олег Александрович, приготовьтесь...

– Что случилось?

– Лёня умер.

Вскакиваю в машину, мчусь на квартиру к Енгибарову в Марьину Рощу, где он жил в деревянной бревенчатой двухэтажке с мамой. Застаю Лёню ещё тёплого, лежащего на диване. Над его головой висит мой портрет в роли Треплева из “Чайки”. Он умер, а казалось, что спит. Остановилось сердце. Лёня писал, что любил больше других великолепную четверку – меня, Васю Шукшина, Юру Белова и Ролика Быкова...

...Мы с Роланом Быковым ходили в Моссовет выбивать для Енгибарова место на кладбище. Похоронили на Ваганькове, если встать лицом к входу в храм, то слева, в нескольких десятках метров от церкви. Потом армяне поставили ему памятник: Енгибаров под рваным зонтом (из его этюда; скульптор Геннадий Распопов)\*».

Самый обстоятельный и вдумчивый биограф Енгибарова Р.Е. Славский, сам бывший цирковой артист, клоун и режиссёр цирка, описал, как пытался выяснить обстоятельства смерти непосредственно у матери великого артиста.

«23 октября 1972 года. Снова встретился с Антониной Андриановной... Наконец я собрался с духом и спросил – как же все произошло? Из рассказа Антонины Андриановны узнал, что сын вернулся из поездки простуженный, переносил на ногах ангину. “Ангина у него часто бывает”. И тем не менее каждое утро уходил на репетицию в “Зеленый театр” на ВДНХ. Домой возвращался поздно ночью. За день до кончины пожаловался: “Потянул мышцу”. Чувствовал боль в лопатке. Был не в духе, ничего не ел...

Я попросил показать мне свидетельство о смерти. Там значилось: “Хроническая ишемическая болезнь сердца”.

“Какая же болезнь, когда врачи ему всегда говорили: с таким сердцем можно сто лет прожить?” – И добавила, что когда сделали вскрытие, то оказалось: причиной внезапной смерти стал тромб, как следствия болезни ангиной\*\*.

Вспоминает Татьяна, жена Юрия Белова:

«– Спустя несколько лет няня нашего второго сына, когда увидела портрет Лени, сказала, что работала диспетчером на “скорой помощи”

\* Федор Раззаков, «Последние дни и часы народных любимцев». М., ЭКСМО, 2005.

\*\* Славский Р.Е., «Леонид Енгибаров». Изд-во «Искусство», 1989.

и помнит тот случай. Если бы, сказала она, его привезли в больницу и сделали операцию на сухом сердце (она так и сказала, “на сухом”), он бы остался жить. Но тогда мало кого спасали – медицина была на первобытном уровне. К тому же он не был член ЦК КПСС, важным начальником или что-то вроде этого. Обычная “скорая” поставила диагноз – отравление, а у него были все признаки инфаркта. И тогда мы узнали, что у него было больное сердце. Вульгарная смерть гениально-го человека.

Так что все сплетни, что он спился или умер от пьянства, – сплетни людей, не имеющих права его судить. Он умер в чистой постели, в чистом доме своей матери».\*

(В 1981 году Юрий и Татьяна Беловы уехали в США. Там Юрий читал лекции о Леониде Енгибарове, преподавал клоунское мастерство в нью-йоркском университете. Беловы сделали клоунский спектакль, посвящённый Леониду Енгибарову).

«...Как я потом узнал, 25 июля 1972 года лист за листом ротационные машины печатали девятый том Энциклопедии. Леонид Енгибаров входил в историю. И именно 25 июля 1972, как мне потом рассказали, вечером Леонид Енгибаров крикнул: “Мама, у меня всё горит в груди, помоги мне!” Вызвали скорую помощь... Но приехал неквалифицированный врач, поставив диагноз отравление, доктор покинул умирающего клоуна. А когда приехала вторая машина “скорой помощи”, было поздно – Леонид Енгибаров умер. Смерть наступила от обширного инфаркта, как говорили раньше, от разрыва сердца».\*\*

Всё перечисленное определённо доказывает, что случился всё-таки инфаркт.

Однако непонятно, почему в свидетельстве о смерти выставили: «Хроническая ишемическая болезнь сердца». Такой диагноз ставится как «шапка», заголовок для последующей конкретики, определённой общепринятой нозологической единицы, например: «инфаркт миокарда». Только при диагнозе инфаркта, да ещё внезапном и в таком возрасте, по всем правилам оформления медицинской документации должно было бы стоять: «ИБС: острый инфаркт миокарда».

Для постановки «хронической» формы в 37 лет, а диагноз вряд ли ставился кем-то «с потолка», должно иметься веское обоснование из анамнеза болезни и патологоанатомического вскрытия, показавшего бы, кроме острого инфаркта, изменения миокарда и коронарных сосудов, которые никак не могли произойти за 1–2 дня. Инфаркт миокарда вполне мог сочетаться с образованием тромба, даже развитием тромбоэмболии. Но без точных патологоанатомических данных гадать об этом бессмысленно.

Скорее всего, на вызов к умирающему Енгибарову прибыла линейная бригада скорой помощи, не имевшая электрокардиографа. При инфаркте миокарда задней стенки, граничащей с желудком, сначала часто наблюдаются симптомы только со стороны желудочно-кишечного тракта из-за рефлекторной передачи раздражения от поражённого участка сердечной мышцы. Так называемая «абдоминальная форма» болезни. Тут возможны и симптомы отравления, и даже сходство с острым аппендицитом. Решающими для правильной диагностики и

---

\* Из интервью Юрия и Татьяны Беловых Марине Райкиной «Грустная дата грустного клоуна» («Московский Комсомолец», 24.07.2006).

\*\* Юрий Никулин, «Почти серьёзно...». М., «Молодая гвардия», 1979.

в те годы являлись данные кардиограммы. Так что ошибка врача обычной скорой помощи, заподозрившего отравление, не удивляет. Но опытный врач должен был бы немедленно вызвать кардиологическую бригаду, чтобы посредством ЭКГ исключить худшее.

Что же вообще известно о здоровье Леонида, особенно о состоянии его сердечной мышцы и коронаров в последние годы его жизни? Почти ничего. Сам же он на физическое самочувствии не жаловался.

*«– Когда видишь вас на арене или на сцене, понимаешь: легкость, с которой вы работаете, – видимость. Одна только стойка “крокодил”, когда вы стоите на левой руке, а тело вытянуто параллельно манежу, требует огромного усилия. Поэтому, наверное, закономерен следующий вопрос – о здоровье клоуна.*

– К счастью, я здоров. На пенсию не собираюсь, хотя мне и осталось 5 лет до получения пенсионного удостоверения. В цирке пенсия назначается после того, как клоун проработал 20 лет, независимо от возраста. Как видите, наш труд приравнивается к самому тяжелому физическому. Поэтому и здоровье у клоуна должно быть геркулесово».\*

Однако нашлось и вот такое свидетельство:

«...Тётя Женья (крёстная Л. Енгибарова) была потрясена. И в ответ рассказала мне про девушку из Астрахани. Эта девушка пришла к ней уже потом, после... после Лёниного ухода. И рассказала, что Лёня, когда был на гастролях в Астрахани, жил у них на квартире, и была в то лето страшная жара, а у него почти каждый день по два спектакля... и однажды ему стало плохо, и вызывали “скорую”, и врач сказал: “Пять лет при такой нагрузке”».

К сожалению, астраханский доктор не ошибся. Прошло ровно пять лет – и его страшное предсказание сбылось\*\*.

Как-то не верится в поразительного врача-оракула астраханской скорой помощи. Но всё-таки, выходит, тревожные звоночки были. Разумеется, матери о подобных вещах Леонид ничего не сообщал. А тот приступ посчитал лишь досадным недоразумением из-за астраханской жары и постарался о нём забыть, не до того ему было. Если что-то ещё и случилось с ним потом, а судя по итогу, очень вероятно, ни с кем про то не делился. Нытиком Леонид определённно не был.

«...Примерно за год до кончины ездил Лёня на съемки фильма Тенгиза Абуладзе “Ожерелье для моей любимой” в горы. И там одна женщина, местная гадалка, гадала ему на кофейной гуще. И когда в очередной раз мы с ним встретились, он сказал: “Ты знаешь, я умру через год. Так нагадали. Видно, я точно все-таки талантливый, раз, как Пушкин, умру в тридцать семь”»\*\*\*.

«Кого любят боги – умирают молодыми». Кто-то может возразить: 37 лет – какая же это молодость? Смотря для кого. Леонид сумел сохранить молодость души, именно потому молодёжь всегда так тянулась к нему, годы несколько его не старили, но, увы, при этом и здоровья не прибавляли.

В этом году исполнилось 80 лет со дня его рождения. И всё же невозможно представить Леонида постаревшим и немощным, тщетно пытающимся сделать своего знаменитого «крокодила» – горизонтальную

\* Из интервью Владимиру Шахиджаняну в 1972 г., опубликованного уже после смерти Леонида Енгибарова («Как важно быть серьезным», «Смена». 1973, № 13).

\*\* Мария Романушко, «В свете старого софита» (М, Гео, 2006).

\*\*\* Ядвига Кокина, «Боксер, поднимающийся после нокаута» (из книги Александра Росина «Клоун без грима». Издательство Florida-RUS Inc., 2012).

стойку на одной руке. За свою недолгую жизнь он успел многое, недоступное прочим. Был успешным призовым боксёром-победителем, признанным лучшим в Европе ковёрным и мимом. Основателем своего собственного циркового театра и киноартистом, снимавшимся в фильмах С. Параджанова, Р. Быкова, В. Шукшина, Т. Абуладзе, которому писали сценарии и приглашали на роли. Автором блестящих философских реприз и не менее философских лирических миниатюр, подобным стихам в прозе. Но главное – успел почувствовать при жизни, что значит быть нужным и любимым многими человеком.

Легендарный французский мим Марсель Марсо, встретившись в Москве с Месропом Мовсисяном, снимавшим фильм о Енгибарове «И молча сказал он...», произнёс такие слова: «Я знаю трёх ярких гениальных мимов – Бастер Китон, Чарли Чаплин и ваш Леонид Енгибаров. Однако он не только ваш, он принадлежит всем нам».

Пожалуй, наряду с посвящением Владимира Высоцкого, это лучшая эпитафия великому артисту. Память о нём навсегда принадлежит не одной России или Армении, а всему миру, который он держал на ладони...

«...только одно никогда не забывается, это когда ты стоишь на двух руках, медленно отрываешь одну руку от пола и понимаешь, что у тебя на ладони лежит земной шар».\*

---

\* Леонид Енгибаров, миниатюра «Шар на ладони» из сборника рассказов «Последний раунд» (Изд-во «Советакан грох». Ереван, 1984).

## Всеволод ГРЕХНЁВ

Всеволод Алексеевич Грехнёв (1938–1998) – выдающийся пушкинист, исследователь русской литературы XIX века, а также творчества Тютчева, Боратынского, Фета, Жуковского. Доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Нижегородского государственного университета, член Пушкинской комиссии Академии наук Российской Федерации, член Ассамблеи Всероссийского Пушкинского общества, член Союза писателей России. Автор известных в научном мире книг «Мир пушкинской лирики», «Болдинская лирика А. С. Пушкина», «Лирика Пушкина. О поэтике жанров», «Этюды о лирике Пушкина», «Словесный образ и литературное произведение», «В созвездье Пушкина» и более 150 статей.

## БОЛДИНСКОЕ СИЯНИЕ\*

По-видимому, мы никогда не разгадаем тайну ослепительной болдинской вспышки пушкинского гения. Но она будет вечно притягивать мысль, и вечно будет чудиться здесь одна из загадок русской культуры, заключенная в ее способности к таким гигантским и почти молниеносным всплескам творческой энергии. Только безмерное духовное богатство, только безграничные накопления великой души могут быть исторгнуты так, как бы в единый миг, как бы невольно, подобно тому, как исторгаются вдруг потоки огнедышащей лавы, таившиеся до времени в, казалось бы, остывших недрах вулкана. И в священном трепете и смятении мы останавливаемся перед завораживающим зрелищем этого духовного пламени, вырвавшегося вдруг на простор. Какие тайные силы освободили эту огненную стихию? Почему в глуши, на переломе судьбы, в преддверии грозных ее потрясений, охваченная тревогой пушкинская мысль летит в Болдине так широко и свободно, летит над мирами, обозревая их как бы с надзвездной высоты?

Что нужно вообще творческой душе художника? Она часто безмолвствует посреди стремительного течения жизни, кипения политических умов, посреди социальных распрей, сметающих общественное спокойствие, безмолвствует тогда, когда все могло бы ускорить ее внутренний пульс. И она бодрствует, изливая вокруг свою жизненную силу, порою в самые глухие эпохи, когда общество спит беспробудным сном и когда перекрыты пути к духовной свободе. Что это? Лишь капризы творческого гения или правда в том, что ему необходимы стабильные формы жизни, хотя порою они и подернуты ржавчиной разложения, необходима традиция, хоть иногда она и несет в себе угрозу окостенения. И то и другое не страшно ему: он сотрет ржавчину и гниль закоснения, он

\* Статья написана для газеты «Болдинский вестник» в мае 1990 года.

возьмет на себя духовную работу всего общества и станет будить его от духовного сна. Лишь одно губительно для художника: общественный хаос, всеобщий разгул политических страстей, циничное презрение к традиции, укоренившееся в жизни.

Пушкин, порываясь в Болдино, писал о необходимости душевного спокойствия, «без которого ничего не произведешь». Мы впали бы в заблуждение, заключив, что спокойствие было предпосылкою болдинского творчества, великой тревогой порождено оно, тревогой о мире и о собственной судьбе. И все-таки болдинское спокойствие – не иллюзия: оно снизошло к Пушкину в тот момент, когда мысль его вырвалась на просторы творчества, ибо творчество и есть один из способов обретения душевного равновесия и свободы, быть может, самый плодоносный и человечный. Пушкин обрел в Болдине такую полноту свободы, которую никогда не способны привнести извне никакие самые благообразные формы общественной жизни, от которых, к несчастью, всегда была слишком далека Россия. В глубине этой свободы, быть может, таилось терпкое ощущение горечи, но это лишь оттого, что всякая безусловная творческая свобода неразлучна с одиночеством и печалью.

Плодоносным было прежде всего приобщение пушкинского духа к болдинскому миру, к природным основам бытия, к этому круговращению родственных и милых форм деревенского русского быта, нераздельно слитых с дыханием природы. Когда в гениальной «Осени» Пушкин восклицает: «К привычкам бытия вновь чувствую любовь!», то это пробуждение жизнелюбия, без которого немислимо творчество, естественно связывается с торжественно-бодрой поступью русской осени. Естественный порядок бытия, выверенный по часам природы, нераздельно слившийся с существованием русского крестьянина, умиротворяющая череда осенних перемен, когда жизнь природы напоминает о себе каждодневно множеством примет, отрадных для сердца, ощущение бодрости и молодой силы, играющей в крови, пересиливающее тревогу, – таков жизненный фон болдинского творчества, сопряженный глубинным духовным пристрастиям русского гения.

Когда в 1823 году, словно бы гонимый демоном беспокойства, Петр Яковлевич Чаадаев метался по Европе, странствуя из одного города в другой, всякий раз, когда мысль его оглядывалась на Россию, к ощущению ностальгии и любви примешивалась тоскливая память о русской деревне. Все чудился ему старый барский дом, покой которого едва освещает трепетное пламя свечи, убийственная скука и заточение зимних вечеров, «когда стужа страшная, ветер дует и бегают тараканы». Этого страха перед скудостью и однообразием деревенского существования не знала душа Пушкина. За кажущимся однообразием ей виделась упорядоченность бытия, распаханного в бесконечно многообразный мир природы.

Пушкину чужды были аскетические наклонности добровольного анахорета. Его привлекали блеск и пестрота столичного быта, а еще больше, разумеется, прелесть нечаянно вспыхивающей беседы, в которой ярко сверкала его стремительная мысль. Ему нужно было соприкосновение с живой, только что вспыхнувшей мыслью собеседника, эти драгоценные искры ума, высекаемые в таких соприкосновениях. Как воздух необходимы были ему напор и кипение на глазах рождающейся мысли. Но все-таки не нужно забывать, что все лучшее, что было создано им, было создано в сосредоточенном уединении, и это было, прежде всего, деревенское уединение, приобщавшее к природе и к Отчизне.

В этом вечно преследовавшем пушкинскую мысль стремлении «в обитель дальнюю трудов и чистых нег» какой животрепещущий урок для сегодняшнего литературного мышления, порой истощающего силы в драматическом ратоборстве, в безысходных распрях, коварство которых в том, что в них неразличимо сливаются принципиальное и суетное. Уж не наступают ли те времена, о которых пророчествовал Ф.М. Достоевский, с ужасом предвидевший день, когда литература перевоплотится в прессу. Остановиться бы и вспомнить пушкинский завет: «Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво».

Болдино в творчестве Пушкина стало для истории русской культуры символом высочайшей сосредоточенности художественной мысли, освобожденной «от суетных оков», символом ее животворного прикосновения к национально-природным основам бытия, символом свободы, которую по какой-то роковой исторической болезни нашего ума мы ищем лишь за пределами нашего «я», между тем как она обретается в конечном счете в глубинах нашего духа.

## *Далекое — близкое*

### **Виталий КУДИНОВ**

Родился в 1961 году в Бийске, Алтайский край. Окончил Алтайский медицинский институт, 30 лет работал врачом. Публиковался в местной периодической печати. Живет в Бийске.

### **ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ**

Серая, какая-то вся общипанная гусыня около месяца до самого весеннего тепла сидела под дедовской кроватью в кошелке на яйцах, сидела, парила и напарила – вылупились, почти все разом, такие же общипанные, как и их мамашка, страшненькие гусята. Всю эту живую кучку вместе с гусыней перетащили на солому в старую баню, и семья зажила своей жизнью. Гусак убежал от другой семьи, чтобы навестить своих выкормышей, строжился над ними, что-то командно кричал, но в воспитании не участвовал. В общем, жизнь шла своим чередом, шла в такой суматохе, что никто и не заметил, как придавили одного из маленьких птенцов. Он покричал-покричал да и перестал – всё равно никто внимания не обращает. Но после этого стал он каким-то вялым и отставал в развитии; мало того, стало заметно, что шея у него клонится как-то набок: похоже, маманя нечаянно наступила на него и сдвинула шейный позвонок. И все бы ничего, но, подрастая, стал он ни с того ни с сего заваливаться на спину и лежа дрыгать оранжевыми ножками, а перекатиться, чтобы потом самостоятельно встать, он никак не мог. Когда это стало повторяться и поняли, что гусенок – инвалид и нуждается в человеческой помощи, то прозвали гусенка Игнатом Ивановичем – уж больно он был похож проявлением своей болезни на того Игната Ивановича, что жил с нами по соседству и которому мы, ребятишки, частенько помогали встать с земли на ноги, когда он вдруг внезапно у всех на глазах падал на землю – это было у него с войны, после контузии. Так два живых существа оказались связанными одной судьбой – оба были больными-инвалидами.

Когда гусёнок немного подрос, его падения стали редкими, но он не успевал за подвижными сородичами, а потому нам частенько приходилось искать его. Со временем стая всё чаще и чаще возвращалась домой без него; но он был упрямым и тянулся за ней из последних силёнок. Мы приучили его сидеть дома. Он возмущался, но постепенно свыкся с новым своим положением. Ночевал он со своими, а утром провожал

стаю своим особым криком, чем тревожил всех. Но гусак с гусыней быстро уводили за собой со двора «детвору», как от ревущего капризного ребёнка. Зато вечером, когда стая возвращалась домой, все от мала до велика бросались к нему навстречу и клювами целовались с ним и терлись своими шеями об его кривошею. И столько было в том нежности, что даже внешне суровый гусак, предводитель стаи, почему-то в эти моменты выражал свою любовь не к своему детёнышу, а к гусыне-мамашке: он крутился вокруг неё и своим клювом мягко щипал ей шею.

Болезнь же давала о себе знать хоть и редко, но метко: бывало, гусёнок подолгу, почти бездыханный, лежал на спине, и нам ничего не оставалось, как отпаивать его самогонкой (бутылка всегда стояла на летней кухне) – так же, как бабушка отпаивала маленьких больных поросят, так и мы боролись за жизнь гусёнка: насильно раздвигали ему клюв и вливали ложку, а то и две хмельного питья. Гусенок быстро оклёмывался и когда начинал дрыгаться в руках, его отпускали, и он носился по двору как угорелый.

Когда Игнат Иванович оперился, то стал даже красивым: серо-синий окрас туловища, на короткой, немного кривой, совсем белой шее – головка с коротким и сплюснутым с боков клювом, таким же оранжевым, как и его лапки. Он стал домашним любимцем. Когда мы все уезжали из дома на покос или на рыбалку, гусёнок оставался во дворе за главного. Дед по-человечески разговаривал с ним, давал наказы, а тот, еще больше свернув свою шею на бок, слушал его. Он да пес Мальчик на цепи считались главными сторожами. И если вдруг чужие поросята пытались пробраться во двор, своими пятаками поддевая крепкую входную калитку, то первым у ворот грозным гусиным гоготаньем встречал их Игнат Иванович, а Мальчик затем своим лаем уж окончательно отгонял непрошенных гостей от ограды.

Интересные были у Игната Ивановича отношения с псом Мальчиком: бывало, в обеденный перерыв Мальчик, распластавшись, дремлет у своей конуры, а не такой уж легкий молодой гусак, забравшись на пса, посиживал на нём с гордым видом, как бы показывая всем их короткие отношения. Похоже, не тепла он искал в общении с псом, а дружбы; раз жизнь разлучала его на день со своими братьями и сестрами, то дружбу приходилось искать на стороне. Что не нравилось ему в Мальчике и от чего гусёнок усердно тряс своей головой, словно оглушенный, так это то, что уж больно громко Мальчик лаял – хоть уши затыкай. Это надо было видеть: гусёнок, как у себя в перьях своим клювом выискивал мелких вредных тварей, так и у Мальчика, возясь клювом в шерсти и прищелкивая, осуществлял санитарно-гигиенические мероприятия в плане профилактики собачьих болезней. И никак не мог понять он одного: почему Мальчик никогда не делится с ним едой, а все рычит и клацает клыками.

Один раз, когда мы на телеге подъезжали с пашни к нашему дому, то еще издали наблюдали такую картину: пес Мальчик непонятно как сумел заскочить на срез столба, вкопанного у калитки во двор, и, как кошка, свернувшись в клубок, примостился на этом столбе, а у подножия столба томился в ожидании хозяев Игнат Иванович. Завидев нас, один приветливо залаял с высоты, а другой загоготал на земле.

Надо было видеть, как по-детски шалит молодой гусь, когда дед сидит на крыльце дома и смолит сигарету. Молодой гусак ходит, как говорится, вокруг да около и задирается на деда, вытягивая шею и шипя, как взрослый гусь, и пытается ущипнуть деда за брючину. Дед в ответ

делает пугающее движение в сторону забияки, и Игнат Иванович, расщеперив крылья, отскакивает с восторгом и как ребенок смеётся от удовольствия, что его не поймали на проказе, а потом, поспешно удаляясь, азартно и нахально гогочет, подзадоривая деда, – что же он, увалень, не может догнать его!.. Деда он любил, у него даже походка была чем-то схожей с дедовской, особенно, когда ходили они копать хрен для крошки или червей на рыбалку; он и на рыбалку за дедом пошел бы, но «падучая» могла и там бы его настигнуть.

И так же, как дед, Игнат Иванович считал себя хозяином во дворе. Он разгонял драчливых петухов и участвовал в разборках: когда шебушились на дворе гуси и утки, постоянно деля между собой территорию, то он невозмутимо ложился на границе между противостоящими стаями и междуособица постепенно затихала. Если же во время кормёжки поросята сильно брызгались в корыте, громче обычного чавкали и баловались, то он, усмотрев в этом непорядок, их усмирал: щипал клювом их в пятаки и за уши, и иногда они его слушались и угомонялись ненадолго.

В недругах у него числились вредная корова Зорька да бодастый бычок Кузя. Игнат Иванович считал их глупыми и невоспитанными, так как они не подчинялись никаким правилам и не признавали под своими копытами никакой мельтешащей твари в виде птицы, – им бы все жевать и бессмысленно мычать, короче, бычились они, как говорила бабушка. При встрече с ними Игнат Иванович обречённо отходил в сторону.

С бабушкой же он был уважительным, внимательным, достойно принимал от неё понукания и старался во всём угодить.

Нашим с ним коронным номером был такой фокус: я клал в отсутствии Игната Ивановича в карман своих брюк корочку хлеба, а потом на людях жестом просил его определить, в каком кармане находится хлеб, при этом рукой я незаметно для других показывал ему, в какой карман надо залезть клювом. Он понимал мой жест, и у нас получалось классно! Наслаждались мы, ребяташки (кто старше, кто моложе), ещё и тем, когда гусак в гневе кусал крышки своего неприятеля-мотоцикла, который не любил за трескучий звук, – тут уж мы хохотали до колик в животе.

Так же он (да и Мальчик тоже) не любил нашу соседку, совсем старенькую бабку Свиридиху. Не любил он её за проклятый костыль, которым она постоянно замахивалась, и из-за которого однажды пострадал Мальчик. Он от злости на этот костыль взял и цапнул его хоззайку за ногу (вряд ли перепутал с костылём), а потом такие серьезные последствия были: выстригали у Мальчика клок шерсти и им каким-то старым способом (чуть ли не колдовством) лечили бабкину рану. Мальчик по-прежнему продолжал, сидя на цепи, на неё лаять, а Игнат Иванович теперь принципиально не связывался с ней, но при встрече, обходя её стороной, всё равно продолжал шипеть на бабку и её проклятый костыль.

В один из теплых осенних дней, когда уже на полях, что находились на горе, за нашими огородами, убрали пшеницу, я видел, как члены стаи под предводительством нашего гусака карабкались в крутую гору на своих коротких лапках, а забравшись на верхотуру (я тоже потом поднялся) взялись за подбор неубранных колосков, как будто им дома голодно было и дроблёнки не хватало. Когда я, вернувшись, рассказал об этом деду, то он, щурясь от ярких лучей солнца, лыбясь, проговорил:

– Щас набьют пузяки и полетят.

– Куда полетят? – недоуменно спросил я.

– Куда, куда... Ясно куда, в реку. Жди, красиво лететь будут. Обучаться молодняк будет полету, это от диких гусей у них осталось.

– А они совсем не улетят?

– Ты чё, куда они без нас. У нас с ними семья...

И после полудня они вздумали лететь. Как только послышался на горе крик еще не взлетевших гусей, так закричал во дворе и Игнат Иванович. Полет стаи с горы над нашей усадьбой на реку, где птицы кормились и выросли, был красив и шумен. Ещё когда молодняк, набравшись храбрости, под контролем взрослых, с большого разбега и под беспорядочное гоготание, словно оно давало им силы, только усиленно взмахивал крыльями, а потом стал медленно набирать высоту, наш Игнат Иванович, развернув, как меха у гармошки, свои крылья, вдруг превратился в статного молодого лебедя и, разогнавшись по площадке нашего двора, каким-то чудом перелетел через деревянную ограду, невысоко, но все же поднялся над землей и, сам того, наверное, не ведая, под наши удивлённые взгляды полетел... Полетел, что-то испугано гогоча в сторону реки, где по глади воды били своими крыльями уже приводнившиеся гуси его родной стаи. Мы с дедом, бабушкой и Мальчиком замороженно смотрели на полёт нашего Игната, и тут я случайно у деда в глазу увидел блеснувшую солнечным зайчиком слезинку. А с реки доносилось до нас, как стая шумно садилась на воду; туда же, хоть и летя на малой высоте, к своей семье, изо всех сил маша крыльями, стремился и наш гусак Игнат Иванович...

На следующий день я уехал домой, в «свои университеты», как говорила бабушка. А на Рождество, снова прибыв в деревню, узнал печальную новость: перед самым Новым годом скоропостижно от своей «лихоманки» во время очередного затянувшегося приступа скончался сосед наш Игнат Иванович...

Тогда же, за праздничным столом, я спросил у деда и о судьбе гусака Игната Иваныча. Он лишь, посмотрев на тарелку с жареным гусём, молча поднял рюмку:

– За упокой души обоих Игнатов, – дед явно хотел замять этот разговор. – Пусть земля им будет пухом.

Чуть позже, тут же, сидя за столом, дед, видя на лице моём совсем непраздничную задумчивость, сам рассказал о том, о чём я хотел его спросить:

– Затоптал его бык в загоне по первому морозцу. Пошел Иваныч наш погреться в гусятник и на тебе – под копыто зловредного Кузи попал, не повезло ему в этот раз – сразу насмерть его бычок придавил. И похоронен он в земле-матушке, так что не брезгуй, ешь гуся, не Игнат это. Ты что, у меня у самого бы рука не поднялась на него. Хорош был гусь, – и как-то дед криво улыбнулся, – и этот неплох.

Он взял со стола жирный кусок гусятины и стал аппетитно закусывать им очередную, только что выпитую, рюмку бабушкиной самогонки.

Гуся я есть не стал и пошел кормить Мальчика супом с оставшимися от обеда гусиными косточками. Он, конечно, ничего не понимал и с аппетитом уплетал, нет-нет да отрываясь от вкусной похлёбки и поглядывая на меня, словно говорил: «Ты что грустишь, дружок? Видишь – жизнь какая ныне сытная. Хорошего в жизни так мало, что успевай, пользуйся этими мгновеньями».

У меня же перед глазами стоял тот, осенний, высокий, полет с горы стаи домашних гусей. И полет нашего Игната Иваныча – к стае, к своей семье...

## Иван ЧУРКИН

Родился в 1951 году в селе Кремёнки Дивеевского района Горьковской области. Окончил Арзамасский педагогический институт. Работал журналистом, преподавателем русского языка и литературы в школе.

Прозаик и публицист, автор многочисленных книг для детей и для семейного чтения. Лауреат международных и всероссийских литературных конкурсов. Лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура», награжден серебряной медалью имени В.М. Шукшина.

Член Союза писателей России. Живет в городе Сарове.

## СОЛЁНАЯ МОЛИТВА

Никто точно не знал, сколько лет нашему отцу Василию. Про нас и говорить нечего – родные, и те, скорее всего, ошибались в подсчётах. Мне ещё бабушка рассказывала, как совсем девчонкой она забралась в поповский сад за яблоками, да напугалась сторожевой собаки и повисла на изгороди.

– Вишу на частоколе, юбка вдрызг разъехалась, а молчу. Собака лает, норовит меня стащить. Ужас, да и только. Тут и подоспел отец Василий. Откуда взялся, кто ж его знает. Только снял он меня с изгороди, яблоки с земли подобрал, в передник мне высыпал и подтолкнул в спину легонько: «Не проказничай больше».

Так вот проводил из своего сада.

А сад его на пологом склоне был. Аккурат перед домом. Через дорожку пройти, колодец обогнуть, вот и калитка. Дом же невеликим казался. Пятистенный, а приземистый. Три окошка на улицу глядят, а боковое на проулок к соседям. Тем и отличался от других, что в палисаднике цвела частая сирень. Невесть какого сорта, за ней больно-то и не ухаживали. Росла и росла, цвела и цвела.

Отец Василий Никольский проживал в доме с матушкой. Они с ней одного росточка были – махонькие, аккуратненькие. Только батюшка скор на ногу: вот только что стоял и разговаривал с народом, и нет его. Матушка же степенна во всем: что в делах, что в разговорах, что в походе. Поповскую улицу проходила, будто по проспекту вышагивала. С соседками разговоры вела, словно наказания давала.

Батюшка и в разговоре скорым был – успевай слушать да прислушиваться. И на ногу такой же: звонарь, бывало, к службе народ созовёт, а отца Василия нет. Только спрашивать люди начнут: «Не случилось ли чего?», а он из-под горы вынырнет и объявит: «В Рузаново бегал, плохо там человеку». А Рузаново километрах в пяти от нас.

Зато как только служба начнётся, вся спесь с батюшки сойдёт. Ровненько справляет благодарение Господу и не налюбуется, не наслушается, как поёт хор. В нём все наши, деревенские. Наделила их природа крепкими голосами и мудростью проникновения в церковное слово. Вот и поют они, доставляя удовольствие и радость прихожанам.

Обмолвлюсь: был среди певчих исключительный человек. Все его звали Иваном Белым. Прозвище он получил за белизну волос, а фамилия у него была тоже громкая – Заньков. Говорили, что услышал его заезжий певец и долго уговаривал поехать в Горький, поступить в оперный театр.

– Да куда я? Из дома? От батюшки? От людей? Мой бас и здесь пригождается.

Так вот. Как только Иван Заньков начинал свою партию, отец Василий замирал. В алтаре ли его застигнет голос или с кадиллом во время каждения, только остановится батюшка на полушаге и пошёл улыбаться, радоваться.

– А? Каково? – подмигивал он всем, кто пришёл сегодня на службу. А после подойдёт к кануну, простыночку откинёт и начинает к себе людей подзывать.

– Аннушка, ты подойди сюда. На-ко, на-ко, возьми себе пышки, ведь поди голодно с ребятишками. Поедите да и помолитесь.

Аннушка только что мужа схоронила и осталась с троими детьми.

– Авдотьюшка, ты куда это направилась? Возьми-ка яичек. Тебе сейчас ох как они нужны.

И к Авдотьюшке горе постучалось, рвётся, трудится, а из нужды не выбирается.

Пойдёт староста Тарас Савосин и при всех отчитывает батюшку:

– Что же ты, отец Василий, опять всё раздал?

– Так на помин же люди принесли, вот на помин всё и отдал.

– А сам-то что будешь есть?

– Ах ты господи! Вот яичко одно осталось. Его возьму, – крестится отец Василий. – А коли матушка выговаривать начнёт, к полковнице схожу потрапезничать.

Полковница – это батюшкина соседка. Прозвали её так потому, что муж ушёл на войну и вернулся в каком-то самом низком офицерском звании. В деревне как увидели его петлицы, так сразу и определили: полковник. Жена, стало быть, полковница.

Но однажды мы всем миром поняли, какой наш батюшка старенький.

Весна в этом году выдалась быстрой и тёплой. Снег в лесу и тот не сдобровал: в день-два растаял, и вода по овражкам устремилась к деревне. Наполнила пруд и прорвала плотину. Уж как она мчалась, как уносила огородные изгороди, а когда схлынула, оставила после себя размытые берега сухой в летнее время речушки, да такие, что они нависли над крохотным ручейком.

Детвора бросилась к ручью и собирала подарки, что принёс разлив. Кто кастрюлю находил, кто самоварную трубу, кто подушку из ивняка доставал.

Не заметили братья-двойняшки с Ефремова порядка, как промытый бугорок накренился над ними и тяжко упал.

Страшная весть быстро разнеслась по деревне, и к месту, где произошла трагедия, прибежали даже дряхлые старухи. Мужики не лопатами – руками разгребали тяжёлую промокшую землю. Долго разгребали молча и достали мальчишек. Только помочь им уже никто был не в силах.

Расступились люди, а над близнецами склонился отец Василий. Подрысник в земле, руки в земле, белая борода вся черноземом вымазана. Как стоял на коленях, так и повернулся к людям.

– А всё говорят, живому могилы нет. Всё говорят...

По щекам катились слёзы. И тут все увидели, какой их батюшка старенький: руки дрожат, плечи совсем сузились, лицо сплошные морщины разрезали.

– Как же душа возликует, почувствовав нашу молитву, обращенную к Господу, – вышел отец Василий с проповедью. – И Он нас слышит, каждого слышит. С опозданием, но понял я: лишь то наше слово до Него быстрее летит, когда оно солью напитано. Обольется душа слезами и ничего не скажет, только и произнесёт: Господи...

Встал батюшка на колени перед народом:

– Простите меня ради Христа.

И народ ответил ему преклонением...

## ФРУКТОВЫЙ КИСЕЛЬ

– Здравствуй, Марья Андреевна, здравствуй, голубушка!

– Подожди-ко, подожди-ко, голос припоминаю, а видеть я совсем ничего не вижу.

– Вот уж не думал, что ты меня не узнаешь. Как была артисткой, так и осталась.

– Ну-ка, ну-ка, меня во всю жизнь артисткой только один человек называл... Ваня, ты ли это?

Мария Андреевна Фатина только к старости для всех стала Андреевной, а так её запросто звали Марусей, Машенькой или тётей Марусей. Это кто как к ней обращался: человек постарше или ровесник, или малыш совсем.

– Не торопишься? – оторвалась от объятия Мария Андреевна.

– Смотри на неё: думал, что ты плачешь, а она улыбается.

– Это с чего же мне досталась глаза портить? От радости не плачут, от неё смеются. Уж как я рада, что ты не прошёл мимо. Не торопишься? Тогда посидим чуток.

Я помог ей спуститься с крылечка, и мы сели на лавочку.

– На солнышко погреться вышла?

– Да нет, к Леонтию собралась.

Леонтий – её муж. Она давно его похоронила. Леонтий Никифорович – мой учитель физики, милейший человек.

– Дойдешь ли одна до кладбища, ведь говоришь, что не видишь совсем.

– Как одна? Я не одна. Я с ангелом. Он доведёт.

И потекла беседа. Ей было интересно, как я живу. Зачем, подумал, рассказывать Андреевне о проблемах? Всё и свелось к коротким радостным эпизодам.

– Уж как я рада, как рада, что всё хорошо...

Мы простились, как и встретились: обнялись, поцеловались. Пообещал, что непременно в следующий раз к ней загляну. Только не знал тогда, идя по дороге и оборачиваясь, что вижу Марию Андреевну в последний раз. Она стояла у палисадника и махала мне рукой. Повернул за угол крайнего дома, и Андреевна скрылась из вида.

Шёл и вспоминал, как тётя Маруся появилась у нас в школе. Она не учителем, как муж, пришла, а стала работать в школьном буфете.

Обедов настоящих для нас никто не варил, но чтобы нам не было голодно, готовили или чай с кусочком белоснежного батона, или фруктовый кисель. В большую перемену Мария Андреевна с подносом обходила классы и по списку отмечала, кому выдавала нехитрую еду. Только тем, кто мог заплатить за неё деньги.

Не все в деревне жили справно, и часто случалось, что кто-то из ребят не сдавал денег на завтраки. Но никто не оставался без чая и киселя.

В короткую перемену Андреевна обязательно находила таких и приводила в столовую.

Набиралось с десятков ребят. Они стеснялись, толпились около двери, готовые вот-вот выйти. Да только тётя Маруся, улыбаясь и обращаясь к каждому, всех приглашала подойти к столу. А на нём – все те же нарезанные ломтики батона и стаканы, полные фруктового киселя.

– Что это вы как не родные? А ну-ка, быстренько всё в рот. Промодничаете, на урок опоздаете, вот вам учителя зададут.

Мне несколько раз приходилось быть в числе таких. Мне также было совестно, но я с удовольствием хлебал чай или кисель и был несказанно рад этому.

Однажды буфетчица громко так, чтобы слышали, отчитала Андреевну:

– У тебя самой целый эшелон дома. Ты когда же перестанешь свои кровные деньги тратить на них? Леонтий, поди, тоже ругается. Давай-ка заканчивай, их хоть постоянно бесплатно корми.

А та ничего не сказала, ничего не ответила, а только улыбнулась нам, как-то по-особенному озорно и приветливо. И на следующий день опять привела ребят обедать.

## МОНАШЕСКИЙ ПОДАРОК

На втором или третьем курсе института в расписании появился новый предмет – старославянский язык. На занятие пришла энергичная, с ястребиным взглядом преподавательница, совсем молодая. Положила перед собой неприподъёмную книгу и, не раскрывая её, стала наизусть произносить текст.

Сказать, что мы были поражены таким знакомством и таким началом первой лекции, значит ничего не сказать, но то, как читала Рубцова, а именно эту фамилию носила преподавательница, как выговаривала каждое слово на нашем праязыке, все поняли: скостки не будет никому.

Мы ещё не знали, что кроме старославянского алфавита нам предстоит учить грамматику. И совсем не могли предполагать, как она, эта самая грамматика, потребует не столько понимания, сколько большой усидчивости и зубрёжки.

Тем не менее, худо-бедно время привело нас к экзаменам, и тут совсем неожиданно: Рубцова требует добротного знания своего предмета.

Один за другим мои сокурсники кто выходил, кто «вылетал» с экзамена. «Ну что? Ну как?» – приставали те, кто ещё не был в аудитории. Ответ у всех один: просила прийти повторно.

Как сейчас помню текст, доставшийся мне для чтения и перевода, и несколько теоретических вопросов по той самой грамматике. Отрывок рассказывал о последних земных минутах Иоанна Крестителя.

Читаю – Рубцова молчит. Перевожу – Рубцова внимательно смотрит.

– Где вы так научились читать старославянские тексты?

Не мог я ей в ту минуту рассказать, где и как я учился читать старославянские тексты. Не их даже, а церковнославянские. Не то тогда было время, и я слукавил:

– Вы и научили.

Она понимающе улыбнулась. Не задала больше ни одного вопроса. Оставила без внимания грамматику, которой боялся, и в зачётке вывела: «хорошо».

Никто мне не поверил, что Рубцова – не моя знакомая или знакомая моих знакомых. Да я и не объяснял вовсе: хорошо и хорошо, просто давным-давно, когда мне было пять-шесть лет, церковному чтению и языку одновременно меня учил последний саровский монах.

Он появился у нас в селе тихо и покойно. Стояла под церковной горой нежилая избушка, и вдруг в один из тёплых весенних вечеров в окошке мелькнул огонёк.

Кто там? По деревенским улицам что худая, что добрая молва быстро разлетается. И все узнали: монах там какой-то поселился.

Ну, живёт и живёт, невесть какое событие. Тем более, только у нас действующая церковь, по всей округе их позакрывали. Почему бы и не пожить в никому не принадлежавшем домике человеку?

Так думали взрослые, но не мы. Нам-то интересен каждый новый человек, тем более монах. Одно слово для нас было пропитано тайной и страхом.

Набрались мы всё-таки храбрости и в сумерках тихохонько подобралась к дому. Дверь в сенцы прикрыта. В одном из окошек, выходящих на дорогу, мелькает огонёк.

– Свечка горит, – шепчет мне на ухо Сашок Калмыков.

– Не, это лампадка так потрескивает и мигает, – почти без звука отвечаю ему.

– Становись на завалинку, смотри, чего он там делает.

– Больно ты хитрый. Становись и смотри.

Во что бы наш спор перерос, не заскрипи калитка?

– Вы чего же это, словно тати, в темноте прячетесь? – это монах вышел на наше, как нам казалось, претихое бормотание. – Заходите, гостями будете. Я люблю гостей.

Что нам оставалось делать, пошли. Маленькая комната. Слева печь. Образа по стене. Лампадка горит.

– Что я тебе говорил? – шепчу Сашку.

– Да иди ты, – злится дружок.

Стол перед иконами. На нём несколько толстых книжек. Одна табуретка.

– Да вы садитесь, думаю, вам вдвоём места хватит.

– А ты где же, дяденька, спишь? – интересуюсь я у монаха и получаю от Сашка колючий тычок локтем в бок.

– На полу вот и сплю.

– Так на полу весь бок и руки перележишь.

– Да некогда мне долго спать: поздно ложусь и рано встаю.

– Вона, – в один голос произносим мы, будто понимая чего, и замолкаем.

– А давайте я вас мёдом угощу. С белым хлебом мёд.

– Эт мы любим, – опережает меня Сашок Калмыков.

Вкусным мёд был, такого больше не ел в своей жизни.

– В церковь-то ходите? – спросил нас тогда монах.

– А как же, завсегда вместе с бабушкой, – ответил я ему.

– Ну, тогда и помолимся Богу. Поблагодарим Его за хлеб.

Следующим вечером Сашок отказался идти в монахову избушку, я же пошёл. Мне было интересно около этого высокого, заросшего бородой человека. Говорил негромко, мягко, не по-нашему. Не столько приказывал, сколько просил:

– Давай-ка мы с тобой помолимся.

И мы молились. Он читал, я стоял рядом с ним. Легко и приглушённо звучал голос. Многие слова не понимал, и он не ругался, когда я его переспрашивал:

– Это как? Это что?

– Вот смотри, как в книге написано, – читал снова и объяснял, а потом незаметно мне все буквы и показал. Так же незаметно букочки стали в слова складываться, и к осени мы уже вместе читали молитвы. Он большую и длинную, а я самую короткую.

Ладно у нас с ним выходило, одно плохо – я стеснялся спросить, а он сам не говорил, как его зовут. Всё дяденька и дяденька.

В один из вечеров, когда по деревне разливался дым от горящей картофельной ботвы, дяденька монах мне сказал:

– Вот тебе от меня подарок, – и протянул икону. На ней Спаситель. Это потом я узнал – Спас Нерукотворный. – Этой иконе много-много лет. А ты больше ко мне не приходи, меня здесь больше не будет.

Перекрестил и проводил с крылечка. Я шёл домой и плакал.

Пройдёт время, и мне расскажут, что был тот монах из последних саровских.

Жив ли подарок монаха? – спросите вы. Жив. Скорее всего, я возле него живу.

## Прощальное слово

### ПОЭТ ВСЕГДА ВЕДЁТ ДУЭЛЬ



1 мая 2017 года погиб поэт Игорь Грач. Под Луганском. Погиб от пули.

Поэт всегда ведёт дуэль с глупцами, хамами, мздоимцами. Собственно, ничего не меняется из века в век. Пушкин, Лермонтов, Есенин — список бесконечен. Но важен контекст — отношение общества к Поэту изменилось. Если раньше Поэт был пророком, то сейчас он — глупец, который не способен зарабатывать денег. Только поэтому, кажется, и стал Поэтом. Невостребованность толкнула Поэта на неоправданный риск, схожий с самоубийством. Хотя такие люди, как Игорь, в силу своего ума, таланта, храбрости и честности всегда на острие борьбы за справедливость. Игоря убили враги России. Но умер он оттого, что в нашей мирной жизни видел мало привлекательного...

Только на линии огня он чувствовал свою востребованность.

Игорь Грач — мой одногодок, он родился в 1964 году в городе Горьком (сейчас Нижний Новгород). Окончил историко-филологический факультет ННГУ (ГГУ) имени Лобачевского. Работал почти всю жизнь журналистом в нижегородских изданиях.

В девяностые и нулевые нас сблизила идея возрождения казачества. Сегодня на Донбассе казачество стало могучей добровольческой силой, защищающей мирное население от фашиствующих молодчиков.

Я дружил с Игорем больше 30 лет. С ним и с поэтом Андреем Тремасовым мы встречались тысячи раз. Неприкаянный был человек. Всё время рвался куда-то. Где-то пропадал. Что-то доказывал. Неудачник с виду, бессеребренник, периодически нищий, русский поэт. Потертая кожаная куртка и в дождь, и в снег...

Существует такое слово в русском языке — «отчаянный». Его не нужно путать со словом «отчаявшийся», но в нём есть та же пронзительная нотка. Игорь Грач был отчаянным. Это касалось и смелости, и постоянной жажды правды, и ее мучительного поиска. Кроме поэзии он профессионально занимался журналистикой. Он был в Чечне, вёл рискованные журналистские расследования. Помимо стихотворных циклов Игорю были подвластны и боль-

шие формы, он — автор нескольких поэм. Прекрасно читал свои стихи, только очень волновался. Он вообще не знал, что такое равнодушие.

Поэт в России всегда является истинным народным героем, а когда общество об этом забывает, тогда и начинают процветать воровство, бандитизм, происходит гибель миллионов. Русь тонет в духовных нечистотах позора. Кто сейчас «герои», навязываемые СМИ? Вор и путана! И очень характерно, что властители «голубого ящика» ни словом не обмолвились о гибели Поэта. Нет заказа! Они покрываются от липкого страха холодным потом. Ведь именно Поэзия имеет настоящую власть над человеческими умами и душами. И они боятся вернуть Поэзии трибуну, вернуть известность, вернуть СЛАВУ! Ведь она ненавидит воров и предателей. Она может вылечить души людей. Но только на ней нельзя заработать. Парадокс: Поэзия значит всё, но не стоит ничего...

И снова вопросы к СМИ. Почему гибель одних журналистов вызывает все-российский резонанс (из-за подобного случая произошла прогремевшая на весь мир история с Надеждой Савченко), а гибель других явно замалчивается. Где хвалёное мировое журналистское братство?

И всё же главное то, что Игорь Грач был талантливым поэтом. Им он и останется в истории Нижнего Новгорода, России и всего человечества. Правда всегда побеждает. Замолчать, отвернуться от этого не удастся никому. Поэт всегда остаётся жить в своих стихах, ведь в них нельзя солгать, нельзя спрятаться. Это привилегия поэта — поделиться с людьми частицей своей бессмертной души. Стихи понимают все, кто знает язык. Они сделаны из обыкновенных слов, доступных всем, но в стихах слова оживают.

И никто не сможет ни убить русского поэта Игоря Грача, ни замолчать его трагическую и героическую гибель.

*Ярослав КАУРОВ, Нижний Новгород*

## ОТ РЕДАКЦИИ

**Игорь Грач был нашим автором и товарищем. В нашем журнале он опубликовал свою первую большую подборку стихов о Донбассе «Ночные голоса Новороссии» (№ 3, 2015), затем вторую — «Донбасское inferно» (№ 4, 2016); делился планами, вынашивал книгу прозы...**

**Редакция журнала «Нижний Новгород» разделяет боль утраты с родными и близкими талантливого русского писателя Игоря Грача.**

**Нам будет не хватить его мужественного и ясного голоса.**

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

*О. А. Рябов*

ШЕФ-РЕДАКТОР

*Андрей Иудин*

МАКЕТ

*Арсения Костромина*

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

*Анатолий Гришин*

КОРРЕКТОР

*Ольга Маркичева*

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

Кирилл Анкудинов (Майкоп)

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Роман Сенчин (Москва)

Евгений Эрастов

**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ**

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

**УЧРЕДИТЕЛЬ**

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции

или по электронной почте:

[jurnalnn@yandex.ru](mailto:jurnalnn@yandex.ru)

Сайт журнала: [www.jurnalnn.ru](http://www.jurnalnn.ru)

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и краткой биографической справкой. Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен  
по заказу  
правительства  
Нижегородской области

Издание осуществлено  
при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий

и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-60285  
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 1.06.2017.

Выпущено в свет 15.06.2017.

Формат 70×108 1/16. Усл.-печ. л. 21.

Тираж 800 экз.

Цена свободная.

Отпечатано в типографии «Растр»  
603024, Нижний Новгород,  
ул. Белинского, 61